

Александр Амфитеатров

ДОМ СВИДАНИЙ



Дом свиданий //Седьмая книга

ISBN: 978-5-906-13741-8

FB2: "On84ly ", 2014-01-06, version 1.0

UUID: 20725469-770c-11e3-baf7-0025905a069a

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Валентинович Амфитеатров

Дом свиданий

Однажды в полицейский участок является, точнее врывается, как буря, необыкновенно красивая девушка вполне приличного вида. Дворянка, выпускница одной из лучших петербургских гимназий, дочь надворного советника Марья Лусьева неожиданно заявляет, что она... тайная проститутка, и требует выдать ей желтый билет.....

Самый нашумевший роман Александра Амфитеатрова, роман-исследование, рассказывающий «без лживства, лукавства и вежливства» о проституции в верхних эшелонах русской власти, власти давно погрязшей в безнравственности, лжи и подлости...

Содержание

#1	0006
Глава 1	0007
Глава 2	0033
Глава 3	0051
Глава 4	0074
Глава 5	0098
Глава 6	0115
Глава 7	0130
Глава 8	0153
Глава 9	0170
Глава 10	0185
Глава 11	0210
Глава 12	0232
Глава 13	0251
Глава 14	0267
Глава 15	0283
Глава 16	0305
Глава 17	0337
Глава 18	0361
Глава 19	0383
Глава 20	0451
Глава 21	0469
Глава 22	0487
Глава 23	0504
Глава 24	0523

Глава 25.....	0544
Глава 26.....	0559

Александр Амфитеатров

Дом свиданий

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Глава 1

Дело было в последних девяностых годах прошлого века.

В один из энских полицейских участков явилась – «ворвалась, как буря», говорил мне свидетель-очевидец – нарядно одетая молодая девушка, очень красивая и вполне приличного типа, но взволнованная, с одичалыми глазами, с щеками, пылавшими огнем.

– Кто здесь главный? – резко крикнула она.

– Пристава нет сейчас. Я за него, его помощник. Что вам угодно?

Девушка продолжала так же резко и порывисто:

– Меня зовут Марья Ивановна Лусьева. Я из Петербурга, приехала неделю тому назад. Я тайная проститутка и доношу вам на себя, чтобы вы дали мне желтый билет. Вот вам мой паспорт.

Драматический порыв Лусьевой, возбужденный тон ее речи, слишком заметная интеллигентность, общая пристойность всего ее, как говорят немцы, «явления», совсем несогласные с ее показанием, смутили поли-

цейского.

«Дело неспроста», – подумал он и спросил, избегая местоимений:

– Из каких?

– Я же дала вам паспорт, – грубо рванула Лусьева. – Там все прописано.

Подозрения помощника пристава, что дело не просто, увеличились, когда в паспортной книжке он нашел обозначение – «дочь надворного советника», «дворянка», а в графе документов, на основании которых выдан вид, ссылку на аттестат одной из лучших петербургских гимназий.

– Гм... – сказал он. – У вас прекрасный документ. Как же вы это так? А?

Лусьева молчала, с нервной злобой терзая перчатку на руке. Посмотрел на нее помощник пристава, – не в себе девка.

«Тут что-то мне не по чину разбирать, – решил он про себя; – чем мне самому влетать в эту кашу, пусть расхлебывает ее старшее начальство».

И телефонировал полицеймейстеру, что, мол, так и так, – пришла барышня благородного звания и отменной наружности, взводит

на себя вины несоответственные и заявляет требования несвойственные, очень расстроена и даже как будто не в своем уме; ввиду сомнительности случая, как прикажете поступить?

Вышла резолюция: «Отправить предполагаемую больную в приемный покой и вызвать к ней врача, а там видно будет».

Лусьева, с истерическим упрямством, продолжала кричать, чтобы ей отдали позорное свидетельство.

– Успеете, успеете, – с досадой сказал ей помощник пристава. – С этой радостью, мадемуазель, расстаться трудно, а заполучить ее – минутное дело.

Врач – глупый, старый, равнодушный формалист, давно уже переставший интересоваться судьбами человечества, поскольку они выходят за границы винта и монопольки с груздем в сметане, – не нашел в Лусьевой ничего аномального.

– Женский пол – как женский пол. Не понимаю, с чего вы сполошились. Что в гимназии учились, так все и рты поразинули, аномалий заставляют искать. Просто развратная

девчонка, – вот вам и вся аномалия.

И, в конце концов, Лусьева получила бы роковой документ, если бы не повезло ей, случаем, горемычное счастье.

Дав резолюцию о врачебном исследовании странной девицы, полицеймейстер отправился прямо от телефона к себе в столовую завтракать и, за рюмкой водки, рассказал:

– Представьте, какое у нас сейчас в первом участке оригинальное романическое приключение.

И так далее, и так далее.

– А как фамилия? – спросил его гость, молодой чиновник особых поручений при энском губернаторе.

– Какая-то Лусьева... Марья Ивановна...

Молодой человек даже покраснел от изумления.

– Марья Ивановна Лусьева? Да это чепуха какая-то! Не может быть. Я Марью Ивановну Лусьеву прекрасно знаю. Это проезжая барышня остановилась в гостинице «Феникс», я только вчера был у нее с визитом. Тут – либо самозванство и присвоение чужих документов, либо страшное недоразумение и несча-

стве. Это надо расследовать. Поедемте-ка, Тигрий Львович.

По дороге чиновник рассказал полицеймейстеру, что познакомился с Лусьевой случайно, на музыке в городском саду. Она была с теткой, в высшей степени приличной особой, которую рекомендовала как баронессу Ландио. Вчера, сделав прежним дамам визит в «Феникс», он убедился, что тетка и племянница – женщины с состоянием: они занимают хороший номер, везут с собой в Крым собственную прислугу – тоже весьма благопристойную русскую тетушку, что-то среднее между горничной и экономкой. На что-либо сомнительное, подозрительное, нечистое не было даже и намека.

– Ну, стало быть, сумасшедшая, – решил полицеймейстер. – А знаете ли, – мы едем мимо «Феникса»: не завернуть ли к тетке-то? Быть может, она и не подозревает, что ее племянушка откалывает с безумных глаз. Предупредим. Все-таки, баронесса...

В «Фениксе» на вопрос столь официальных гостей о баронессе Ландио управляющий смутился и вместо ответа пренелепо сразу же за-

ЯВИЛ:

– Я, ваше высокоблагородие, ни в чем не виноват. Документ у нее был в порядке.

– Никто тебя ни в чем не обвиняет, – возразил изумленный полицеймейстер. – А разве что-нибудь случилось?

– У нас ничего особенного не случилось, – сказал управляющий, – но только вот – наш паспортист пришел сейчас из участка и говорит, будто бароншину барышню взяли в полицию и хотят записать в публичные.

– Пустяки. Проводи нас к баронессе.

Управляющий всплеснул руками.

– Да нету ее уже у нас, ваше высокоблагородие. Уехала с утренним поездом на Одессу. И прислуга ихняя с ними. До ужастей как спешили, в двадцать минут собрались...

Полицеймейстер с чиновником особых поручений переглянулись: дело, действительно, начало становиться романическим. Из дальнейших расспросов выяснилось, что баронесса с племянницей выехали вчера вечером из гостиницы, часов около восьми, в какой-то театр. Баронесса возвратилась в послеспектакльное время, между часом и двумя ночи,

одна. Барышня Лусьева приехала уже утром, часов в шесть, или даже позже; вскоре после того у них в номере началась ссора, раздалась нестерпимые визг, крик и брань, так что пришлось постучать к ним в дверь, прося вести себя тише и не мешать соседям. Громче всех раздавался голос женщины, которая служила при баронессе.

– Такие словечки загинала, что слушать, – на базаре фонари лопнут.

Наконец барышня Лусьева выбежала из номера в страшном расстройстве, с сердитым и презрительным лицом прошла мимо швейцара и исчезла на улице. А баронесса вскоре позвонила и приказала подать счет. Она отлично расплатилась и щедро дала на чай. Но ужасно изумилась и испугалась, когда вместо трех паспортов ей принесли из конторы только два.

– А где же вид Марьи Ивановны? – воскликнула она, искривя лицо.

Лакей, который подавал счет, объяснил, что по требованию барышни, еще третьего дня контора возвратила ей паспорт на руки.

– Но... но... как же это вы так могли посту-

пить... разве это можно?.. Вы ужасно что для меня теперь сделали... Вы не имели права...

Баронессе объяснили, что, напротив, гостиница не имела никакого права задержать паспорт, когда его требовала законная владелица. Во время этого объяснения прислуга баронессы молчала, но смотрела на госпожу свою аспидом и, видимо, была не в духе. Затем они обе уехали в дилижансе гостиницы, и, – говорит кучер дилижанса, – всю дорогу до вокзала между двумя женщинами в карете шла ругань не на живот, а на смерть, причем баронесса как будто плакала и в чем-то оправдывалась, а прислуга твердила:

– погоди, погоди! дай в купу сесть: я тебе щеки нарумяню!

Все эти необычайности, в связи с исчезновением Лусьевой и последующими странными о ней слухами, смутили управляющего «Фениксом» – он встревожился:

– Не гостили ли у нас торговки живым товаром?

Удивляло его еще одно обстоятельство: он решительно не помнил, чтобы возвращал паспорт барышне Лусьевой, а между тем пас-

порт очутился у нее в руках, и молодой коридорный, служивший при номере, клялся и божился управляющему, что тот собственными руками выдал ему документ для передачи.

– Оно, конечно, знаете-с, возможно: съезд публики сейчас очень большой, толчея, ум за разум заходит...

Во всяком случае, он по собственному почину собирался уже пойти в полицию – заявить подозрение о странных гостях, да вот – на счастье, заехал сам полицеймейстер с его высокоблагородием. Раньше, в течение семи дней, что дамы стояли в «Фениксе», никаких скандалов между ними не происходило, жили они тихо, гости их посещали редко, а если бывали, то очень порядочные.

– Вот и их высокоблагородие однажды заезжали.

Марью Ивановну Лусьеву полицеймейстер и чиновник застали в страшном возбуждении. Сухое ли, небрежное обращение врача подбавило масла в огонь, просто ли истерический припадок разрастался, но теперь несчастная девушка действительно производила впечатление недалекой от безумия. На-

стойчивое требование «билета» не сходило у нее с языка.

– Вот, – закричала она, едва увидела чиновника особых поручений (окрещу его, наконец, Матвеем Ильичом, прибавив, для краткой характеристики, что губернские львицы прозвали его «Матъе прекрасный», а губернатор, старик веселый и насмешливый, предпочитал для него кличку – «Мотька, где водька?»), – вот и этот господин может вам подтвердить, что я такая... Что, брат, узнал? Вот и расскажи всем, как я привязалась к тебе на музыке!

– Опомнитесь, Марья Ивановна! – возопил сконфуженный чиновник, – что с вами? Никогда не было ничего подобного... Ваша почтенная тетушка...

Лусьева громко и нагло захохотала:

– Тетушка? Это баронесса-то? Целуйся с нею.

– Так она не тетка? – встревожился полицеймейстер.

– Может быть, кому-нибудь и тетка.

– А с вами – в каком же родстве?

– Десять дней тому назад я еще и в глаза ее

не видала, не знала, что такая есть на свете – ба-ро-нес-са Ланди-о... – со злобной иронией протянула Марья Лусьева.

– Следовательно, она – подложная личность?

– Нет, паспорт у нее настоящий. Кажется, в самом деле баронесса. Что вы думаете? Мало на Сенной в ночлежках живет голодного народа с хорошими паспортами? Заплатите деньги: не то что баронессу, – графиню, княгиню можно выудить... Наемная дуэнья, – при мне в тетках состоять была взята. Для языков и для аристократичности. И дешевая: дневной расход, хорошее платье, проезд по первому классу за три рубля в сутки. Правда, умеренно? Потому что, знаете, она хоть представительная, но пьет уж очень и, пьяная, никакой воли в себе не имеет, всю ее хоть разними...

– Позвольте. Дешево ли, дорого ли, но чей же это расход? Кто платил? Вы платили?

Лусьева злобно засмеялась.

– Я? Да у меня уже с полгода лишнего рубля в кармане не было. «Антрепренерша» моя платила, «мадам, Анна Тихоновна», – вот, ко-

торая в гостинице за прислугу при нас числилась...

– Так, – протяжно сказал полицеймейстер, – ну, теперь все понятно. Дело бывалое. Рассказывайте.

– Позвольте, однако, – вмешался Матье Прекрасный. – Если даже, правда все, что вы о себе говорите, я не понимаю цели. Против вас не имелось никаких подозрений, на вас не поступало доносов... Вы могли спокойно продолжать ваше... гм... существование... – поперхнулся он. – И между тем сами доносите на себя. Понимаете ли вы, какую ужасную будущность себе готовите? Ведь этот билет, о котором вы просите, просто черт знает что... И зачем?

– Затем, – с жестоким гневом прервала его Лусьева, – что меня так испоганили, что, кроме как продаваться, я уже ни на что не го- жусь. Но если продажной быть, так уж пусть хоть в чистую – сама собой торгую, а не наби- ваю карман подлых тварей разных, словно раба какая-нибудь...

Полицеймейстер присвистнул.

– Это у нас называется: «Наказал мужик ба-

бу: в солдаты пошел». Рассказывайте.

* * *

Марья Ивановна Лусьева оказалась дочерью бедного петербургского чиновника, которому даровая квартира в казенном доме помогла дать детям приличное образование. Их у старого Лусьева было много, но ко времени, как ему овдоветь, средние дети попримерли, и остались только два мальчика, погодки шести-семи лет, да старшая дочь, уже четырнадцатилетняя гимназистка, Маша. Училась Лусьева отлично. Характера она была веселого, хохотушка, любила танцевать, бегала по театрам, садам, на музыку, но, благодаря хорошим способностям, не отставала от подруг в успехах. Курс кончила отлично. Годов шестнадцати ознакомилась с флиртом и имела огромный успех у мужчин. Нравиться ей никто не нравился особенно, но чтобы ухаживали за нею, она любила очень.

– Ах, Маша! – говорили ей подруги, – какая ты счастливая: даст же Бог такую красоту. Если бы ты еще одевалась как следует, всем мужчинами с ума надо сойти.

– То-то и есть, что Бог разделил по справед-

ливости, – отсмеивалась Маша, – кому красоте, кому туалеты.

Однако рядиться хотелось. Хотелось тоже хороших духов, хотя бы дешевеньких украшений, прошивок, кружев, убрать иной раз голову модной прической у хорошего парикмахера. Но – денег нет, а на нет и суда нет.

– Счастливица! – вздыхали хорошо одетые подруги, завидуя Машиной красоте.

– Счастливицы! – вздыхала Маша, завидуя хорошо одетым подругам.

В числе Машиных приятельниц была некая Ольга Брусакова, жительница того же казенного двора, девица лет уже двадцати двух, грузной, аляповатой красоты и пухлого, поношенного вида. Дурного об Ольге сказать было нечего. Правда, довольно часто она не ночевала дома и даже иногда исчезала из родительской квартиры на целые недели, но всем в доме известно было, что время отлучек своих девица Брусакова проводит у своей крестной матери, госпожи Рюлиной, – по слухам, важной и богатой барыни, которая ее безумно любит дарить, балует и записала на ее имя крупный куш в своем завещании.

Находили немножко странным, что об этой великолепной крестной матери у Брусковых в семье ничего не было слышно до семнадцатилетнего возраста Ольги. В ту пору у девушки завязался весьма неудачный роман. Герой его выдавал себя за графа. В действительности же, – как шушукались подвальные кумушки, – проходимец оказался лакеем графа, выгнанным за пьянство и покражу барского платья и белья. Тогда-то вот и выдвинулась в жизни Ольги величественная фигура знатной и богатой крестной мамыши. Генеральша Рюлина отобрала Ольгу у родителей и продержала у себя больше года. Добрые языки говорили: чтобы разбить неудачное любовное увлечение девушки и дать ей опомниться от драмы тяжкого разочарования. Злые языки утверждали, – чтобы скрыть беременность и роды.

И то могло быть, потому что Ольга возвратилась от Рюлиной к домашним пенатам сильно изменившись. И физически: приобрела вид скорее молодой дамы, чем девицы. И морально: из резвой и веселой хохотушки превратилась в мрачную лежебоку, страст-

ную курительницу дорогих благовонных папирос и усердную поглотительницу душистых ликеров. Рюлина ее очень избаловала. Так как покровительство этой барыни вносило благосостояние в дом, то Ольга сделалась в своей семье главным лицом. Жила, как хотела. Отец (горький пьяница) и мать (азартная игрица по клубам) ходили пред дочкой на цыпочках и – что она, как она, где она, с кем она – не дерзали допытываться. Было однажды навсегда решено, что, раз Рюлина взяла Ольгу на свое попечение, значит, на Рюлиной и ответственность за Ольгу, а у родных папаша с мамашей руки от дочки развязаны и совесть чиста.

Госпожа Рюлина никогда не навещала свою любимицу у ее родителей, но два раза в неделю непременно, а то и чаще, присылала за Ольгой свою карету. И Ольга спешно отрывалась от дела ли, от веселья ли и уносилась с казенного двора на паре чудеснейших кароковых, на мягких американских шинах.

– Счастливица! – вздыхало вслед ей все молодое женское население огромного корпуса.

Ольга была добрая девушка. За вялость и

молчаливость она прослыла глупою. Крестная мать надарила ей множество вещей, но драгоценности Ольги недолго у нее держались: она все раздаривала подругам, либо – просто и без дарения – возьмут поносить, да и заносят, а она не спрашивает. Станут Ольгу учить уму-разуму:

– Зачем зря раздариваешь вещи? Они денег стоят.

– Великих ли денег? Грошовая дрянь. Если бы брильянты или валансьен, – не бойтесь, не отдам...

– Все-таки лучше берегла бы для себя...

Ольга улыбалась.

– У Полины Кондратьевны этой дряни полны сундуки. Скажу, что надо, – еще подарит.

– Счастливица!

* * *

Однажды Машу Лусьеву пригласили на свадьбу. Надо было одеться поприличнее. Платье довольно хорошее у нее нашлось. Украшения пообещалась дать Ольга. Приходит к ней за ними Маша. Ольга только что приехала домой от крестной матери больная, не в духе, лежит на диване, руки за голову, зе-

вает, еле отвечает на вопросы. Вещи она отобрала для Маши отличные.

– Счастливица ты, – по обыкновению говорит Маша, – чего-чего у тебя нет. Просто зависть берет на твое счастье.

Ольга в ответ промычала что-то не слишком веселым и одобрительным тоном; ее мучил жесточайший мигрень, и она усиленно растирала томимый болью висок платком, вымоченным в одеколоне.

– Золотая душа твоя Полина Кондратьевна, право, золотая...

– Бог смерти не дает, должно быть, заживо вознесена в рай будет, – странным, злобно-насмешливым голосом возразила Ольга.

– Как ты говоришь... – смутилась Маша. – Будто совсем ее не любишь...

Ольга молчала.

– Она тебе столько благодетельствует... дарит. Разве ты ей не благодарна?

– Если бы смела... с удовольствием бы швырнула все эти цацки ей в рожу... – неожиданно прорвалась Ольга, засверкав глазами.

Маша совсем растерялась.

– Ой, что ты это... За что?

– Да уж за то... стоит...

Маша подумала, что, должно быть, между крестной и крестницей пробежала черная кошка, поссорились, и теперь Ольга нервничает и злится. Она хотела смягчить неприятный разговор и свести его к шутке.

– Ну, ты совсем неблагодарная, – смеясь, сказала она. – Не стоишь своего счастья. Если бы Бог дал мне такую крестную маму, я бы ее вставила в киот. Слушай. Подари мне свою Полину Кондратьевну, а я тебе отдам свою крестную.

Ольга посмотрела на подругу острым, серьезным взглядом.

– Вот что, Машка, скажу тебя напрямик и твердо: ты этим со мной не шути. Избави тебя Бог. И слов вперед мне не говори, не начинай, не смей...

– Помилуй, Оля, что ты? разве я серьезно?

– Знакомиться с Полиной Кондратьевной не воображай: не допущу, не позволю...

– Я и не мечтала... тем более, если ты так ревнуешь...

– Я ревную?..

Ольга даже зубами скрипнула, но спохва-

тилась и договорила уже спокойно:

– Ревную я или нет, – этого ты не поймешь, мое дело. А тебе по дружбе советую: не завидуй ты мне и не мечтай о моем счастье. А если столкнет тебя дьявол где-нибудь с моей Полиной Кондратьевной, беги ты от нее, как от огня, не льстись, не знакомься. И если когда-нибудь я сама стану уговаривать тебя поехать к ней, прошу тебя: не слушай меня, откажись тогда...

– Да, ты не уговариваешь... Напротив, не хочешь...

Ольга возразила, глядя в сторону:

– Вот и напомни мне этот наш разговор, как я не хотела... Потому что, Машенька, сейчас я тебе все это – свои слова говорю, душевные, по дружбе. А случается, что мне приказывают говорить... Я, Маша, живу не на своей воле... Не всегда мне можно быть откровенною... А затем довольно об этом. Ну ее к черту... да и меня с ней тоже!..

«Какая она сегодня непонятная, – думала Маша, уходя от Ольги. – Точно она выпила?!»

Увы! Если бы подруги поцеловались на прощанье, – Ольга уклонилась от этого обря-

да под предлогом насморка, – то, вероятно, даже наивная Маша заметила бы, что от девицы Брусаковой жестоко разило коньяком.

Одной из странностей Ольги Брусаковой было, – что она терпеть не могла показываться в обществе, на улице, в театре или в концертном зале с кем-либо из своих подруг. Если случалось ей сойтись публично даже с Машею, которую она, всем заведомо, очень любила, она делала неприятное лицо, едва здоровалась, уклонялась от разговора и всячески старалась отделаться поскорее от нечаянной и словно противной ей встречи.

Однажды Маша столкнулась с ней лицом к лицу на Морской. Ольга выходила из фруктового магазина с покупками в руках. Маша обрадовалась. Ольга нахмурилась.

– Ты куда? Домой? – спросила Маша.

– Да, думала уже домой...

– Вот и прекрасно, пойдем вместе...

Ольга слабо покраснела, пролепетала что-то невнятное и странно оглянулась по людной улице, кипевшей народом. Маша подметила этот робкий взгляд и рассердилась.

– Что это, право, Оля, – обиженно сказала

она, – мешаю я тебе, что ли? Право, можно подумать, что ты меня стыдишься...

Ольга Брусакова посмотрела ей в лицо жалким, скрытным взглядом.

– Вот глупости... – пробормотала она. – С чего ты взяла? Пойдем, конечно. Очень рада.

– Отчего эта дама так пристально смотрит на нас? – спросила Маша, когда, обогнув угол, они приближались к Полицейскому мосту.

– Какая дама?.. Ах... Здравствуйте... – растерянно сказала Ольга красивой, нарядной особе, которая поравнялась с ними.

– Здравствуйте... – протяжно сказала та, окинув обеих девушек любопытным, пронизательным взглядом.

Подруги прошли было мимо. Маша с изумлением видела, что Ольга красна и дышит тяжело. Чувство оскорбления снова закралось в душу Лусьевой.

«Как она стыдится моего общества перед своими знакомыми...» – с тоской думала она, уже горько раскаиваясь, что просила Ольгу идти вместе, и, решая в уме, что сейчас же расстанется с ней под каким-нибудь предлогом, возьмет извозчика, свернет в переулок,

лишь бы освободить ее от своего неприятного присутствия.

– Виновата... Эвелина, мне надо сказать вам два слова, – слышался сзади любезный женский голос.

Ольга быстро повернулась: звала красивая встречная дама, – и подошла к ней.

«Эвелина?!»

Маша ничего не понимала.

Разговор Ольги с незнакомкой был короткий, но пылкий и, заметно, очень неприятный. Маша уловила несколько слов.

– Вы не имеете права... – нервно говорила Ольга.

Дама спокойно и презрительно улыбалась красивым ртом и смотрела на Ольгу, как власть имущая.

– Это ваша подруга? – нарочно повысила голос она. – Какая хорошенькая!

Ольга, все более и более разгораясь, нагнулась к ней и зашептала быстро-быстро, и как бы уже не споря, а просительно.

– Да, да... Я скажу Полине Кондратьевне... – с таким же неприятным спокойствием твердила дама. – А подруга ваша очень хорошень-

кая... До свиданья, Эвелина.

Ольгу так и передернуло. На ней лица не было, когда она возвратилась к Маше.

– Кто это? – спросила Лусьева, когда они отошли.

Ольга пробормотала:

– А, мерзавка одна... Из маменьки крестной прихвостней...

– Ты с ней в ссоре?

– Как ни сойдемся, непременно поругаемся... Гадина!

– Она тебя Эвелиной звала... Как странно...

– Ничего нет странного, – быстро ответила Ольга, усиленно глядя себе под ноги. – Разве я тебе не говорила? Полина Кондратьевна меня так всегда зовет... Ну, и все в доме... Она ведь чудачиха, у нее каждому человеку своя кличка... Этой вот дряни, что мы встретили, настоящее имя Александра Степановна, а Полина Кондратьевна зовет ее Адель... Даже горничную Лушку, и ту перекрестила в Люцию...

– А эта Адель – родственница ей или чужая?

– Черт ее знает. Говорит, будто родственница. Просто любимая приживалка... всем до-

мом управляет.

– То-то вы с ней не в ладу...

– Да не то чтобы уж очень не в ладу, а... Скверно, что она тебя встретила со мною, – вот что... – вдруг искренно вырвалось у Ольги.

Машу опять кольнуло. Она готова была заплакать.

– Как это нехорошо с твоей стороны, Оля, – горячо сказала она. – Зачем ты так бестактно даешь мне понять, что я тебе не пара? Ну, пусть я бедная, а твои знакомые – аристократы... Неужели я уж так тебя срамлю? То ты все шла и оглядывалась по сторонам, будто мы что украли, теперь попрекаешь, зачем нас встретили вместе...

Ольга не отвечала, смотрела на тротуарные плиты, и до самого корпуса подруги шли в глубоком молчании. Маша чувствовала себя уязвленной до глубины души. Но у своего подъезда Ольга простилась с ней тепло и сердечно и крепко при этом поцеловала. На глазах ее дрожали слезы.

– Все равно, дура, думай обо мне, как хочешь... – сказала она трепетным, полным

дружбы голосом. – Все равно, ты ничего не понимаешь, и не дай тебе Бог понять...

«Удивительная вещь, – думала потом Маша, – отчего она так расстроилась? Бедная Ольга. Должно быть, у ее благодетельницы все-таки ужасный характер. Как Оля ее боится».

Глава 2

Спустя несколько дней Ольга навестила Машу. Вид у нее был совсем уже другой: холодный, равнодушный.

– Я к тебе сегодня по делу, – сказала она, глядя в пространство, мимо лица Маши. – Ты, помнишь, говорила, что хотела бы познакомиться с Полиной Кондратьевной? Ну, Аделька эта... помнишь, которую мы встретили на Невском? Насплетничала Полине Кондратьевне три короба, какая ты красавица и симпатичная, и теперь моя старуха совсем взбеленилась: вынь ей да подай – привези тебя в гости... Взяла с меня слово, что ты у нее непременно будешь... Уж поедем, пожалуйста, а то она меня заест...

– Отчего же нет? – отвечала Маша. – Я очень рада... Вот только ты – как?

Ольга пожала плечами.

– А мне-то что? – возразила она с искусственным равнодушием.

– А помнишь: ты меня предостерегала, чтобы я ни в каком случае не знакомилась с твоей крестною?

Девушка Брусакова стала густо-малиновой и захохотала деланным смехом.

– Ах, ты вот про что... Тогда? Ну, об этом можешь забыть... Тогда я была сама не в себе... Она мне, за одну штуку, страшно обидную сцену сделала.

– Я так и поняла, что это было несерьезно, – тоже засмеялась Маша.

– Ну, конечно, несерьезно... – вяло подтвердила девушка Брусакова. – Поедем.

Маша отправилась к отцу спросить разрешения на новое знакомство. Родитель, разумеется, не только позволил, но и был польщен.

В богатой квартире Полины Кондратьевны Лусьева была встречена как родная. Красивая Адель была тут же.

– Вас хотели от нас спрятать, но это не удалось, – сказала она, шутливо грозя пальцем Ольге Брусаковой. Та улыбалась, но очень криво и с нехорошим бледным лицом.

Сама Полина Кондратьевна Рюлина оказалась величавой старухой, лет уже под шестьдесят. Она была массивна, как башня, одевалась молодо, белилась, румянилась и,

заметно, с тщательностью старалась сохранить как можно доле остатки былой красоты и эффектной фигуры. Глаза ее удивляли своим выражением: беспокойным и в то же время наглым, дерзко вызывающим.

«Так смотрела Даша», – подумала Лусьева.

Даша была горничная, которая, прослужив у Лусьевых несколько дней, попала в воровстве, а когда пришла полиция составить протокол, то сыщик узнал в Даше известную профессиональную воровку, обирательницу мелких квартир.

Заговорила Полина Кондратьевна с Машей по-французски и заметно осталась довольна. Сама Рюлина странно акцентировала на всех языках, не исключая русского, хотя рекомендовала себя кровной русачкой.

Весь образ жизни дома был приличен до чинности. Маша с удовольствием чувствовала себя среди «аристократической обстановки». По приказанию Полины Кондратьевны, Адель показала Марье Ивановне всю квартиру – очень большую, старинно и богато отделанную, с множеством бронзы, картин, произведения искусства. Некоторые картины бы-

ли затянуты зеленым сукном. Особенно много таких было в роскошной и торжественной спальне хозяйки, сиявшей, кроме того, множеством зеркал: даже угол около гигантской двуспальной кровати и квадрат потолка над ней были зеркальные. Маша выразила удивление. Адель засмеялась.

– Это вкус покойного супруга Полины Кондратьевны.

Обстановка не менялась после его смерти. Полина Кондратьевна обожает его память, хотя, говоря между нами, он был большой шалун и *mauvais sujet*... Например, хотя бы эти зеркала... Или эти картины... Посмотрите...

Адель отдернула один из чехлов. Марья Ивановна взглянула и потупилась, заливаясь румянцем: картина изображала сатира и нимфу поведения совершенно нескромного. Адель хохотала.

– Согласитесь, что такую прелесть нельзя держать на виду.

– И все, которые закрыты, такие? – спросила Маша.

– Все. Это был вкус покойного генерала. Когда-нибудь приходите днем, – я вам покажу...

Есть шедевры... Даже Рубенс... Только Полине Кондратьевне не говорите: она ненавидит, чтобы их открывали, говорит, что мерзость...

– Я бы на ее месте просто велела вынести их на чердак...

– А, милая, говорю же вам: она боготворит память мужа... В квартире – вот уже пятнадцать лет – не тронута с места ни одна его вещь... Да к тому же и жаль: иные полотна чудно хороши, за них плачены тысячи рублей. Вот, например... Адель отдернула и другой чехол: Леда и лебедь...

– Это из мифологии, знаете, – смеясь, пояснила она.

Маша знала. Вещь была действительно художественная, чуть ли не майковской кисти. Любопытство преодолело стыд.

Маша посмотрела картину, конфузясь, краснея, с угрызением совести, но и с любопытством.

– Тут Фрина с невольницей... Тут Пазифая... – быстро отдергивала и сейчас же задерживала полотна Адель, так что они едва успевали сверкнуть в глазах Маши обилием нагого тела и странными позами. – Это рубенсова

семья сатиров... Все очень пикантно... Да вы заходите завтра днем... Часа в два... Полины Кондратьевны не будет дома: поедет с визитами... Я вам все покажу. Только ей – молчок, а то мне достанется.

Она призадумалась как бы с некоторой нерешительностью и вдруг хитро подмигнула.

– А, впрочем, я и сейчас еще покажу вам что-то интересное. Что же я все забавляю вас старьем? Перейдемте в будуар, – увидите новую живопись: чудесный Константин Маковский... Это уже приобретение... заказ самой Полины Кондратьевны и, конечно, ничего неприличного... так, – очень художественное ню...

* * *

Картина, действительно превосходная, изображала нагую женщину, стоящую во весь рост, в позе Венеры Медицейской. Но золотые волосы ее не были убраны «а ля грек», как у бессмертного образца, но, распущенные по плечам и спине, катились волнами именно уже «рейнского золота» ниже колен. Маша Лусьева смыслила кое-что в живописи. Она

сразу распознала, что это – портрет, и ахнула в изумленном восторге:

– Какая красавица. Кто такая?

Адель, с улыбкой странного самодовольства, назвала:

– Евгения Александровна Мюнхенова. Слышали?

– Нет.

Адель высоко подняла черные брови.

– Не слышали про Женю Мюнхенову?

– Никогда не слыхала.

– Ну, Мари, вы, должно быть, не в Петербурге живете, а в какой-нибудь медвежьей берлоге... Впрочем... вам который год?

– С прошлой недели пошел девятнадцатый.

– Ага! Значит, когда Женя блистала в Петербурге, вы были еще совсем маленькая девчурка. Ведь это около десяти лет тому назад. Уж седьмой год, что ее нет в России...

– Она... артистка была?

– Н-н-н-е-ет... – протянула Адель, – не совсем... Ее, знаете, безумно любил великий князь...

Названное имя заставило Машу, вернопод-

данную обожательницу царской фамилии, округлить глаза новым изумлением, почти-тельным почти до страха.

– Как же это, Адель Александровна? – робко возразила она, – ведь он женатый и у них дети взрослые?

Адель рассмеялась.

– Ах вы... наивность! Как будто женатые не влюбляются! Что же им, под венцом, глаза, что ли, выкалывают, чтобы не видали больше женской красоты?.. Великий князь человек с развитым эстетическим вкусом... А согласитесь, что между Женей Мюнхеновой и этой жирной немецкой принцессой, его супругой, есть маленькая разница не в пользу законной толстухи...

– Еще бы! еще бы! – подтвердила Маша, восторженно вглядываясь в красавицу, которая, гордой победительницей, чуть улыбалась ей с полотна. – Господи, как хороша! Просто невероятно, до чего хороша!

– Да, очень хороша. Так хороша, что, пожалуй, лучше уже не бывает. И смею вас уверить: Маковский ей не польстил, а, напротив, на портрете Женя и вполтину не так пре-

красна, как на самом деле. Здесь она статуя – на немножко, – застылые классические черты. Константину Егоровичу не удалось схватить жизни ее лица, синего огня глаз ее удивительных...

– Богиня! истинно богиня! – повторяла Маша.

Адель бросила на нее лукавый пронизывающий взгляд.

– А ведь вам хочется о чем-то спросить меня, да не решаетесь? – усмехнулась она.

– Я?.., что?.. Почему вам кажется?.. Нет! – удивилась Маша.

Но Адель, без внимания к ее отрицанию, продолжала:

– Хорошо уж, плутовочка вы этакая, я пойду навстречу вашему вопросительному взгляду. Вас, не правда ли, удивляет, почему портрет Жени Мюнхеновой, да еще в обнаженном виде, помещается так почетно в будуаре такой строгой дамы, как наша милая Полина Кондратьевна? Очень просто: Женя Полине Кондратьевне немножко сродни... правда, седьмая вода на киселе, но все-таки... и почти воспитана ею... Ведь и с великим князем-то

она познакомилась здесь, у нас в доме...

– Как? У вас в доме бывает великий князь?! – до мурашек по спине ужаснулась Маша.

– Очень часто, – равнодушно подтвердила Адель. – И не он один, многие из великих князей бывают. А этот... еще бы ему не навещать Полину Кондратьевну, когда покойный генерал был его сослуживец и боевой товарищ? Он к нам – запросто. Когда-нибудь вы с ним у нас встретитесь.

– Ой, Адель Александровна, что вы! Господи, как страшно! Да я, кажется, сквозь землю провалюсь...

– А вот я нарочно вас сведу, чтобы вы не воображали его сверхъестественным существом каким-то... Мужчина, как все, и очень простой, любезный, обходительный господин... Женя, – кивнула она на портрет, – была с ним очень счастлива. А он с того времени, как она его бросила, не может утешиться, все ищет замены, но... не так-то легко...

– Я думаю! – согласилась Маша, опять вглядываясь в портрет, – уже завистливыми, ревнивыми глазами.

Но Адель, с плутовской улыбкой, – фамильярным приятельским жестом – ударила ее по плечу.

– Вот увидит вас, влюбится и забудет Женю...

– Ну уж! Где мне! – вздохнула Маша. – Я, после этого портрета, буду стыдиться на себя в зеркало взглянуть...

– Уж будто? – смеялась Адель. – А вы хитрая, и напрашиваетесь на комплименты. Унижение паче гордости. Не поверю я, чтобы вы не понимали своей красоты. Вы, душечка, в своем роде стоите Жени. У вас с ней только разный тип. Она блондинка, вы темная шапенка, – вот и вся разница...

* * *

Маша сознавала, что Адель ей безбожно льстит, но слушать было приятно, а к красавице на полотне в ее маленьком глупеньком сердечке зашевелилось не очень-то дружеское чувство критического соперничества. Захотелось искать в совершенстве Жени недостатки, сказать о ней что-нибудь неприятное.

– И все-таки, – вымолвила Маша не без

презрительного оттенка в голосе, – сколько она ни хороша, я не понимаю, как же ей не стыдно было так позировать?..

– Ну, это-то пустяки, – небрежно возразила Адель. – Вы в Петергофе бывали? дворцы осматривали?

– Сколько раз.

– Значит, должны были видеть портрет императрицы Елизаветы, когда она была маленькой великой княжной. Отец, Петр Великий, велел написать ее тоже совсем голенькой, чтобы все любовались, до чего она прекрасна...

– Да, но там маленькая девочка... бессознательный ребенок...

– А угодно вам взрослою, то на Невском, против Гостиного двора, на лотке у любого формовщика вы найдете гипсовую отдыхающую Венеру Кановы, то есть Полину Боргезе, сестру Наполеона Первого.

– Пусть так, но что же из того следует? Все-таки стыдно.

– Следует то, милая, что на настоящих высотах жизни красота перестает считаться с мещанскими предрассудками и не стыдится

себя, а, напротив, эстетически гордится своей победительной силой...

– Ах да! Это – как в Греции... Фрина! – вспомнила Маша из запретного гимназического чтения страницу, целомудренно зачеркнутую в учебнике истории педагогической цензурой, а потому прочитанную гимназистками с особенным живым интересом.

Губы Адели тронула легкая насмешливая улыбка, которую она искусно скрыла.

– Вот именно, как Фрина пред судьями... А кстати: вам не случилось слышать, что в Петербурге есть барышня, некая Юлия Заренко, до того похожая на «Фрину» Семирадского, что так и слывет в обществе Фриною?

– Неужели настолько хороша?

Адель пожала плечами.

– Как вам сказать? Конечно, хороша, но, по-моему, уж слишком захвалена и сама слишком много о себе воображает... Я вам покажу ее как-нибудь, она у нас бывает. Вы, на мой взгляд, гораздо лучше.

– Ох, вы, кажется, тоже хотите совсем меня захвалить! – смущенно рассмеялась краснеющая Маша.

А Адель твердила:

– Я только откровенна, только искренна!.. И ненавижу условности... условные фразы, условные поступки, условную мораль, отраву всей нашей жизни... В особенности, ох уж эта мне условная мораль петербургских мещан! За что я больше всего люблю и уважаю мою старуху, это – что в ней бесконечно много истинного достоинства и стыда, но ни малейшего страха пред глупыми условностями, которыми общество само себя сковывает, как кандалами. Собственной совести бояться – это мы с ней понимаем, но, что люди скажут, нам решительно все равно... Ведь вот и за Женю эту восхитительную сколько нам доставалось, когда она жила с великим князем, зачем мы ее принимаем у себя, не отвернулись от «погибшей женщины», как всякие там злородные и надутые мещанские добродетели... Из которых, однако, каждая, конечно, мечтала втайне: «Ах, если бы мне быть на ее месте!..» Потому что Женя видела у своих ног всю власть, все богатство, весь блеск, всех могущественных и знаменитых людей – да не только Петербурга, а всей Европы... Вот вам и

«погибшая женщина»!..

– Однако, Адель Александровна, – робко протестовала Маша, побуждаемая проснувшимся в ней недружелюбием к красавице, – если она пожертвовала своим добрым именем для власти, богатства и блеска, это, согласитесь, действительно нехорошо... извините, что-то даже... продажное!

– Нет, это вы извините! – воскликнула Адель, даже с горячностью. – Ошибаетесь! Женя не продавалась! не способна была! Она сошлась с великим князем по глубокой, искренней взаимной любви. А что она так рискнула собою, то – что же было делать, если его высочество узнал Женю слишком поздно, когда был давно женат? Любовь не рассуждает и не терпит, а развод на этих высотах – дело недопустимое: династический скандал, нарушение политического равновесия Европы!.. А когда Женя заметила, что она ошиблась в князе и разлюбила его, то – как благородно и честно поступила! Никакие богатства и почести ее не удержали, не захотела кривить душою, – бросила все и ушла...

Маша вынуждена была согласиться:

– Да, если так, то, конечно...

Но Адель, все с той же пылкостью, напира-
ла:

– Как вы думаете: такая «гранд дама», как Полина Кондратьевна, женщина старого институтского воспитания, полная самой взыскательной внешней добродетели, стала бы поддерживать дружеские отношения с продажной женщиной и вешать ее портрет на стену своего будуара?

Столь прямо поставленный вопрос застал Машу врасплох. Некоторое сомнение в великих добродетелях голой богини все еще смутно копошилось в ее мыслях. Но Адель и не ждала ответа, а с победоносной наглостью заключила:

– То-то вот и есть!.. А, милая мещаночка, я вас заставлю переменить мнение, пуританка вы этакая! Я вам еще порасскажу о Жене... Это не простая женщина, а живая волшебная сказка из тысяча одной ночи!.. Ну и вообразите себе теперь, что сказка эта, в угоду мещанским предрассудкам, вместо своего преступного романа с женатым великим князем, добродетельно обвенчалась бы с какими-нибудь

холостым или вдовцом чинушей, столоначальником, начальником отделения или как там зовут их еще?.. Женя Мюнхенова в средней буржуазной обстановке! Ведь это же просто противоестественно, дорогая моя!.. Женя столоначальница! Женя хозяйка квартиры, где-нибудь в Рождественских, мать дюжины плаксивых ребят! Разве не грех? разве не преступление?

Случаем ли Адель метко попала в цель, Ольга ли Брусакова ее научила, но эти последние слова ее затронули как раз самую большую струну в сердечке Маши Лусьевой. В последнее время к ней упорно сватался столоначальник учреждения, в котором служил ее отец. Человек был приличный, с возможностями успешной карьеры, на виду у начальства. Словом, жених – хоть куда. Отец Маши очень ему покровительствовал и – нудить не нудил, но очень донимал дочь бесконечными разговорами-нотациями, что пора ей пристроиться, а лучше случая – и желать нельзя. Но Маше жених не нравился: казался скучным и пошлым, – в тридцать лет сухарем, а что же дальше будет?! Вообще, к чиновничье-

му мирку Маша относилась с недружелюбием, и заключиться в нем на всю жизнь представлялось ей жребием почти что самоубийственным. Понимая свою красоту, она даже к влюбленным в нее из этого мирка не имела веры и критиковала их скептически:

– Знаем мы, зачем ему нужна красивая жена. Женится, да и заставит себе карьеру делать. Предоставит кому-нибудь из начальства...

Так что суждение Адели о браке с «чинушей» взволновало Марью Ивановну, как эхо ее собственных мыслей, и с этой минуты злополучный столоначальник потерял чаемую невесту безнадежно навсегда.

Глава 3

В карете, уносившей подруг к родным пенатам, Маша трещала, как канарейка: уж так-то понравилась ей госпожа Рюлина и в особенности приветливая Адель. Ольга угрюмо молчала.

– А картины она тебе показывала? – спросила она, наконец, усталым, скучным голосом.

– Да... Фу, какая гадость!.. Не понимаю, как их можно держать в доме...

– Нравятся иным... – с насмешкой протянула Ольга.

– Но зато Жени Мюнхеновой портрет – какая прелесть! Ольга встрепенулась.

– Как? – бросила она порывистый вопрос, – Адель уже просветила тебя и о Жене Мюнхеновой?

– Фу, Ольга! – удивилась Маша, – «просветила!» как ты странно выражаешься!

– Не в том дело... Ну, ну! что она тебе о Жене наговорила?

Маша передала. Ольга хмурая слушала, покусывая губы.

Когда Маша кончила:

– Ты все-таки этого имени дома как-нибудь не брякни! – посоветовала Ольга, откидываясь в темную глубь кареты. – Хотя твой почтенный родитель тоже довольно невинный цыпленок для своих преклонных лет, однако, может быть, как-нибудь случайно осведомлен... И едва ли ему понравится, что дочка посещает дом, где на стенах красуются непристойные картины, а хозяйки читают девицам лекции о превосходстве содержанок... хотя бы и великокняжеских! – над порядочными женщинами...

– Да я уже и сама соображаю, что тут кое о чем лучше будет промолчать, – поддакнула Маша с важностью заговорщицы.

Ольга странно, неприятно рассмеялась.

– Да, уж лучше помолчи! Однако, как Аделька спешит с тобою... вот спешит! – вымолвила она после короткой паузы, как бы размышляя вслух. – Я не запомню, чтобы она с кем-либо еще так спешила...

– То есть... как это? в чем? Я не понимаю.

– Дружить с тобой уж что-то слишком пылко устремилась... Ты, Маша, как хочешь, твое

дело, но все-таки мой тебе добрый совет: не бери очень всерьез, что она тебе толкует... Она ведь у нас соловей, запоет кого хочет...

– Разве она мне все неправду говорила? – недоверчиво озадачилась Маша.

– М-м-м... н-н-нет... правду-то правду, пожалуй, н-но...

– Что же?

– Да талант у нее – так повернуть и расписать правду, что уж лучше бы лгала...

– Однако, Оля, вот это, что она хвалилась, будто у них бывают великие князья, – это-то верно?

Ольга опять вся нырнула во мрак.

– Всякие у них бывают, – слышался сухой ответ.

– И великие князья? – настаивала Маша.

– Ну... иногда и великие князья... вот пристала!

– Так-таки вот – точно мы, в своей среде, друг к другу в гости ходим? совсем запросто?

– О, слишком запросто! – быстрой злой насмешкой откликнулась Ольга.

– И ты встречалась с ними?

– Имела это... удовольствие.

– Господи, какая счастливица! Но как же ты мне никогда ничего о том не говорила?

– Должно быть, к случаю не пришлось. Да и Полина Кондратьевна – заметь, кстати, и для себя – вообще не любит, чтобы на стороне болтали о том, что делается у нее в доме... Знаешь, пословица советует сора из избы не выносить...

– Помилуй, Оля, какой же этот сор – визит великого князя? Ты просто деревяшка, ледышка какая-то, если можешь равнодушно говорить о подобной чести... Я прыгала бы от радости!

– Прыгай, пожалуй, если уж ты такая... верноподданная, – с особенной, до грусти, серьезностью отозвалась Ольга, – но, Машенька, еще и еще повторяю: когда Аделька опять будет набивать тебе голову эпопеями о великих князьях и разных там Женях Мюнхеновых да Фринах, дели все, что слышишь, на десять: девять выкинь, одно оставь... да и то еще обочтешься!

Девушки умолкли – каждая в своих мыслях. Карета катила их в родной казенный двор.

– Да, – внезапно сказала Ольга, прощаясь с Машею, – скверные картины... Ненавижу их... Не увлекайся, не соблазняйся ими, Машенька...

– Ольга, – ты с ума сошла!.. – воскликнула изумленная Лусьева. – Неужели ты думаешь, что они могут мне нравиться?

Ольга горячо жала ей руку и говорила:

– Я, когда их вижу, всегда об одном думаю. Хорошо, что все эти госпожи рисованные – мертвые, фантазия одна... А если бы живые?.. Ты вообрази только, поставь себя на место женщины, которая была бы так... и все бы на нее смотрели... разбирали вслух ее красоту, ее сложение... Каково бы ей было? а?

– Что ты! разве это возможно? – озадачилась Маша.

– Да ведь писано же с кого-нибудь...

– Ну уж, должно быть, с каких-нибудь совсем бесстыдных... – горячо воскликнула Маша.

– Прощай, – сухо сказала Ольга и скрылась за дверью.

Маше спалось отлично, ей снились очень веселые сны в эту ночь.

В скором времени Марья Ивановна стала в доме Рюлиной своим человеком и, вопреки предостережениям Ольги Брусаковой, особенно дружески сошлась с красивой, умной Аделью. Лусьева еще не совсем вышла из того возраста, когда «обожают» интересных старших девиц и дам. Кроме Адели, у Маши появилась новая приятельница, некая Анна Казимировна Катушкина, по кличке рюлинского дома – Жозя, молодая разводка полупольской крови, очень красивая и веселая блондинка с заманчиво туманными глазами, крупная, породистая, с языком циническим, но острым, – неистощимый источник каламбуров, анекдотов и афоризмов самой беспечальной философии. Маше – впрочем, Рюлина успела уже и Лусьеву переделать в Люлю, по первому слогу ее фамилии – Жозя казалась очень милою, доброю, немножко жалкою, а что – шальная, то с нее и взыскивать нельзя: жизнь несчастная.

– Влюбчива я, душки! – ахала про себя сама Жозя. – Ах, если бы не моя проклятая влюбчивость! Ах!.. Ко мне князь Свиноплясов, за кра-

соту мою, без приданого сватался, – десять миллионов, душки! – а меня черт дернул в Катушкина врезаться: он у татка в конторе за бухгалтера служил... глаза пронзительные, маслинами... ну и кувырком! и тайный плод любви несчастной!.., вот тебе, здравствуй, и княгиня!.. Спасибо еще, что хоть сам-то Катушкин не спятился, соблаговолил жениться... Но и дул же он, зато потом меня, душки, – вот дул!.. С Катушкиным Бог развязал – банкир Баланович, – знаете, на Невском? У-у-у! его все боятся, всех в лапе держит, паучище, – беда! – звал меня жить за хозяйку... С собой еще молодец, усы, духи самые джентльменские, квартира, лошади, полторы тысячи в месяц на булавки... Я было и с лапочками, но тут подвернулся юнкер Шмидт. Выжимает шестьдесят килограммов, в рейтузах... Говорит: с милым рай и в шалаше, а то застрелюсь... Два месяца голодала с ним, как собака, да еще – отчаянный: полтора раза стрелял в меня из револьвера, потому что имел товарища Шульца... вот зубы, душки! ах, милые, шульцевеких зубов нельзя видеть без восхищения! Жемчуг! У дантистов в витринах не видала

подобных!

– Погоди, Жозя, – издевалась Адель, – как же это Шмидт стрелял в тебя полтора раза?!

– А во второй раз осечка вышла. Впрочем, это уж не из-за Шульца. К Тартакову приревновал. Я портрет Тартакова купила за гривеник и спрятала под подушку. А Шмидт мой, длинноносый, нашел и сейчас же – за револьвер. Это у него ужасно как скоро всегда начиналось. Потому что он, душки, так себя понимал, что папаша у него пьяница, мамаша в сумасшедшем доме сидит, а я, говорит, наследственный декадент и психопат и никакого суда на свете не боюсь, потому что, какого лихого прокурора на меня ни спусти, с меня взятки гладки... Чуть поругаемся, глядь, револьвер уже в руках... И тебя, – говорит! И себя, – говорит! И его, – говорит! И всех, – говорит! А я с Тартаковым и по это время не знакома... ей-Богу!

– А зачем покупала портрет?

– Тут в аптеке соседней провизор был, очень похож: славный такой еврей, молодой, круглолицый, кудрявый... ужасно как мне нравился.

– И с провизором был роман?

– Что! Не стоит внимания: всего два рандеву, а после его мамаша с папашей в Вильну выписали и женили на бакалейной вдове... Да! Влюбчива, дети мои! Что делать? Судьба. Погибаю от влюбчивости. Весь мой глупый характер: не могу. У кого голова кудрявая, – не могу. Сколько я от одного подлого актерья горя перетерпела, потому что, если мужчина средних лет очень аккуратно выбрит, против этого я уж никак не могу устоять. В одного влюбилась зато, что пиджак синий носил, очень хорошо сидел на нем... А он, дурак, возьми да явись на свидание в коричневом рединготе... ну и никакой иллюзии... потеряла настроение, прогнала.

– А теперь кто у тебя, Жозя?

– Инженер... преогромнейший, душки, мужчина... и все шампанское хлещет...

И Жозя, захлебываясь, повествовала, как и где она познакомилась с инженером, и какие приключения у них затем вышли.

– Стой, Жозька, перестань, – хохоча, обрывала ее Адель. – С тобой договоришься. В голове у тебя дырки, ветер продувает, язык без ко-

стей... Разве можно входить в такие подробности? У, бесстыдница! Тут барышня сидит, слушает, ей этого нельзя...

– Ну-у-у-у? – отчаивалась Жозя. – Ах я окаянная! Всегда увлекусь, забудусь... Вы, Люлюшечка, простите, не обижайтесь на меня, грешницу. Я ведь спроста.

– Ну что вы, Жозя? Что это, право, какая вы, Адель? – обижалась Маша. – Разве я маленькая? Смешно не понимать.

Адель строила строгое лицо.

– Нет, нет... Полина Кондратьевна услышит, будет сердиться. Скажет, что мы вас развращаем... Она на этот счет такая rude... Женщина старого воспитания... Ей и генерал покойный анекдотами подобными надоел...

– Их дома нет, – спешит вмешаться любимая камеристка Рюлиной, русская красавица Люция, по паспорту ярославская крестьянка Лукерья Куцулупова, всегда фамильярно вертевшаяся в комнатах при барышнях, – по фавору у хозяйки дома почти что в ровнях с Аделью. – Их дома нет, уехали с визитами...

– Ну, разве что дома нет.

Ольга Брусакова и этой Машиной дружбы

не одобряла. О Жозе она выразилась кратко, но сильно:

– Хуже Адельки. Мерзавка и предательница.

Это было до того не похоже на правду, что Маша возмутилась.

– Господи! Что с тобой делается, Ольга? Ты мизантропкой становишься. Откуда это у тебя? Всех бранишь, ко всем дурные подозрения, злость, ненависть какая-то...

– Как знаешь. Твоя знакомая, твое дело.

– Ты с ней сама друг, даже на «ты».

– Я! Мало ли что я... Если Полина Кондратьевна мне прикажет, я и с Люськой буду на «ты»... А ты человек свободный, у тебя должна быть своя воля, ты можешь выбирать себе подруг...

– Что ты имеешь против Жози?

– Она поганая.

– Что в разводе с мужем, так уж и поганая?

Это, Ольга, надо знать, отчего.

– Дело не в разводе, а... Ну да поживешь, – сама оценишь эту цацу. Что она, небось, все пакости свои тебе врет? И книжонки скверные навязывает? Ведь она без того жить не

может. Дрянь, вся дрянь. И телом, и душой. Да и ты, Маша, хороша, нечего сказать: как уши не вянут слушать?

Маша обиделась.

– Скажите, сколько нравственности! Ах!.. Угнетенная невинность или поросенок в мешке!..

– Вот и это, про поросенка, ты уже от нее, от Жозьки... Можно поздравить с успехами... Способная ученица!..

– В чужом глазу сучок мы видим, в своем не чувствуем бревна. А у самой – «Афродита» под подушкой.

– Я – что? – стихла сконфуженная Ольга. – Ты себя со мной, говорю тебе, не равняй. Я уже в старые девы гляжу... И сложилось у меня все так... особенно... ты не знаешь... Я отравленная, человек пропащий. А ты девочка свежая, молодая... Тебе жить да жить...

– И поживем, – хохотала Маша. – Еще как поживем-то. Что ты, право? Нам с тобой только время о женихах думать, а ты панихиды поёшь. Поживем.

– Ну, давай Бог, живи...

* * *

За месяц, что Маша, как говорится, и легла, и встала у Полины Кондратьевны, она изрядно втянулась в долги. Адель, Жозя, Ольга одевались шикарно. Лусьевой было стыдно оставаться рядом с ними «чумичкою, хуже горничной», тем более, что, в данном случае, эта фраза, столь обычная в устах всех тоскующих от безденежья модниц, звучала совершенной правдой: прислуга в доме Рюлиной была одета очень хорошо, а Люция франтила, совсем как барышня, по последней моде. На одно хорошее платье Маша выпросила денег у отца, – он дал с удовольствием, потому что желал, чтобы дочь бывала часто у Рюлиной, воображая, что знакомство принесет ей покровительство и пользу. Но в то же время предупредил:

– Больше не проси, – рад бы, да не осилю.

Поэтому другое платье Маша, скрепя сердце, заказала знакомой портнихе в кредит, с ее материей, приняв обязательство уплатить через месяц, но сама не зная, на что рассчитывает, когда обязательство принимала. Срок приближался к концу. Денег, конечно, не было. Маша с трепетом ждала, что вот-вот порт-

ниха предъявит ей счет... надо либо виниться перед отцом и выдержать жестокую сцену, либо извернуться, перехватить деньжонок... Спросила у Ольги. – «Нет, сама на мели... и не в ладах с Полиной Кондратьевной, не смею просить». Маша совсем загрузила.

Тоску ее заметили у Рюлиной, и Адель, оставшись наедине с девушкой, легко выпытала, в чём заключается ее печальная тайна.

– Вот пустяки, – воскликнула она. – Стоит горевать. А мы на что? Сколько вам?

– Тридцать два рубля, – с ужасом призналась Маша.

– Ах, как страшно! – подумаешь, миллионы... О такой мелочи и Полине Кондратьевне не стоит говорить, я ссужу вас из своих. Я ждала все-таки палочку с двумя нулями...

– Что вы, что вы, Адель, как можно! Я ста рублей и в руках никогда не держала.

– Вот, возьмите, Люлю... укротите вашу свирепую кредиторшу... Как не стыдно было давно не сказать?.. Скрытная!.. А заказов ей вперед не давайте. Между нами говоря, она шьет на вас отвратительно. Прачкам так одеваться прилично, но хорошенькой изящной

барышне непозволительно. Разве это туалет – на тридцать два рубля?

– У меня нет средств одеваться дороже.

Адель ласково обняла Лусьеву.

– Зато у вас есть друзья, которые заботятся о вашей красоте больше, чем вы сами. Полина Кондратьевна давно уже просила меня предложить вам ее кредит у madame Judith, но я все забывала... Ну а теперь, раз к слову пришлось, – хотите?

– В долг? Нет, Адель, я не могу должать.

– Вот?! Почему?

– Долг платежом красен. Я бедная. Откуда возьму денег расплатиться?

– С кем? С мадам Юдифь? Полина Кондратьевна платит ей два раза в год.

– Нет, с Полиной Кондратьевной.

Адель опять ударилась смеяться и трепать Машу по плечу.

– С Полиной Кондратьевной? Полно, не смешите, Люлю, когда она требует долги? С кого? Это у нее страсть – баловать нас, молодежь. Я, Жозя, Ольга – все у нее по уши в долгу, без отдачи. Разве мы, бедные церковные крысы, в состоянии так франтить, если бы не

она? Все живем ее кредитом, и никогда ни у кого никаких неприятностей. А вы сейчас у нее в особенной милости, фаворитка. Она рада будет, вы ее обяжете. Ведь ангел же, воплощенная доброта. Рада все отдать, если кого полюбит. Хорошо, что у нее нет близких родных. А то ее давно в опеку взяли бы, – честное слово.

И вскоре после этого разговора податливая Маша-Люлю была одета, как парижская картинка, одной из самых дорогих модисток Петербурга. Поданный счет Адель все-таки попросила Машу подписать:

– Знаете, деликатнее... Старуха не любит, чтобы ее благодарили, – вообще, чтобы подарок имел вид подарка...

Подарки без оплаты, по ее взглядам, немножко оскорбляют тех, кто принимает; из-за подарков всегда потом начинаются неприятности, разлад... Предрассудок, конечно... А, впрочем, может быть, она и права... Во всяком случае, декорацию эту, будто вы должны, красивее сохранить... ведь и для вас удобнее... Мы все так делаем, и она очень довольна.

Маша подписала счет, причем цифру долга Адель прикрыла рукою.

– Не покажу. Вы еще в обморок упадете.

– Ну что вы, право... Покажите, Адель... Сколько? Адель с обычным своим хохотом воскликнула:

– Тридцать два рубля!

– Ах, Адель, какая вы шалунья!

– А вы, милочка, красавица! Для вас – все на свете. Подарки – вообще сила развращающая, но подарки кредитом опаснее других, потому что при них не так осязательно чувствуется благодарность к дарителю, менее смущается совесть дароприемателя. Что же, мол? Ведь не свое дает, ручается за меня только; я не подведу, ручательство оправдаю, расплачусь... Мало-помалу, день за днем, Маша Лусьева получила кредит в нескольких магазинах Гостиного двора, у парфюмера на Морской, у фруктовщика в Милютиных рядах, у очень солидного, хотя и русского, ювелира на Невском.

– Ах, – сама на себя ужасалась она, – какая я негодница!.. Должаю, должаю и удержаться не могу... Вот – как Жозя влюбляется, так я

должаю... Словно демон меня обуял!.. Как буду отдавать?

– Отдадите, милая, – утешала Адель. – Вот, даст Бог, выйдете замуж за богача, – тогда мы с вас все и потребуем.

– Так и возьмет меня богатый.

– Таковую-то красотку? Да вас у нас с руками оторвут. За миллионера отдам. Меньше – не согласна.

– Скромничает невинность! – трунила и Жозя. – А на кого Ремешко смотрит каждый вечер, как кот на сало?

Ремешко – молодой и довольно представительный, всегда безукоризненно одетый господин, с драгоценнейшим солитером в булавке галстука – бывал у Полины Кондратьевны довольно часто. Как-то раз Маша упомянула его фамилию у себя дома. Отец ее оживился:

– Ремешко? Из каких Ремешков?

– Не знаю. Адель говорит, что с юга откуда-то, овцеводство там у него какое-то особенное... Очень богатый человек.

Старик так весь и встрепенулся:

– Какое-то? О-го-го! Дурочка! Если этот Ремешко тот самый, то – перед ним все шапки

дой: архимиллионер. Понимаешь? О нем вот что рассказывают. Встречает он где-то, в клубе, что ли, тоже овцевода одного, хвастуна великого. А в лицо его, Ремешко, хвастун не знает, да и фамилию не расслышал, мимо ушей пустил. «Вы, – спрашивает, – чем занимаетесь?» – «Я, – скромно отвечает Ремешко, – имею свое хозяйство, овцой пробавляюсь...» Хвастун давай ему вперебой расписывать про свое хозяйство, какое оно превосходное... Надоел. Ремешко спрашивает: «И много у вас овец?..» Хвастун говорит: «Двадцать тысяч. А у вас?..» Ремешко отвечает: «Овец не считал, но собак при овцах у меня вдвое больше...» Вот он каков, этот господин Ремешко!

Тот ли, не тот ли, но Ремешко действительно ухаживал за Машей очень скромно, почти-тельно, как человек хорошего воспитания и честных правил. Хотя он Маше не нравился, однако после родительского анекдота об овцах и собаках Лусьева стала поглядывать на архимиллионера с большим, чем прежде, интересом. Тем более что архимиллионер не раз проговаривался многозначительными фразами, что жениться богатому на богатой без

любви – преступление. «Я женюсь только по сильной страсти; мой идеал – девушка, выросшая в небогатой, честной семье, неизбалованная, со скромными вкусами и привычками...» Адель при подобных заявлениях толкала Машу под столом ногою, и Маша мало-помалу выучилась в ответ на них краснеть, словно бы они именно к ней относились...

– Вот будет у тебя сорок тысяч собак, – ты нам все собаками заплатишь, – острила Адель.

Острила Адель, острила Жозя, острила Полина Кондратьевна, острила сама Маша, – все острили и смеялись. Ужасно много было в этом доме остроумия и смеха, а под смех и остроумия Маша все забиралась да забиралась в кредит.

Ольга Брусакова вмешалась было:

– Не зарывайся, Марья! Серьезно тебе говорю: это скверно кончится. Ты Полины Кондратьевны не знаешь... Она с большими капризами...

– Да ведь не у тебя беру, – выучилась уже огрызаться Маша. – Жаль тебе чужого? Что взяла, то и отдам...

– Когда? Чем?

– Ждут, не требуют, – чего же мне заботиться? Я все помню: сколько, куда, кому, на что... Отдам.

– То-то, надо помнить. Отдать, Машенька, придется. Будь ты Люлюша-Разлюлюша, а придется, – в этом я тебя заверяю. И заставят тебя заплатить гораздо скорее, чем ты надеешься. Ты Адельке не верь, у нее свой расчет в голове.

Маша призадумалась было, посдержала себя, стала экономнее. От Адели не укрылась ее новая осторожность, она узнала причину и пришла в страшное негодование.

– Ох уж эта мне Ольга-Эвелина! – с досадой кричала она. – Вечно сует свой нос, куда не спрашивают. Ревнива, как бес, жадная, злая... Уж, кажется, ей-то пора бы быть сытой и совесть знать: задарена выше головы, избалована, как принцесса... Нет, всего мало, все недовольна: зачем хоть что-нибудь достается не ей, а другим!.. Глаза завидующие!.. А главное, что за низость? Какое право имеет она восстанавлють вас против Полины Кондратьевны? Ну против меня, – я понимаю: меня она всегда

ненавидела, потому что я ее вижу насквозь и не раз выводила на свежую воду разные ее подлые штучки, – но против Полины Кондратьевны? Это гадко, это черная неблагодарность... это – предательство!

Слушая эти патетические причитания, произносимые самым благородным и горьким тоном (Адель действительно рассвирепела на Ольгу очень искренно), – Маша тоже вознегодовала. Отношения между двумя подругами были, таким образом, что называется, подсалены. Когда в тот же вечер приехала к Рюлиной Ольга, Полина Кондратьевна пригласила ее к себе в спальню для объяснений. Разговор был очень недолгий, но, должно быть, слишком выразительный. Ольга вышла от крестной с глазами, распухшими от слез, а щеки ее горели румянцем, как огонь.

Домой Ольга и Маша, по обыкновению, ехали вместе. Маша дулась на коварную подругу и молчала всю дорогу. А Ольга обмолвилась только одной фразой:

– Ты, Марья, такая дура, что больше я ничего тебе советовать не стану. Бог с тобой. Из-за тебя сама в беду попадешь.

– И очень рада, – сухо отрезала Маша. – Никогда в твоих советах не нуждалась.

Глава 4

Машу часто оставляли ночевать у Полины Кондратьевны, и она любила оставаться. Бывало очень весело. Обыкновенно ночевала за компанию и Жозя. Адель укладывала подруг в своей комнате, приходила вальяжная и фамильярная Люция, и молодое общество трещало, как певчая стая, до белого света, причем Жозя, по обыкновению, сыпала анекдотами, стихами, амурными воспоминаниями; Адель ее подстрекала и ей подпевала, и так – покуда всех не сморит сном...

Поутру – ванна. Молодой визг, резвые шутки, хохот, шалости... Ванна у Полины Кондратьевны была устроена на диво, последнее слово гигиены, даже с приспособлениями в комнате для домашней гимнастики.

– Сударыни, – предлагает Жозя. – Давайте представлять статуи...

– Живые картины!

– Нет, – хохочет Адель. – Лучше, как в цирке, составим пирамиду. Люлю, Жозя, становитесь, а Люська – к вам на плечи...

Шалили опять-таки потихоньку: Боже со-

храни, чтобы не услышала Полина Кондратьевна!.. А Адель, бывало, смотрит-смотрит на разыгравшихся подруг...

– Фу, – скажет, – какие вы, негодные, все красивые!.. Загляденье!.. Подождите... Стойте так, останьтесь: я вас сниму... уж очень хорошо!..

Она усердно занималась фотографией и имела превосходный аппарат, с цейссовым объективом. Чуть не по целым дням щелкала машинкой. С Маши, как новенькой в доме, нащелкала особенно много негативов, – в том числе немалое количество «живых картин» в ванной комнате.

Однажды с Машей приключилось у Рюлиной довольно странное происшествие. Села она в ванну, и вдруг закружилась у нее голова, и она сразу потеряла сознание. Слышала, как сквозь сон, что ее как будто куда-то несут. Очнулась – в ванной же, на диванчике. Жозя, Адель, Люция хохочут около, дают ей нюхать спирт.

– Она, как ты нас напугала! Мы думали, ты умерла...

– Долго я была без чувств?

– С четверть часа.

– А зачем вы меня куда-то носили?

– Что вы бредите, Люлю! – удивилась Адель, – только и было, что перенесли вас из ванны на диван...

– Никуда вас не носили, барышня, – подтверждает и Люция. – Это вам показалось в обмороке...

Но глаза у всех трех были лживые... Посмотрела Маша на часы: половина двенадцатого. А она хорошо помнила, что села в ванну в пять минут одиннадцатого. Стало быть, обморок ее продолжался не четверть часа, а час с лишком.

– Зачем вы меня обманываете? – рассердилась Маша.

Жозя покраснела и говорит:

– Мы боялись, чтобы ты не испугалась, что у тебя был такой долгий обморок.

– Знаете, Люлю, – поддакивает Адель, – это не хорошо, вы обратите внимание, вам лечиться надо...

Тем дело и кончилось. У Маши поболела дня два голова, и затем все прошло и забылось.

Когда Лусьева рассказала про свой обморок Ольге Брусаковой, та ужасно взволновалась.

– Обморок, в ванне? Отчего?

– Сама не знаю, раньше никогда не бывало.

– Ты перед тем ела что-нибудь? пила?

– Чай с вареньем пила, в постели...

– Ага! – с каким-то злорадным отчаянием промычала Ольга.

И принялась уговаривать Машу:

– Слушай, Марья Ивановна, такими внезапными обмороками не шутят. Так начинается острое малокровие, это опасно... Я по себе знаю. Я в твои же годы от обмороков этих чуть на тот свет не отправилась. Искренний мой тебе совет: посоветуйся с женщиной-врачом...

Маша была жизнелюбива, за здоровье боялась, – струсила.

– Да я с радостью бы, но у меня нет знакомой.

– Я тебя отвезу, у меня есть... Анна Евграфовна, старая приятельница...

– Отлично, поедем.

Женщина-врач, после долгой и внимательной консультации, признала Машу совершенно здоровой и в порядке. Ольга после приема переговорила с ней еще раз наедине. Та повторила свой прежний диагноз. Ольга осталась в большом удивлении: «Странно... – размышляла она, трясаясь рядом с Машей на плохом извозчике. – Зачем же они в таком случае опоили ее? Какую подлость еще мастертят? Очень странно...»

* * *

Быстро летело время. Маша все глубже и глубже входила в рюлинский дом и его быт. Рюлинские нравы все крепче и крепче впивались в Машу, все острее и острее ее заражали. Перерождение девушки из скромной, мелкобуржуазной куколки в бойкую и вертлявую бабочку, – она думала, что большого света, в действительности – демимонда, совершалось последовательно и неуклонно. Почти каждое гостевание у Полины Кондратьевны приносило Маше новые знакомства – все больше мужские и с такими громкими именами, что старик Лусьев, слыша их от дочери, уже и не знал, восторгаться ему или трепетать: привел

же Бог Маше возвращаться в таком избранном кругу! И благословлял благодетельницу Полину Кондратьевну, которой он, конечно, был представлен и очень ей обласкан, но ограничился единственным к ней визитом: куда, мол, мне, маленькому человеку, садиться в такие большие сани – с посконным рылом да в суконный ряд! Препирательства с дочерью о женихе-столоначальнике прекратились: у старика теперь тоже не те мечты зашумели в голове. В обществе генеральши Рюлиной – чем черт не шутит? Полина Кондратьевна в Машу – ну просто влюблена! Захочет ее превосходительство сделать счастье девушки, – то и высватает ее за какого-нибудь такого с золотым эксельбантом... Вон ведь там князя да графы, как шмели, толкутся... Маша говорит: даже великие князя бывают... шутка ли! великие князя!..

Упованиями своими старый Лусьев усердно делился, по близкому соседству, с матерью Ольги Брусаковой, дамой молчаливой и слушательницей охотной, но несколько странной. Внимая старику, она не разуверяла его в надеждах, не поощряла их, а только в конце

непременно советовала – не распространяться много о Машинем фаворе у Рюлиной при посторонних, особенно при сослуживцах. А то, мол, по зависти, подстроят какую-нибудь пакость, так что все ваши планы-прожекты разлетятся прахом... Пессимистические предостережения эти старик находил разумными и принимал их к сведению и исполнению, – молчал.

Великих князей Маша видела, покуда только в посулах Адели, но раза два или три Полина Кондратьевна допустила Машу на свои интимные вечерки для друзей, на которых бывали только мужчины, – всегда понемногу, трое-четверо, все старички, притом истые тузы. Вечерки эти проходили опять-таки очень благопристойно, только тон старческой французской болтовни держался невозможно скабресный. К удивлению Маши, Полина Кондратьевна, вопреки своему обычному показному пуризму, выслушивала сквернословие дряхлых гаменов с весьма благоклонной готовностью и зачастую даже сама давала им толчок к «милым мерзостям», как выражался один из ее именитых гостей, круп-

ный биржевик и предприниматель на все руки, Илья Николаевич Сморчевский. Еще казалось Маше странным, что в свои вечерки Рюлина ни за что не позволяла ей заночевывать и довольно рано отправляла ее домой, словно скрывая от нее какие-то домашние тайнства, которые должны начаться после ее ухода. Маша спросила Ольгу Брусакову.

– Очень натурально, – возразила та, безразлично пожимая плечами. – Конечно, мы, молодые, не к месту и только мешаем старичью. Ведь у них там уклад чуть не восемнадцатого века... Отставные Ловеласы в подагре и среди них крестная в роли седой Клариссы.

– Я так полагаю, – язвила по тому же поводу Адель, – что старушка наша просто ревнует нас, молодежь, к своим селадонам... каждому в субботу сто лет! Ах, ведь сердце не камень! Я прекрасно знаю, что граф Иринский в пятьдесят девятом году предлагал Полине Кондратьевне свою сиятельную руку и сердце, и в девяностых он, коварный изменник, мне глазки строит: полагайтесь после этого на мужчин! Какой женщине приятно видеть, что старый поклонник гуляет на сторону? Полина Кон-

дятьевна оберегает своих юношей от нашего легкомыслия и прекрасно делает.

И действительно, Адель едва-едва показывалась на вечерки, Жозю и Ольгу Маша на них тоже ни разу не встретила. Кстати сказать, – когда Лусьева, неудовлетворенная ответами Ольги и Адели, стала расспрашивать о рюлинских вечерках Жозю и Люцию, то первая фыркнула и, захлебываясь смехом, убежала от нее в другую комнату, а степенная Люция, хотя тоже смеясь, сказала нравоучительно:

– Много будете, барышня, знать, – скоро состаритесь. Всему свой черед. Придет ваше время, и вы попируете...

А что пировали на вечеринках сильно, было несомненно. После каждого сборища запах вина и сигар долго не исчезал из нарядных комнат Полины Кондратьевны, до спальни включительно, не поддаваясь курениям, лесной воде и усиленной вентиляции...

Должать Маша окончательно перестала опасаться, потому что, в самом деле, было очевидно, что Ремешко не сегодня-завтра будет просить ее руки. Он влюбленной тенью

ходил за Машей по пятам, подносил ей конфеты, букеты, доставал дорогие билеты в театры, экипажи для прогулок, глядел в глаза, ловил желания и выражал всем лицом и всей фигурой: «Прикажи, – и я твой, и овцы мои твои, и собаки, и пастухи, и страусы».

Ибо, ко всем великолепным слухам о богатствах Ремешки, прибавилась еще легенда, будто в его необозримых полях производятся опыты работ над верблюдами, ламами и страусами – в первый раз в Европе.

– Правда, что у вас в имении на страусах воду возят? – спрашивала его Адель.

Ремешко скромно улыбался.

– Да ведь что такое страус? Только что слово громкое... А то – как журавль или аист... Ну, конечно, ростом вышел... Но все-таки, – кто привык, ничего особенного: птица...

Миллионер давно уже познакомился с отцом Маши, совсем его очаровал, пообещал стипендию брату ее, как скоро тот кончит гимназию, – словом, жениховствовал, сколько умел, – только вот все запинаясь с предложением.

– Робок, – извиняла его г-жа Рюлина, – за-

стенчив очень. Что же? Тем лучше для вас, Люлечка. Скромность в женихе не порок. Между нынешней молодежью такие смиренные – редкость. Из него, деточка моя, золотой муж выйдет... Да и куда вам спешить? Вы молоденькая. Что уж так прытко – едва из коротенького платица и сейчас же в мамаша? Надо поглядеть на свет и людей, повеселиться, перебеситься, как говорят мужчины... Ведь вы в него не влюблены?

– Н-н-н-нет... не очень...

– А если не очень, так и потерпите, пока будет очень... Нехорошо быть разборчивой невестой, но выскакивать замуж за первого жениха, который навернулся навстречу... знаете, – оно мескинно как-то... Может быть, он и не судьба ваша, может быть, Бог вам еще лучше счастье готовит... Браки устраиваются на небесах!.. Живите, Люлечка, веселитесь, пользуйтесь жизнью, пока вы такой резвый, маленький котенок. А он у вас всегда останется в запасе... Я уж вижу: у него это очень серьезно, он от вас никогда не откажется...

– Ну, Полина Кондратьевна, – протестовала Адель, – философия ваша прекрасна, но, воля

ваша, если он думает еще долго мямлить, я его возьму за ушки, насильно приведу к Люлюше и на коленки поставлю!.. Мне его влюбленные глаза опостытели... Миллионер, а тряпка какая!.. Это на нервы действует...

– Ага, кажется, мы завидуем? – поддразнивала Рюлина.

– Еще бы не завидовать: сорок тысяч собак!.. И еще овчарок!.. Обожаю овчарок!.. Мохнатые!..

Маша обещала:

– Я вам, Адель, половину подарю.

* * *

Подруги – Адель, Жозя, Маша, иногда Ольга – много выезжали вместе по вечерам.

– Вы куда сегодня? – спросит Рюлина.

Адель чуть заметно подмигнет Маше и отвечает спокойно:

– В консерваторию. «Демон» идет, с Баттистини... Ремешко привез ложу.

– А, – одобряет старуха, – в консерваторию – это прекрасно. Туда совершенно лично и одним... А то эти «Аквариумы», «Фарсы», «Неметти»... Фи!.. Не понимаю, как туда ездят порядочные женщины?.. А Баттистини

поет «Демона» очаровательно, я знаю, стоит послушать... Поезжайте, поезжайте, насладитесь... Только, ради Бога, мои девочки, не волнуйте меня: после спектакля прямо домой...

– Конечно, домой, Полина Кондратьевна. Куда же еще?

Рюлина лукаво прищуривалась, как старый кот, и грозила пальцем:

– Знаю я вас, плутовки, знаю! Вы думаете, что если старуха в постели с одиннадцати часов, то ничего уже и не замечает? В котором часу вернулись третьего дня, негодные? А? Светало уже. Я слышала, знаю...

– Ну, Полина Кондратьевна, – шутливо извинялась Адель, – один раз не в счет. Совсем исключительный случай. Если бы один Ремешко звал, мы ни за что не поехали бы, а тут и Сморчевский, и Фоббель, и инженер этот, поклонник Жэзи... неловко было отказаться: все просят. Сморчевский на колени встал, всех надо обидеть... Ну нечего делать, позволили себя уговорить, поехали на полчаса к «Медведю», да и – вот...

Она комически развела руками.

– Уж очень развеселились там, у «Медве-

дя», не заметили, как пробежала ночь...

– Если со Сморчевским и Фоббелем, это ничего, – примирялась старуха. – Они свои люди, почтенные. Сморчевского я с детства знаю...

Выбравшись из дома, подруги хохотали...

– Держи карман! Очень нам нужны твоя консерватория и Баттистини! Не слышали скуки?

И ехали в «Фарс». Там их окружало огромное знакомство: золотая молодежь и действительные статские папильоны, львы, онагры, мышинные жеребчики, бритые актеры, модные журналисты в воротничках а la Rostand и блистательное офицерство. Ложа с тремя-четырьмя красивыми головками привлекала всеобщее внимание.

– Кто такие? – услышала однажды Маша вопрос в фойе и ответ – каким-то, как показалось ей, и завистливым, и вместе презрительным тоном.

– Рюлинские...

– Ага!.. Это известная «генеральша»?

– Ну да...

– Эффектные штучки! Познакомиться бы?

– Ну, брат, это – с посконным рылом в кашлашный ряд. Тут, сотнями и тысячами пахнет...

Маша передала слышанный разговор Адель.

– Очень просто, – невозмутимо объяснила та, – эти господа принимают нас за кокоток... Очень лестно: доказывает, что мы хорошо одеваемся... Вы говорите, – они сказали: «Пахнет сотнями и тысячами?..» Ну, вот и поздравляю: теперь мы, по крайней мере, знаем, сколько стоим, если нам случится сделаться кокотками...

Некоторое недоумение Маши: почему же эти господа приняли ее, Жозю и Адель за кокоток, раз им известно, что дамы – «рюлинские», – Адель умела ловко замять и заговорить так, что оно уже и не всплывало наверх...

Почти после каждого спектакля знакомые увлекали подруг ужинать к Кюба или «Медведю» либо мчали их на тройках к Эрнесту и Фелисьену.

– Черт знает, что за жизнь мы ведем, – зевала на другой день часу во втором дня, в постеле

ли, усталая Адель. – Право, даже уж и неестественно как-то стало – засыпать без шампанского и не слышав оркестра ресторана.

Первый ужин и тон, который господствовал за столом, очень смутил было Машу. Как ни «развила» ее Жозя, как ни испортили душу ее безделие и пустословие рюлинского дома, но когда сальные намеки, распущенный флирт, грязные анекдоты, жесты, нелепейшие шансонетки, самый наглый канкан – все, что до сих пор говорилось и проделывалось наедине между подругами, интимно, запретной шалости ради, – когда все это пришлось увидеть и услышать как нечто самое заурядное и общепринятое в кружке смешанном, в разговоре и обращении «порядочных» мужчин, Люлю растерялась и не сумела сразу попасть в тон. И когда старый, наглый, гнусавый каботин Сморчевский, друг и покровитель невских кокоток в трех поколениях, сообщил Лусьевой на арго парижских бульваров каламбур, от которого стошнило бы и сутенера, – Маша страшно оскорбилась, расплакалась и, оставив французские тонкости, обругала нахала на простейшем и тончайшем

русском языке «свиньей». На что забубённый старичина нимало не обиделся, а, наоборот, пришел в самый дикий и глупый восторг.

– Госпожа! Черт побери! Какой пыл! А? И каким контральто! Какая сочность!.. «Свинья-а-а-а»... Avez vous entendu, messieurs: она тянет!.. «Свинья-а-а!»... Поет... Ун шансон де Вольга!.. Дичок... Чернозем... «Сви-нья-а-а-а»...Первый раз слышу, чтобы ругались так красиво... Баста! Становлюсь националистом! Ну, мамзель Люлю! Ну, милая! Пожалуйста, ма шер! Пожалуйста! Энкор ун петит «свинья»! Же ву умоляю... Я вас умоляю, еще только один раз: свинья-а-а!

Все смеялись за столом, а Жозя, на которую сосед ее, бородатый и усатый, из опасной породы серьезных и молчаливых развратников, швед Фоббель, надел рогатую тиару, свернутую из салфетки, кричала через стол:

– Не ругай его даром, Люлю! Если нравится, пусть за каждую «свинью» платит по большому золотому!

– В пользу моих бедных!

И Адель, взяв со стола тарелочку из-под фруктов, кокетливо протянула ее Сморчевско-

му.

– Ах, с удовольствием... – заторопился тот. – Когда я доволен, мне не страшна никакая контрибуция... Сделайте одолжение, вот... Послушайте, Люлю! Я дожидаясь десятка прекрасных свинок с Волги... Пожалуйста порцию «свиньи» – на сто рублей!..

И он даже жмурился, предвкушая. Маше стало уже и смешно.

– А одиннадцатую и двенадцатую я вам так и быть, говорю даром... – скокетничала она так ухарски, что Жозя заплодировала со своего конца стола.

Но назавтра и она, и Адель дружно напали на Машу за ее обидчивость.

– Стыдитесь, Люлю, милая. Нельзя, душечка, держать себя недотрогою. Вы ведете себя как простушка. Времена, когда это нравилось мужчинам, прошли безвозвратно. Это – средние века. Нынешняя девушка должна все понимать, ко всему быть готовою, на все уметь ответить... В моде демивьержки, а не Агнессы и белые гусыни...

– Но, право, стыдно!.. Этот Сморчевский так скверно врет, что я не могу, уши вянут...

– Да вам-то что? Ведь он врет, а не вы!.. Пусть врет.

Разве вы слиняете от его слов? Если бы он позволил себе по отношению к вам что-нибудь нехорошее, – ну тогда еще я понимаю... Я сама терпеть не могу, когда этакий мухомор вдруг вздумает давать волю рукам и лезть целоваться... Но – слова? что вам слова?

Адель с недоумением и даже как бы не без негодования воздымала плечи к ушам. Жозя скалила зубы:

– Оставьте старцу слова его... В возрасте Сморчевского, – знаете? – Духовно они телесны, но телесно – духовны...

И завертелась мельница, пошла писать губерния, посыпались двусмысленности, дрянные анекдоты о разнице между словами и делом...

– Право же, он не дурной человек, наш бедный Сморчевский, – заступалась Адель. – Очень добрый, с большим тактом. Хотя бы и вчера: вы наговорили ему дерзостей, а он премило обратил все в шутку и еще пожертвовал для моих бедных десять золотых. Он настоящий аристократ, это надо ценить. Нет, Люлю,

вы его не обижайте: увидите, что когда-нибудь он очень и очень вам пригодится... Да и Полина Кондратьевна его уважает и не будет довольна, что вы с ним так резко... Она ему тоже все позволяет... Это старый друг дома, приятель еще покойного генерала.

– Да мне теперь уже и самой совестно, что не сдержалась, обидела его.

А Жозя хлопала Машу по спине.

– Ничего! Это она у нас по молодости и глупости! Утенок учится плавать. Дайте Люлюшечке срок: стерпится – слюбится...

И действительно, стерпелось и слюбилось. Ужина три оттерпев, Маша усвоила их каботинный тон в совершенстве. Пустит ей Сморгчевский грязную остроту, она, не сморгнув, ответит вдвое круче; либо, если, сконфузившись, не найдется, что ответить, – посмотрит на старого сатира мутным, глупым, ничего не говорящим, но как будто веселым взглядом, которому выучилась у Жози.

– О-ла-ла!..

Или:

– Итд и тп!.. Et patati, et patata!..

И захохочет. Бессмысленны восклицания,

бесмысленны глаза, бессмыслен хохот, но это метод, – политичный исход из щекотливо-го положения.

– Так, душечка, и кокотки, – поучала Жозя. – То ли им, бедняжкам, случается терпеть от мужчин? А они все смеются. Надо трещать и смеяться, смеяться и трещать. А слушать и думать как можно меньше, и все, что мужчины соврут уже очень подло, пропускать мимо ушей... И тогда всем очень приятно и весело. По-моему, женщина, которая все замечает и обижается словами, не имеет такта, не умеет себя вести. Она не на высоте своего положения, душечка. Женщина для общества должна быть вся восторг. Надо, чтобы – розы и весело!., смеяться и трещать!..

На одном из ужинов появилась и Ольга Брусакова.

От присутствия Маши ей было сначала заметно не по себе: она хмурилась, смотрела на тарелку и едва отвечала Фоббелю, который за ней ухаживал. Но Адель вызвала ее на минутку в уборную, и Ольга возвратилась преображенная: столь разбитная и веселая, столь «смеясь и треща», что за ней померкла даже

неунывающая Жозя.

– Наконец-то я узнаю нашу милую Эвелину!.. – гнусил Сморчевский. – А что вы делали там в уборной? Отчего такая перемена? Сафо объяснялась в любви Фрине, или получили подарок в десять тысяч?

Ольга думала: «Переменишься, когда Аделька грозит жаловаться старой стерве, чтобы та надавала мне плюх...» Но говорила на французском, кривляясь:

– У меня болел живот! Прошел – и вот здесь! Ясно? О-ля-ля! Пошел вон, наглец!

– Так вот ты какая!.. Не ожидала... Прелесть, лучше всех!.. – с веселым удивлением говорила Ольге Маша в уборной же, собираясь уже к отъезду с пиршества. – Вот ты умеешь быть какая!

Ольга красная, как кумач, с мутными, безумными глазами, поправляла перед зеркалом спутанную прическу, пошатывалась, приседала и хохотала:

– Да, я такая... А ты думала, – что? Ха-ха-ха!.. Есть о чем тужить!.. Дряни!.. Да!.. И Аделька дрянь, и все!.. И я дрянь!..

– Тише ты! Какие слова? Разве можно?

– Не желаю тише. Имею право, чтобы громко. Кричи во всю! Ругай! Бей! Ничего не будет! Это ничего... Сделай свое одолжение! Еще деньги заплатят.

– Ты уж очень много шампанского выпила.

– Еще бы с поганцами трезвой сидеть!.. А Адельке я покажу, как меня в морду...

– Оля!.. Бог с тобою! Что ты говоришь?

Ольга опомнилась, посмотрела на Машу пьяными, мрачными глазами, оправилась и спустила тон.

– И то... эх меня разобрало!.. – с усилием засмеялась она. – Невесть что плету... Фу-у-у!.. Налей мне воды, пожалуйста.

– Надеюсь, ты с нами, к Полине Кондрадьевне? – спросила встревоженная Маша.

Ольга отрицательно замотала головою.

– Ой, Оля, – встрепенулась Маша, – ой, голубчик, поедem лучше с нами! Уж мы тебя как-нибудь спрячем от крестной. А домой, как ты покажешься такая? Всех перепугаешь... Не надо, Олечка!..

– Фю-ю-ю-ють!.. – засвистала Ольга. – «Иде домув мой?» – слыхала, хоры поют? Когда еще я попаду домой-то?! Меня Фоббель проветри-

вать везет... За Лахту, в охотничий домик... чай пить... у! Ненавижу! Кровь мою выпьет, швед проклятый!.. Ну да ладно! погоди!..

И вдруг насупилась.

– А Ольгой называть меня здесь не смей... Я для кабака Эвелина, а не Ольга... Ольга, Марья – это мы дома.

А Эвелинка, Люлюшка – для кабака...

Глава 5

Как-то раз Маша прихворнула на несколько дней и, смертельно скучая, должна была отсидеть их в полном одиночестве. Даже Ремешко не заезжал, потому что его не было в Петербурге: он отправился по делам в Москву. Прибыв по выздоровлению к Полине Кондратьевне, Маша еще на подъезде, по перекошенному лицу красивой Люции, которая вышла на ее звонок, заметила, что в доме неладно.

– Не приним... – начала было Люция, но, узнав Машу, улыбнулась и махнула рукою. – Ох, это вы, барышня! Вот до чего замоталась: своих не узнаю. Пожалуйте. Вам-то можно. А то никого не принимают – ни сама, ни Адель Григорьевна...

– Что случилось? – испугалась Маша.

– Сама больна... Третьи сутки... Сегодня с утра пятую истерику закатывает. Швейцар за доктором Кранцем в карете услан... Такая тамаша идет третий день, что не дай Бог лихому татарину...

И наклонясь к уху барышни, горничная

прошептала:

– На бирже пробухалась. Сормовские подкузьмили.

Адель, сидевшая в своей комнате за письменным столом, мрачная, бледная, злая, обернулась на Машу тигрицей какою-то разъяренной, но, узнав ее, смягчила взгляд.

– А, Люлю! Поправились? Слава Богу, очень кстати. А то я одна просто с ног сбилась. Слышали, старушка-то наша отличилась? Чтоб ее черт побрал, не говоря худого слова!.. На сорок одну тысячу! Можете себе вообразить?

Маша не могла вообразить. Про такие суммы она только в романах читала.

– Главное, что досадно, – желчно продолжала Адель, роясь в бумагах на столе, – что досадно... Если ты хочешь крупно играть, то умей владеть собою. А то извольте радоваться: хлопнулась в обморок в банкирской конторе!.. ну и скандал на весь Петербург! Сейчас же закричали: Рюлина разорилась, Рюлина банкрот! А ничего подобного. Она не сорок одну тысячу, а четыреста десять тысяч в состоянии потерять, и все-таки у нее останутся прекрасные средства на дожитие... Да!.. Конечно,

если не хлынут потопом вот такие бумажки.

Адель бросила Маше голубой листок, в котором m-me Judith вежливо и сухо просила m-me Рюлину как можно скорее очистить счет по ее магазину.

– Понимаете? Мерзавка какая! Часа не прошло после этого глупого обморока, как мы уже получили эту прелесть... Я всегда говорила и говорю, что Петербург по сплетням хуже всякого захолустья... Часа не прошло, а уже всюду молва, что разорилась, и счет!.. И вот еще!.. вот еще...

Адель нервно подавала Маше счет за счетом.

– Денежные катастрофы поражают людей, как молнии. Вы не успели опомниться, как кредит ваш – уже на дне пропасти...

Маша видела на счетах фирмы знакомых магазинов, где она должна, и сердце ее сжалось.

– Что же теперь делать? – пролепетала она. Адель злобно мотнула головой.

– Надо платить. Но – чем, вот вопрос... не знаю!.. Не предвижу никаких поступлений. У нас до ста тысяч в долгах, и никто не платит...

Я не про вас говорю, – резко бросила она в ответ на робкое движение вспыхнувшей Маше. – Что ваш долг? Капля в море. Заплатите вы, не заплатите, – нам от того ни лучше, ни хуже не будет. Да и с какой стати вам платить свои гроши, когда другие так бессовестны – не платят десятки тысяч? За что вам быть святее остальных?

Тон Адели – даже не укоризненный, а какой-то необычайно свысока пренебрежительный, точно и в Маше, и в долге ее видела невесть какую ребяческую, даже недостойную разговора, мелюзгу, – больно уколол Лусьеву. А Адель, сердито усмехаясь, поддавала жару:

– Вот тоже Жозька... сумасшедшая... Можете себе представить? Как услышала про нашу беду, сейчас же бросилась в ломбард, вся заложилась, осталась в одном платье... Пятьсот тридцать рублей принесла... Ну, спрашивается, на что нам ее пятьсот тридцать рублей? Конечно, благородно... Я всегда знала и утверждала, что другой такой души, как Жозя, не найти днем с огнем... Но – какая польза? к чему?

– Нет, Адель, – твердо возразила Маша. – Нет, это она прекрасно поступила, как должно... Всем нам надо так. Я уверена, Адель, что и вы сделали то же... что-нибудь очень хорошее.

Адель нахмурилась.

– Я... что обо мне?! Если я не постараюсь для Полины Кондратьевны, то кому же? Мы с Люцией без башмаков останемся, а старухи своей не выдадим. Довольно предательниц и без нас...

Когда Маша уходила от Адели, Петербург для нее делился рюлинским домом на две резко распределенные половины: на белых агнцев, которые стараются всеми своими средствами и силами помочь бедной Полине Кондратьевне, как Адель, Жозя и Люция, и на смрадных козлиц, ничего не сделавших и не желающих сделать для своей благодетельницы, как (покуда) она, Маша, и, быть может, «вечная эгоистка» – Ольга Брусакова. Сделав визит к последнему козлицу, Маша, действительно, нашла его возмутительно равнодушным к злополучию Полины Кондратьевны, от чего и пришла в величайшее негодование. Са-

мо собой разумеется, что Лусьева последовала великодушному примеру Жози и немедленно заложила в ломбарде тоже до последней нитки. Вырученные сто восемьдесят четыре рубля – жалкие крохи – она принесла к Адели со слезами на глазах, понимая ничтожность своего даяния.

– Вот... все, что выручила... больше не дают... – сказала она и горько заплакала.

Адель нетерпеливо отмахнулась от нее.

– Я говорила вам, Люлю, что это лишнее, возразила она довольно сухо. – Во всяком случае, мерси. Но самое лучшее и умное, что вы можете сделать, – возьмите эти деньги, займите у меня еще немного, сколько там следует, на проценты за полмесяца, как это водится, и выкупите ваши вещи обратно. Молодой девушке нельзя без этого, а сто восемьдесят четыре рубля все равно, честное же слово даю вам, нам не в помощь!.. Сами посудите: у одной Judith ваш долг на тысячу семьсот шестьдесят восемь рублей...

– Что?.. Ах!

Маша в ужасе схватилась за голову. Адель сделала гримасу: «А ты, мол, легкомысленная

дармоедка как полагала?» – и продолжала:

– Да. Почти две тысячи одной Юдифь. А «Морис»? А «Александр»? А ювелир Карпушников? Что же тут сто восемьдесят четыре рубля? По пятаку за рубль...

Маша рыдала.

– Вы убили меня, Адель! Я просто не знаю, как теперь глядеть вам в глаза... Я так несчастна, чувствую себя такой жалкою, неблагодарною... Но что же я могу сделать? Ничего, ничего, ничего...

– Ну, это – положим... – пробормотала Адель, устремляя на нее загадочный, предлагающий взгляд. – Сделать-то вы можете много, только захотите ли...

– Что? что? Скажите мне, – обрадовалась Лусьева, – я все, что велите...

– Нет уж, велеть я вам ничего не буду, – не то обидчиво, не то презрительно возразила Адель. – Я совсем не желаю предъявлять к вам требования, чтобы вы потом имели повод хоть в чем-нибудь упрекать нас с Полиной Кондратьевной. Всякое требование с моей стороны сейчас было бы нравственным насилием... Нет уж! Если хотите, ищите и дога-

дывайтесь сами!.. Вон – Жозя догадалась...
Она мне три тысячи принесла...

– Три тысячи? Да кто же ей дал?

– А уж это вы ее спросите, ее дело...

* * *

Маша бросилась к Жозе, в ее грязноватые меблированные комнаты, где она, как первая жилища, царила, окруженная чрезвычайным уважением прислуги и обожанием холостых жильцов. Застала Жозю Лусьева за пианино, довольно скверным и разбитым.

– Ах, душка! – воскликнула веселая особа, не отрываясь от клавишей, выпевавших фальшиво и не без запинок «Бурю на Волге»: как все женщины мажорного характера в жизни, Жозя любила в музыке мрачный и сентиментальный минор. – Ах, душка, нет ничего легче и проще!.. Я удивляюсь, почему Адель ломается, ничего вам не сказала... Вы не три, а пять, семь, десять тысяч можете достать... Пустяки!.. Вам стоит сказать одно слово... Маша покраснела.

– Вы, может быть, намекаете, Жозя, чтобы я попросила займы у Ремешко? но это так известно, да его сейчас и нет в городе.

Жозя перестала играть и круто повернулась к Лусьевой на табурете.

– Ремешко?.. – воскликнула она, округляя голубые глаза. – Да что же это? Вы словно с луны свалились, душечка!.. Разве Адель и про Ремешку вам ничего не сказала?

– Нет...

Жозя всплеснула руками.

– Ну она чудачиха, совсем чудачиха!.. Ремешку, душечка, у Полины Кондратьевны не велено принимать.

– Почему? – бледная, едва выговорила Маша.

– Ах, душка! – затараторила, махая руками перед своим лицом, проворная Жозя, вы и вообразить себе не можете, какой он оказался ужасный мерзавец! Видите ли: все обнаружилось. И он, хотя Ремешко, совсем не Ремешко, то есть не Ремешко, у которого собаки; а Ремешко, у которого собаки, жаловался полиции, что Ремешко называет себя Ремешко, а у Ремешки, душка, собак нет, и ничего нет, и он мещанин из Либавы, и кроме того арап.

– Жозя, Бог с вами!.., что вы?.., что вы?..

Но Жозя махала руками и мчалась вперед,

как Иматра.

– Арап, душка, арап!.. По всем клубам известен!., арап!

– Да он же белый, Жозя!.. помилосердуйте!

Жозя только досадливо отряхнулась, точно собака, на которую брызнули водою.

– Ах, душка, я совсем не о том арапе, который черный!

Он – в высшем смысле арап. Арап – это называется человек, который, когда в клубах идет игра, примазывается к крупным игрокам. Увидит, кто ставит большие куши, и пристанет к нему, будто бы в долю. Если тот выиграл арап сейчас же тут как тут: позвольте, душечка, получить, я с вами вместе играл, душечка. Ну, а когда тот, душка, проигрывает, арап прячется под стол или в какое-нибудь низкое место... пропадает, душечка, как сатана или нечистая сила!.. И полицию, душечка, уже спрашивали, и полиция говорит, что Ремешко – арап, да и арап-то не простой, а самый что ни на есть над арапами арап, и давно уже запримечен, так что многие на него жаловались и хотели его даже просить выехать из Петербурга... Да, душка!.. И брилли-

ант этот у него, который в галстукe, тоже арапский, у Alexandre за восемь с полтиной куплен. Вот он каков господин Ремешко. Да! А мы, дуры, ему верили, вас за него замуж прочили!.. Это спасибо сказать Люции, душка, она все открыла, потому что ее сестра служит в судомойках в той самой гостинице, где этот арап проживал. Да! За арапа вас чуть-чуть не выдали, Люлечка бедная! И были бы вы теперь арапка... Да что же вы бледная такая? Люлечка... Господи, да она падает!.. Люлечка!.. Из-за арапа?! Стоит ли?.. Люлечка... Фу, глупая какая!..

* * *

Открытия о Ремешке ввергнута Марью Ивановну в обморок вовсе не по обманутым нежным чувствам к фальсифицированному магнату, но просто потому, что, покуда Жозя изъясняла ей его проделки, Лусьево́й с необычайной резкостью представлялась мысль, что, стало быть, весь ее долг, сделанный в расчете на замужество за Ремешко, теперь ляжет на нее, как неотвратимая гряда, быть может, на много лет жизни... Когда она пришла в себя, оттерпела хорошую истерику, выплака-

лась и успокоилась, Жозя заговорила о делах. Достать денег, притом в количестве какое угодно, Маше оказалось действительно очень легко: надо было только написать вексель на желаемую сумму, на имя Полины Кондратьевны Рюлиной, и подписать этот вексель именем Машина отца, Ивана Артемьевича Лусьева.

– По какому же праву я подпишу вексель именем отца?

– Ах, душка, кто же говорит, что по праву? Нет права... Но, видите ли, душка, это не вы виноваты, что так надо, а закон такой глупый, потому что, душка, женские векселя вообще не охотно учитывают, а вы еще вовсе не имеете кредита и даже не можете выдавать векселей, потому что вы несовершеннолетняя...

– Я боюсь, Жозя... Я, конечно, ничего не понимаю в делах, но из этого, мне кажется, легко может выйти что-нибудь дурное...

– Ах, Люлечка, да что же может выйти дурного из векселя, по которому никогда не придется платить? Ведь Полина Кондратьевна его учтет, понимаете? – учтет...

– Нет, Жозя, не понимаю...

– Ах, душка, как же вы не понимаете, когда так просто, что я не знаю, как вам объяснить?! Это значит, душка, что она свезет вексель к знакомому дисконтеру, в банкирскую контору одну, и дисконтер ей даст денег, только вычтет там сколько-то процентов, и потом вексель может лежать у дисконтера, как вы хотите много времени, душка, хоть тысячу лет, только его, душка, надо часто переписывать и аккуратно платить проценты... Да! И когда, душка, проценты дисконтеру платятся аккуратно, то ни один человек на свете не может знать, что есть такой, душка, вексель, и отец ваш, душка, тоже никогда не узнает. Никак, никак ему нельзя этого узнать, душка, потому что это коммерческая тайна, кто какие пишет векселя, и если дисконтер кому-нибудь о вас откроет, то его за это в Сибирь!., понимаете, душка?.. Нечего вам бояться, не знаю, чего вы боитесь. Я вот всегда так. Если Полина Кондратьевна велит или самой нужны деньги, а у нее занять нету, я сейчас же беру за бока своего разведенного благоверного и катаю на его векселя, – я катаю, Поли-

на Кондратьевна учитывает... Тут нет ничего дурного, Люлечка. Что же особенного? И вы, Лусьева, душка, и отец ваш Лусьев, душка... Вы только именем пользуетесь... А что в имени? Дисконтеру – что Лусьев, что Лусьева, все равно. Дисконтер, душка, даже не спросит, что таков Лусьев, и есть ли он на свете. Ведь он не вам и не отцу вашему поверит, а Полине Кондратьевне. Это ее кредит, и только так уж заведено, душечка, форма такая глупая, что кредит-то ее, а вексель нужен на ее имя от кого-нибудь другого, чтобы были две подписи, – она поставит бланк и получит деньги... И всем очень приятно, душка, и чрезвычайно просто!

Вдохновенное лганье Жози дурманило Машу. Перспектива достать кучу денег под залог клочка бумаги и нескольких букв начала представляться ей заманчивою... Жозя говорит, что все так делают. Если все, то почему же и не попробовать?

– Только все-таки я не знаю, право... страшно как-то... сама не понимаю чего, но чего-то боюсь...

– Ах, душка, – обиделась даже Жозя, – как

будто я вас уговариваю?! Никто вас не неволит, поступайте как знаете!.. Я только думала, что вы, как все мы, хотите помочь бедной Полине Кондратьевне, которая вас так любит. Это у нас, в компании, самое обыкновенное: когда ей нужны деньги, мы все пишем для нее векселя, – и я, и Адель, и Ольга...

– Как и Ольга тоже? – живо переспросила Маша.

– Еще бы! И еще сколько! Спросите Адель: она вам покажет.

Лусьева вздохнула с облегчением.

– Ну, если уж Ольга, – хорошо, в таком случае, я согласна...

– Ишь какая, нехорошая! – ревниво попрекнула Жозя. – Ольге своей противной верит, а мне нет!..

– Да не то, Жозенька, – как вы можете думать?.. Но она такая осторожная, благоразумная... Только уж вы, Жозя, научите меня, как что надо сделать там, с векселем... Я ведь на этот счет круглая дура, ничего не знаю...

– Да вы обратитесь к Адели!.. хотите, я сегодня же ей скажу, что вы желаете?.. Она вам все устроит...

Разумеется, фантастический шестимесячный вексель, выданный в тот же самый день Марьей Ивановной Лусьевой, за подписью Ивана Артемьича Лусьева, очень изумил бы всякую банкирскую контору, в которую был бы представлен к учету, но – он никогда ни в какую банкирскую контору и не предназначался, а очень мирно и спокойно улегся в нескораемом шкафу госпожи Рюлиной, в плотный полотняный конверт большого формата, с пометкой лиловыми чернилами: «Люлю». Таких конвертов, плотно набитых какими-то бумагами, покоилось довольно много в шкафу. Были конверты Жози, Ольги, даже Люции, – всех, кроме Адели. Хотя денег по векселю Рюлина, конечно, ниоткуда не получала, тем не менее благодарность за то, что Маша «выручила», была разыграна очень трогательно, а счета из магазинов, касавшиеся Машиных заборов, были с благородством изорваны на глазах девушки. Надо ли говорить, что действительная сумма к уплате по счетам была впятеро меньше цифр, поставленных Аделью? Вместе с тем Маше дали понять, что платить проценты по векселю – конечно, вхо-

дит в ее обязанность и что процентов будет довольно много, а вексель придется переписывать часто, так как кредит-де – самый трудный и краткосрочный.

Глава 6

Прошло три месяца, сильно двинувших Машу Ивановну вперед по пути «просвещения». Каждый месяц вексель ее переписывался, и каждый раз надо было доставать денег для процентов – действительно, огромных, зверских процентов: сперва Адель потребовала двести рублей, во второй раз уже триста, а на третий месяц пришлось найти и все пятьсот. Минули те времена, когда у Маши Лусьевой дрожала испугом душа при одном звуке таких цифр. Теперь она знала, что рубли в сотнях – очень небольшие деньги для хорошенькой барышни, «которая не дура», и доставала их очень легко.

Стоит только поплакать да надуться на целый вечер, – Сморчевский заплатит. А не Сморчевский, так Фоббель. А не Фоббель, так Бажоев...

Изменился и тон, которым Адель спрашивала проценты. В первых двухстах рублях она извинялась, умоляла занять их, сконфуженная, уверяла, что охотно внесла бы свои, если бы стояли лучшие времена, а то все еще ни-

как не соберется с деньгами и не оправится от недавнего разгрома. На второй месяц извинения были уже гораздо слабее.

– Прямо несчастье мне с вами, Люлю, по этому векселю: как ему срок, так у меня касса пуста... фатум какой-то!..

Уж нечего делать, попросите опять у Сморчевского... старик выручит: он вас любит...

А в третий платеж она просто уведомила – почти что приказала:

– Люлю, через четыре дня вам платить пятьсот... Старайтесь, деточка Люлюшечка, добывайте!..

И «деточка Люлюшечка» добывала: хныкала, капризничала, жаловалась на судьбу, на злых людей, плакала, уверяла, что «лучше отравиться», и «деточку Люлюшечку» спешили развеселить и утешить. А затем:

– Кажется, я заслужил поцелуй?

– Сморченька, миленький! Да хоть двадцать!

– А Люлюша споет нам «Историю старого деревенского кюре»?

– Фи, Бажоев, вам бы только гадости слушать!.. Ну да уж хорошо, спою, спою!., для

вас!., противный!..

Раздобывала Маша такими способами деньги для «процентов» Адели, раздобывала и для себя. При всем том, – хочется человеку всегда хорошо о себе думать! – она и не воображала, что она продается, и очень бы удивилась, если бы ее укорили в том. Продаются котки, камелии, проститутки. Продаваться – это значит принадлежать мужчине телом за деньги, а два-три пьяных поцелуя, даже объятия, скабрезная песенка, фривольный жест... какая же тут самопродажа? Помилуйте? Что за невидаль при добрых дружеских отношениях? И, наконец, это добрая воля Сморчевского – дать или не дать денег. Чем Маша виновата, если он такой нервный и щедрый человек, что согласен лучше заплатить за хорошенькую женщину все маленькие долги ее, чем видеть ее в слезах. А когда выпадает такое счастье, глупо им не пользоваться. Маша не миллионерка, Сморчевский и прочие доброхотные датели от того не обнищают, а бедной девушке будет на что поправить свои обстоятельства и выполнить обязанности к своим друзьям.

Впивая эту мораль, Маша, тем не менее, иногда смущалась втайне своим поведением и испытывала угрызения совести. Стали проявляться у нее и кое-какие подозрения, что среда, где она увязла, не только веселящаяся, но и жуликоватая, и развратная. Рюлина и ее приспешницы еще скрывали от Маши кое-что, и даже очень многое, и даже самое главное, но уже часто проговаривались словами и попадались на фактах, совсем не согласных с первоначальным высоким тоном, который Лусьева встретила в доме. Так, например, узнала Маша, что, столь часто поминаемый всуе, покойный «генерал» Полины Кондратьевны, якобы повинный в безобразных картинах ее спальни и во многих других неприличиях, никогда ни генералом, ни даже военным не был, и по паспорту госпожа Рюлина писалась вдовой губернского секретаря.

А кроме того, никто и никогда этого таинственного губернского секретаря Рюлина при великолепной супруге его не видывал, и прозябал он, и помер неведомой смертью где-то за тридевять земель, в тридесятом царстве, не

то в Ашхабаде, не то в Благовещенске. Само собой разумеется, что столь отдаленный губернский секретарь никак не мог быть ни сослуживцем, ни тем более боевым товарищем великого князя, любовника Жени Мюнхеновой, которым Адель хвалилась Маше в первый день знакомства. Вообще, великокняжеские сказания Адели, – права была Ольга Брусакова! – мало-помалу очень слиняли и выцвели.

Например, оказалось, что тот великий князь, герой романа Жени Мюнхеновой, не только не близкий друг дома, как уверяла Адель, но и всего-то лишь дважды, за всю жизнь свою, удостоил укромный рюлинский особнячок высочайшим посещением инкогнито. Один раз, ненароком, прямо с какого-то гвардейского полкового праздника, полупьяный, с компанией офицерской золотой молодежи, наговорившей ему чудес о волшебной красоте Жени Мюнхеновой, которая тогда проживала у Полины Кондратьевны на положении воспитанницы: тут-то он, действительно, и влюбился! А в другой раз – уже нарочно, чтобы увезти Женю из-под гостепри-

имного генеральшина кровя в приобретенный для нее дом на Английской набережной.

В качестве устроительницы и посредницы сего незаконного союза генеральша содрала с его высочества какой-то едва вообразимый огромный куртаж. Так что даже сама сконфузилась и восчувствовала признательность к виновнице такого успешного грабежа. Женя Мюнхенова сделалась для нее самым любимым, поэтическим воспоминанием, почти до культа. История Жени развилась в эпопею дома, которой обязательно «просвещаются» рано или поздно все, вновь входящие к Полине Кондратьевне, дамы и барышни: вот, мол, пример для вас, поучайтесь и подражайте!

Однако, по сплетням Жози, сама-то Женя, как скоро выбралась с Сергиевской, порвала с генеральшей все сношения, ни к ней не бывала, ни ее у себя не принимала. Даже ее портрет знаменитый был вовсе не заказан генеральшею, как хвастала Адель, но попал к ней совершенно случайно.

Когда Женя, наскучив любовью великого князя, сбежала от него на манер Периколы или Беттины из «Маскотты», покинутый лю-

бовник в неистовом бешенстве приказал убрать с глаз долой все вещи, напоминавшие ему коварную изменницу. Портрет же (к слову сказать, писанный совсем не Константином Маковским, а каким-то случайно заезжим и мало ведомым французом) – уничтожить. Камердинер князя, рассудив, что хорошая живопись денег стоит, спустил портрет за двести рублей маклерше, а та предложила его Полине Кондратьевне за тысячу и отдала за пятьсот. Так как манера француза напоминала Константина Маковского, то Адель нашла, что будет шикарно приписать картину этому последнему и, владея несколько кистью, намазала внизу портрета, в углу, довольно искусно подделанную подпись русской знаменитости... А затем сфабрикованный кумир водрузили в святилище, и вокруг него обвились легенды, столь увлекательные, что, в конце концов, им едва ли не верили и сами, их творившие.

* * *

Прошлое Полины Кондратьевны тоже тонуло в легендах. По-видимому, она была действительно хорошего происхождения, потому

что, даже сквозь налет многолетнего авантюризма, проблескивала следами прекрасного воспитания, какое давали только благородным девицам строгие институты пятидесятих годов. Она знала множество анекдотов из быта Смольного в его славную «Леонтьевскую» эпоху и, может быть, в самом деле, была заблудшей овцой из стада смольнянок.

Но далее следовали провал и мрак. Вспоминали одно: что смолоду Полина Кондратьевна существовала (и весьма шикарно) на иждивении того самого графа Иринского, который и посейчас не оставляет ее, хотя уже старуху, своими милостями. Вся великолепная обстановка рюлинских апартаментов, до скверных картин включительно, – от графа и его друзей; а в числе их, и впрямь, имеются два-три высокопоставленных лица, более известных распутством и казнокрадством, чем служебными доблестями, и некоторые великие не столько князья, сколько князьки второстепенного значения в фамилии, но первостепенно громкой скандальной репутации и в российской, и в чужеземных столицах. Граф Иринский – страшный потай-

ной развратник, но он осторожен и не доверяет страстей своих никому, кроме Полины Кондратьевны; она, когда-то его любовница, теперь осталась его альковной поставщицей и вознаграждается за то огромными суммами. На таинственных рюлинских «вечерках» графская компания чувствует себя гораздо более дома, чем сама хозяйка, и безобразничает так, что плюнуть хочется, – потому-то Полина Кондратьевна и выживает из дома на это время лишние глаза и уши...

Об Адели Жозя насплетничала Маше на ушко, что у той есть старик, к которому она ездит в Царское Село каждые вторник и субботу. Адель же, даже не на ушко, сообщила про Жозю, что у нее старики имеются чуть ли не на все дни недели, кроме воскресенья, оставленного для молодых. Люция то и дело выходила из роли горничной, обмолвливалась на «ты» с Жозею, с Ольгою, даже с Аделью... Однажды, когда Маша ночевала у Адели, Люция возвратилась откуда-то на рассвете вместе с Жозей и еще с какою-то незнакомой Маше, но весьма фамильярной ко всем, девицей. Все три были мертво пьяны, а Лю-

ция даже до беспамятства.

Жозю и фамильярную девицу Адель быстро спрятала куда-то. Но Люция бродила по всей квартире, ругаясь площадными словами, уселась к роялю и добрые полчаса колотила по клавиатуре кулаками, визжа фабричные песни. Никто – ни Адель, ни Полина Кондратьевна – не посмел к ней подступить, куда ее саму не сморило сном. Тогда она без церемонии повалилась на кровать Адели и захрапела. Маша была уверена, что негодяйку немедленно рассчитают, но на завтра Люция, как ни в чем не бывало, снова служила в доме, и только щеки у нее как будто немножко поприпухли да глаза покраснели, заплаканные... Вообще, правда дома начала сквозить из-за временных декораций его очень ярко: Лусьеву считали благоприобретенной уже настолько крепко, что очень далеко прятать карты от нее не стоит...

* * *

В один роковой день, тоже после ночевки в доме Рюлиной, Маша, ненароком, из соседней комнаты, подслушала странный деловой разговор между Аделью и утренним визите-

ром, неким господином Криккелем, – пшютом и дельцом, всему Петербургу известным, необходимым в каждом шикарном кружке и клубе, в каждом громком предприятии, в каждой модной забаве. Столица еще не успела разобрать, кто он – капиталист или мошенник. В газетах его величали «финансистом», а люди опытные усматривали в нем вызревающий «прокурорский фрукт». Но он шел в гору, и настоящие финансовые тузы-дельцы смотрели на него, туза-аплике, уже довольно благосклонно. Ему очень хотелось проникнуть интимно в тесный кружок Сморчевского и Фоббеля, и он делал для этого множество шагов, заигрываний, усилий.

– Не могу, Отгон Эдуардович, – говорила Адель. – Честное слово, не могу. Вы знаете, я для вас, по старой дружбе, готова на все, что угодно. Но ведь я не хозяйка. А Полина Кондратьевна – кремень: знает только свою фиксированную цену. По полтора на рыло, за Люлюшку три «сотерна». Одно из двух. Если я сделаю вам уступку, мне придется доложить из своих: «генеральша» у нас строгая...

– Дьявольски дорого, Адель.

– Что же делать? На то мы рюлинские. Буластиха или Перхунова устроят дешевле. Походите к ним. А то Юдифь...

– Все это, Адель, я знаю, да что пустяки болтать? Не тот шик...

– А если шик нужен, не скупитесь.

– Да! не скупитесь! У меня миллионов нет.

– Будут.

– Вашими бы устами мед пить. И за что так дорого? Ну, за что? Только что посидят за столом в самом избранном обществе, скушают отличный ужин, проведут весело время...

– А вам бы еще чего? – засмеялась Адель. – Ишь, баловник! А сидеть с вами, кутилами безобразными, разве не труд? Из вашего брата теперь озорники пошли хуже, чем из купцов. Вон – Бажоев, черт старый, третьего дня Жозе на платье бутылку шамбертена опрокинул... Платье триста рублей стоило, а его бросить надо: хуже этих бургонских вин нет, ни за что пятно не отойдет... А получила-то я те же полтора ста...

– Не врите, Адель, – уж, наверное, Бажоев заплатил...

– Да, он-то заплатил, потому что он ужасно

какой благородный, а другой не заплатит, и ничего с него не возьмешь. Нас обидеть легко... Мы не хористки, не кокотки, скандала поднять не смеем, должны репутацией дорожить...

Криккель считал:

– Следовательно, вы, Эвелина, Жозя – по полтора ста, да Люлю триста... семьсот пятьдесят... Уф, даже в жар бросает!..

– Может быть, Люську к концу ужина привезти?

Криккель оживился:

– Эту? Горничную-то? Которая русскую пляшет и песни поет? Привезти, непременно привезти! Панамидзе от нее без ума...

– Двести пятьдесят рублей, – сказала Адель.

Криккель инда крякнул.

– Это почему же?

– Для круглости счета. Чтобы уж ровно тысяча.

– Но за что?

– За оригинальность.

– Вы цените эту особу выше себя самой?

– Нашей сестры в Питере много, а Люська – в своем роде, единственный экземпляр.

– Полно, пожалуйста. Кого вы морочите? На Никольском рынке, – вот где прислугу нанимают, этих ваших Люсек – прямо из деревни – сколько угодно.

– Вот и поищите себе Люську на Никольском рынке, – спокойно сказала Адель, – а наша пусть останется при нас.

– Тьфу! Ну, только ради Панамидзе... человек-то больно нужный...

– Не скаредничайте, не жалейте, – ласково говорила Адель. – Ведь уж не даром вы затеяли этот ужин. Истратите две-три тысячи, а делишек обделаете на сто. Так не грех за то побаловать и нас, бедненьких...

– Скидки не будет?

– А ни-ни. Prix fixe. С какой стати? У нас клиентуры – хоть отбавляй. И то придется обидеть кого-нибудь для вас. Ей-Богу, все вечера расписаны на две недели вперед.

– Министр вы, Адель.

– Да уж министр ли, нет ли, а денежки пожалуйста.

– Но я буду надеяться: все будет аккуратно и благородно?

– Так, что благодарить приедете и браслет

мне от Фа-берже привезете.

– И уж без всяких гримас, обид, жеманств и фокусов?

– Говорю: браслет привезете.

Глава 7

Криккель уехал. Проводив его, Адель заметила за дверью растерянную, встревоженную, недоуменную Машу.

– Ага, ты слышала... – хмурясь, сказала она (в последнее время все молодые женщины в рюлинском доме сошлись на «ты»). – Ну что же? Очень жаль... То есть, правду-то говоря, вовсе не жаль, а отлично. Я очень рада, что так вышло наконец... Мне смертельно надоело кривляться. У Полины Кондратьевны свои расчеты играть с тобой в жмурки да прятки. А, по-моему, напрасно; давно пора – карты на стол и в открытую.

– За что ты требовала с Криккеля тысячу рублей?

– За то, что мы – ты, я, Жозя, Ольга, Люция, – сделаем ему честь, поужинаем с ним и с его приятелями.

– А больше... ничего?

Адель сухо улыбалась.

– У вас извращенный ум. Больше, покуда, ничего.

Она ударила Машу по плечу.

– За больше, Люлюшенька, и сдерем больше.

Но Маша серьезно смотрела ей в глаза.

– Потом – как же это? Нас ужинать зовут – и Люцию с нами? Горничную? Стало быть, мы на одной с ней доске?

Адель с досадой тряхнула головою.

– Ах, какой аристократизм напал внезапный!.. Да тебе-то что? Если это их каприз? Ведь ты слышала, какие деньги платят... И притом можешь успокоиться, Люцию зовут совсем не ужинать, а после ужина – проплясать русскую и спеть несколько ее глупых песен...

– Но она не умеет петь. У нее и голоса-то нет, визг какой-то...

Адель согласилась:

– Совершенно верно, что не умеет и визг... Но вот, поди же: находятся дураки, которым это нравится, и Люська сейчас положительно в моде.

И прибавила нравоучительно:

– Мужчины ведь удивительно глупый народ. Черт знает что иной раз их прельщает. Ну Люська хоть красивая, – и лицом, и фигу-

рой вышла... А то жила тут у нас, у Полины Кондратьевны гостила, одна киргизская или бурятская, что ли, княжна... Да врала, небось, что княжна, – так азиатка, из опойковых. Ростом – вершок, дура-дурой, по-русски едва бормочет, лицо желтое, как пупавка, глаза враскос... И что же ты думаешь? От поклонников отбоя не было. Первый же твой Сморчевский с ума сходил... «Ах, – кричит, – это из Пьера Лоти!.. «Дайте мне женщину, женщину дикую»... Кризантизм!.. Раррагю!»... Много он тогда на нее денег ухлопал...

Маша, не слушая, резко прервала:

– Ты и с Сморчевского так берешь? И с Фобеля? И с Бажоева?

– Конечно. Чем они святее других? Со всех.

Маша подумала и всплеснула руками.

– Но, Адель! Мы бываем в разных компаниях так час-то... Если ты берешь за это деньги, значит, ты ужас сколько получаешь.

– То есть, не я, – поправила Адель. – Я тут решительно не при чем... Получает Полина Кондратьевна, а я только ее доверенное лицо. Да, старуха зарабатывает очень хорошо.

– А мы?

– Что «мы»?

– Мы ничего не получаем?

– Как ничего? – засмеялась Адель. – А это что?

Она дернула за рукав Машина платья, коснулась браслета на руке, ткнула указательным пальцем на брошь.

– А это?., это?., это... А шесть тысяч под вексель?.. Разве мало затрат?.. Вот она их и возвращает, – и согласишься, что очень деликатно: ты вот и сама не знала, как ей отработывала...

– Адель, ты поражаешь меня!., я совсем растерялась в мыслях... Я думала, что Полина Кондратьевна...

– Даром бросит на тебя деньги? – захохотала Адель. – За что же это? Где ты видывала таких благодетельниц рода человеческого?

– Я думала, что она просто – потому, что мне симпатизирует... А тут выходит какой-то промысел...

– Да что ты – малолетняя, что ли? Где и когда бывало, чтобы за симпатию давали тысячные кредиты? Если Полина Кондратьевна рискует на тебя рублями, то, конечно, имеет свой расчет, ищет получить с тебя прибыль...

– Ужасно, ужасно, что ты говоришь, Адель!.. Это – как во сне. Тебя ли я слышу?.. Ты прежде мне говорила не то, совсем не то...

– Мало ли что было прежде? – огрызнулась Адель. – То – прежде, а то – теперь. Да и что тут во всем, что ты слышала, удивительного? И из-за чего ты так кипятишься? Кабы мы заставляли тебя делать что-либо постыдное... А то ведь, сознайся, ни к чему такому мы тебя не приглашали и не принуждали... И не намерены...

– Извини меня, Адель, но все-таки наши ужины, раз они за деньги, это – что-то очень нехорошее... Если бы я знала, что все эти камни и платья приобретаются такой ценой, то лучше бы их не было...

– Ну, милая, – холодно возразила Адель, – об этом было нужно раньше думать и спрашивать, а теперь вон сколько на тебе повешано... Да и что ты в самом деле – все на меня да на Полину Кондратьевну? А сама ты? Разве не брала денег у Сморчевского с Бажоевым? Ведь знаю я...

Маша бормотала, разводя руками:

– Я просто не знаю... Что же это? Я теперь

буду стыдиться в глаза смотреть Сморчевскому... и тем другим... Если наше общество можно покупать за деньги, кто же мы для них оказываемся? Что они о нас думают? Какая же разница между нами и кокотками?

Адель зло закусила губу.

– Та разница, – язвительно сказала она, – что, если бы ты была кокотка, тебе не платили бы триста рублей только за то, чтобы ты сидела за ужином в отдельном кабинете и плела пьяным дуракам демивьержные разговоры. Ты, покуда, порядочная барышня из общества, за это ты и в цене.

– А почему же для себя, для Ольги, для Жози ты выговариваешь только половину.

Лицо Адели исказилось невеселой усмешкою.

– Вероятно, потому, что мы не имели счастья так хорошо сохраниться, как ты.

– Адель!

– «Будто мы кокотки», – передразнила Адель. – Ну и, конечно, кокотки!.. А кто же еще? Это я не знаю, какой дурой надо быть, чтобы не разобрать, что мы кокотки!..

– Ты просто с ума сошла и не знаешь, что

говоришь.

– Нет, я-то в своем уме, а вот ты – удивительно наивная... особа.

– Можешь врать, что угодно. Я девушка. Я знаю, что я не кокотка.

Адель насмешливо присела.

– С чем и поздравляю. Честь вам и место.

– Да и на себя, и на них, на Жозю и Ольгу, – я ума не приложу, – зачем ты взводишь такое страшное? Ведь клеветишь!..

– Кой черт, я клеветищу? – и озлилась, и захотала Адель. – Нет, Люлюшка! Думала я, что ты глупа, но все же не до такой степени.

И быстрым, резким, циническим языком своим она пустилась разоблачать перед Машей до конца всю подноготную страшного дома...

* * *

Бросилась Маша к Ольге Брусаковой и, к счастью, застала ее дома и одну. Та, с первых же слов, даже с удовольствием и облегченно как-то, подтвердила ей все рассказы и признания Адели.

– Ничего, Машенька, не поделаешь, – говорила она, лежа на кушетке в полутемной сво-

ей комнатке и попыхивая папироской. – Это петля. Тебя так захлестнули, что не вырваться. Ты у них вся в руках: что хотят, то с тобой и сотворят. Вот – попробуй, откажись ехать на ужин к Криккелю...

– Да и не поеду! Неужели ты можешь думать, что поеду... после всего, что теперь знаю? – стиснув зубы, мотая головою, твердила Маша...

Ольга уныло возразила:

– Ну и скрутят тебя в бараний рог.

– Да чем же, наконец? Что они могут мне сделать?

Ольга только рукой махнула.

– Всё. Говорю тебе: всё. Вексель твой, ты сказывала, у Полины лежит?

– Я не знаю... У нее или в банке, что ли, каком-то...

– Врет: у нее. Ну и вот тебе и – чем.

– Я несовершеннолетняя, с меня искать нельзя. Я Сморчевского – так обиняками – пытывала, а он, сама знаешь, какой знаменитый юрист... Он говорит, что не только векселя несовершеннолетних недействительны, но еще, если ты берешь вексель с заведомо

несовершеннолетней, то тебя можно судить. Стало быть, по векселю им с меня ничего взять нельзя.

– Да, деньгами нельзя... Но ведь ты забыла: вексель-то твой – не твой, а отцовский.

– Ну?

– Значит, он фальшивый.

– Как ты странно выражаешься... Разве я стала бы писать фальшивые векселя? Неужели я способна? Адель и Жозя уверяли меня, что вексель никогда не будет представлен ко взысканию. Так что – отец написал, я ли, – это все равно... только форма...

– Очень верю, что никогда не будет представлен к взысканию, но лишь в том случае, если ты будешь слушаться Полину и Адель во всем, что они тебе прикажут. А если ты вздумаешь сопротивляться, вексель увидит свет. И тогда суд не станет разбирать, почему он фальшивый, довольно и того, что фальшивый. А это уголовщина, за это в Сибирь. Ну, засудить-то тебя, по молодости и глупости твоей, пожалуй, не засудят, – но все равно: куда ты после такого дела годишься? Скандал, срам, газеты расславят... Одно средство: мо-

жет быть, отцу признаешься? Может быть, он заплатит, не доводя дела до огласки?

Маша с ужасом покачала головой:

– Откуда ему взять такие деньги? Да никогда и не признаюсь я ему... что ты!.. Он меня убьет!.. Как я смею? Не одна я у него: два брата... Заплатить – значит нищими стать, в конце, до последней нитки разориться.

Ольга согласно кивала в такт ее словам.

– Я так и понимала. Конечно, разорение и скандал. Иссрамят тебя, а срам на семью падет. Пожалуй, отцу и должности пришлось бы лишиться... А уже о тебе самой, – повторяю тебе, нечего и говорить: если и оправданная выйдешь из суда, дорог тебе, «подсудимой», дальше нет, – ни службы, ни занятий, ни замужества порядочного... Следовательно, один выбор: в кокотки же – больше некуда!.. Ну, и стало быть, как ты тогда ни вертись, а опять к ним же придешь, – к Полине Кондратьевне с Аделью, либо того хуже – к Буластихе какой-нибудь или Перхунихе... Либо запутает тебя, одинокую и без грошика, какая-нибудь простая факторша, от них же ходебщица... Я, Машенька, знаю: у меня самой с Полиной

другие счета, моя кабала по-иному строена, а видать, как они с другими такое мастерили, видала не раз... Комар носа не подточит, – вот как! Да! Связана ты, голубчик, этим векселем проклятым по рукам и ногам!.. Да и одним ли векселем? Видела я: хвасталась мне Аделька, в каких позах она тебя наснимала!.. Хороша и ты тоже, Марья, – нечего сказать, есть за что тебя хвалить: такую мерзость над собой допустила!..

– Да что же я могла? И как было мне ожидать?

– Ну, милая, – строго возразила Ольга, – какая ни будь ты наивность, а есть же у женщины и природный стыд. Настолько-то соображения должна иметь девушка и сама, без чужой указки, чтобы понимать, что если ее фотографируют, черт знает как, с мужчиной, то добра из этого не выйдет...

Маша широко раскрыла глаза.

– С мужчиной? Я фотографировалась с мужчиной?

– С Мутовкиным. Видела снимки своими глазами.

– С Мутовкиным? Ольга, ты бредишь! Я ни-

когда никакого Мутовкина не знала.

– Ну как не знала? Даже замуж за него собиралась...

– Ремешко?

– Ну да, по паспорту Ремешко. А по-нашему, по-рюлинсиому, по-буластовскому и так далее, Мутовкин... Кличка его такая в этом мире...

– Ты видала мой портрет с ним вместе?

– Да еще какой, – смотреть стыдно!..

– Ольга, я клянусь тебе всем, что свято: я никогда не снимались вместе с Ремешко. Даже и в мыслях не имела подобного!.. Даже и разговора о том между нами не было!..

Ольга воззрилась на подругу с любопытством.

– Тем хуже, – протяжно сказала она. – Значит, вас, голубчиков, Аделька фотографировала, – конечно, по уговору с тем мерзавцем, – когда ты не подозревала... тем опаснее... Эх, Маша, Маша!.. Не ждала я от тебя, что ты так легко скрутишься!.. И как только угораздило тебя унизиться? Ведь прохвост же он, на роже у него написано, что прохвост!..

– Ольга, – кричала Маша, хватаясь за вис-

ки, – что ты говоришь? Объяснись! Как уни-
зиться? Что там у них на карточке? Я ниче-
го, – ну слышишь ли ты: ровно ничего из всех
твоих слов не понимаю!.. Никогда, – ве-
ришь? – никогда между мной и Ремешко не
было ничего стыдного и неприличного!

– Ты не врешь?

Глаза Ольги загорелись тревожным любо-
пытством.

– Никогда!.. Никакой близости, интимно-
сти!.. Нельзя было, нечего было фотографиро-
вать с нас компрометантного!

– Откуда же взялась фотография?

– Я не знаю, но – чем хочешь буду божить-
ся!.. Да и зачем мне теперь врать?.. И, нако-
нец, сам он, Ремешко, хотя оказался потом
дурным человеком, но я решительно не могу
на него жаловаться: он вел себя совсем не та-
ким, – был всегда очень приличный, скром-
ный, почтительный...

Ольга нахмурилась.

– Ну, а на портрете вашем этот скромный и
почтительный сидит на кровати, без сюртука,
в расстегнутом жилете, а ты – лежишь у него
на коленях, в costume праматери Евы...

Маша остолбенела.

– Это безумие какое-то!.. – сказала она так искренно, что Ольга сразу уверилась в ее правдивости. – Я? я? Ты уверена, что я?

– Как в том, что сейчас тебя вижу.

– Может быть, похожая на меня какая-нибудь?

– Ну вот! Не знаю я тебя? Ты, Маша. Даже родимые пятнышки твои все обозначены, чтобы и сомнения не оставалось.

Маша, усталая от волнения, присела у ног Ольги, почти в суеверном трепете каком-то.

– Я не знаю, что... Это колдовство! – воплем вырвалось у нее. – Они волшебницы... так просто, человеческими средствами, нельзя этого сделать...

– Подделать-то, положим, можно, – возразила Ольга. – Даже очень легко. Обыкновенное средство, которым разные негодяи-лоботрясы дурачат ревнивых мужей: берут неприличную карточку подходящего размера, приклеивают женской фигуре голову с портрета дамы, которую хотят компрометировать, переснимают на новую пластинку, ретушируют, – и готово... Но это уже старая штука, на

это, кроме сумасшедших от ревности, теперь никого не поймаешь. И экспертизы не надо, чтобы разобрать, что сфотографировано с натуры, что переснято с рисунка или фотографии... Я бы сразу отличила... И вот то и ужасно, и удивительно выходит, что, как ты ни спорь, а фотографии деланы с тебя, с живой тебя...

– Волшебницы! – шептала Маша.

Ольга что-то соображала.

– Нет, не волшебницы, – медленно сказала она наконец, – а это – твой обморок, вот что. Помнишь?

– Да, да... – пролепетала Маша.

Мысли ее прояснились. Она вспомнила и свое долгое беспмятство, и странное общее смущение, когда она очнулась.

– Несомненно! В обмороке сняли. То-то у тебя там глаза полузакрты... Да! В обмороке! Ловки, нечего сказать!

Ольга в волнении вскочила с кушетки.

– Я думала тогда, что тебя опоили для еще худшего. Оказалось, нет. Они тебя для кого-то берегли и берегут. Потому так долго и комедии с тобой тянули. А беспмятство твое по-

надобилось именно для того, чтобы нашлепать с тебя компрометантных снимков...

– Но, значит, этот Ремешко... или – как ты его? – Мутовкин... тоже из их компании и заодно с ними?

– Еще бы! А ты как думала? Давний прихвостень. На жалованье и сдельную плату получает. Известный «пробочник».

– Кто?

– «Пробочник». Так эти господа у госпож Рюлиных называются. Он-де пробку из бутылки вытягивает, а мы вино выпьем... Его обязанность – заманить в долг или опозорить девушку так, чтобы ей потом выхода не осталось, чтобы она вся очутилась в лапах у Полины Кондратьевны. Ты думаешь, я умнее тебя? не считалась когда-то в его невестах? Было, друг!.. Тебя вот ругаю, а сама во дни оны, в такую лужу, по его милости, села, что страшно вспомнить!., куда хуже твоего! Было, всего было... Это его должность, Мутовкина, по генеральшиной методе разыгрывать богатого влюбленного, чтобы мы, дуры, не боялись ей должать... Ну что же? Мастер! Разыгрывает джентльмена и Креза – лучше невозможно,

надо к чести приписать!.. Но как только заберется наша сестра у Полины выше ушей своих да выдаст какой-нибудь красивый документик, вроде твоего, тут конец его роли: он исчезает, яко воск от лица огня... Он нужен, чтобы петлю надеть, а затягивают уже без него. Ему дают сотню, две, три – и отправляют из дома, подальше от скандала... Ты не беспокойся: еще насладишься обществом этого душеньки!.. Не тебя первую, не тебя последнюю «генеральша» ловит... увидитесь!..

– Я плюну ему в глаза, – сказала Маша.

Ольга горько засмеялась.

– А он скажет: Божья роса. Увидишь его! Самый подлый зверь.

* * *

Маша рыдала.

– Оля, Оля!.. Как же тебе-то не грех и не совестно? Как же ты-то – все знала о них и меня не остерегла?

– Я ли тебя не предупреждала? – грустно отозвалась Брусакова. – Что ты говоришь? Я вся извертелась перед тобой в намеках, а ты, – нет, все не хочешь понимать, всем веришь больше, чем мне. В старуху влюбилась,

В Адель влюбилась, в Жозьку-поганку... На меня же за них кошкой фыркала! Разве я виновата, что тебя Бог догадливостью обидел, а черт тебе глаза слепотой застлал?

– Но зачем же было намеками и обиняками? Ты бы прямо, начистоту...

– То есть, так-таки вот сразу и признаться тебе: беги, Машенька, от нас куда глаза глядят, мы все здесь распутные и тебя ловим, чтобы сделать такой же, как мы?.. Ну, голубчик, духа не хватило!.. Я тебя очень люблю, но пожертвовать собою, чтобы ты так уж все знала про меня... нет, этого я не могу!.. стыдно очень, себя жаль!..

– Да ведь, Оля, – теперь же вот все равно открылись все ужасы эти...

– Э, теперь! – страдальчески морща лоб, отозвалась Ольга. – Теперь мне все равно!.. Обе в одной ловушке сидим... теперь мне тебя не стыдно... Примеряй по себе: в состоянии бы ты была признаться во всем, что с тобой сейчас происходит, – кого бы назвать из наших порядочных подруг? – ну, хоть Кате Заряновой?

– Ни за что на свете!.. Сохрани Бог!.. Лучше

умереть!..

– Ну, а со мной ты говоришь очень просто, по-деловому... и с Аделью будешь говорить, и с Жозькой, и с Люськой... и с другими. Да! Порядочная ты очень была, стыдилась я тебя безмерно... и никак этого стыда не одолеешь. Жалость сильна, а он и жалости сильнее... Ну, а потом, если уж всю правду до конца говорить, то я, Маша милая, и за намеки-то мои тебе сколько раз бита!

– Бита?

– Да, бита... – всхлипнула Ольга. – Ты не удивляйся: у нас это часто и скоро. Я и пригласить-то тебя в дом к «генеральше» согласилась только с битья; целые две недели отвивала, отговаривалась, врала небылицы и на тебя, и на себя, почему ты не можешь прийти... Ну, Аделька, – ведь все это несчастье началось с той нашей встречи на Невском, – выследила как-то, что я плутую, подвела, наябедничала, – от старухи сейчас же мне таска!.. А помнишь, как ты провралась, что я отговаривала тебя входить в долги? «Генеральша» тогда полчаса истязала меня у себя в спальне... У нее система: сама с комфортом в

кресла сядет, тебя на колени перед собой поставит, кольца с пальцев своих снимает, – чтобы убойных знаков не делать, – и пошла лупить со щеки на щеку...

– И ты давалась?

– Да – что же я могу? Уж лучше пусть бьет наедине... А то позовет Адельку, Люську, велит держать... еще хуже!.. и срам...

– Я бы скорее ее убила, себя!..

Ольга взглянула на Лусьеву с сомнением.

– Не убьешь... – проворчала она.

– Нет, убью!

– Не убьешь! слышали мы! Это только говорить, дружок, легко, что убью. И я когда-то кричала: ее зарежу, сама утоплюсь! Ты думаешь, одни мы с тобой у нее? Мало других, таких же закабаленных? погоди, теперь от тебя прятаться перестанут, – перезнакомитесь!.. И все-то – все до единой – вопили в свое время: убью!., убьюсь!.. Но ни в каторгу, ни на позор судебный, ни на тот свет раньше времени, как видно, идти никому не в охоту... Так что убила-то себя покуда только одна Розя Пантормова... Помнишь Розю? В Озерках, на вокзале блистала... Наверное, помнишь!.. Впро-

чем, тому уже года четыре... Ты тогда еще девочкой была...

– В Озерках? Позволь... Брюнетка?.. Дочь священника?.. Помню!.. Говорили, что она отравилась от несчастной любви...

– Никакой несчастной любви не было. Просто попала в силлок к «генеральше», как и мы, грешные. Розя хорошенькая была, живая, с образованием, неглупая, нравилась мужчинам ужасно. Торговала ей Полина широко... А та пылкая, гордая, гневная. Неволю-то нести надоело... ну да и зазналась: думала, что очень уж необходима она генеральше, может пошвыривать ею, как хочет. Адели страшно грубила, ненавидела та ее. В один прекрасный день Розя совсем взбунтовалась. Довольно, говорит, вы мою кровь пили, хочу на волю, больше я вам не слуга!.. Старуха с Аделью на нее с кулаками, с дрекольем, а Розя револьвер вынула... они и осели... Ушла победительницей. А дней десять в своей комнате – да к следующему утру душу Богу и отдала... Да! Вот что!

– И ты на такой же цепи, как я... и все? – тихо и робко спросила Марья Ивановна.

Ольга угрюмо поникла головою.

– Больше, чем все. Она меня хоть в ступе толки, хоть масло из меня жми, – я бороться не смею. Я из рабынь рабыня. Ну да об этом лучше и не спрашивай!.. Велит воровать – буду воровать; велит сводничать – должна сводничать!.. У меня сердце кровью обливалось, когда ты пошла на их удочку, а раскрыть тебе весь план и ужас ихний я все-таки не смогла... страшно!.. Уж очень тоже один мой секрет у нее в шкафу запаян... И – вот что, Маша: до сих пор я, хоть и робко, но все восстанавливаю тебя против них. Ты не слушала, завязла... Ну, а теперь я сама тебе говорю, первая: не убереглась ты, – так лучше повинуйся, делай, что велят... сопротивляться ты опоздала! Если ты озлишь «генеральшу», она погубит тебя, как муху, – раздавит, и мокро не останется. Если же слушаться ее, не фордыбачить, то она – пожалуй, еще и не из худших мерзавок по своей части. Секрет держит хорошо, – об Адельке нечего и говорить: могила! – и обращается недурно. Без толку не дерется, ведь другие бывают ужасные, словно не люди, а звери их родили! – в деньгах карманных, в

кредите, в вещах никогда отказа нет. Но чуть ты вздумала явить перед ней свою волю, – шабаш: за малую вину изобьет смертным боем, за серьезный бунт загубит, как Розю Пантормову... Она, когда молоденькая была, то, говорят, у графа Иринского, покровителя своего, в имении крепостных собственноручно порола, а теперь мы у нее вместо крепостных. Она одной Адельки только и боится, потому что – одного поля ягода, и та, по натуре, сама черт хуже ее...

Глава 8

— Что же? – признавалась своим слушателям Марья Ивановна. – Я не героиня... характера у меня нет, трусиха я, дрянь! отстоять себя не сумела! Всему, чего от меня потребовали, покорилась, на все пошла и сдалась, – а тогда очутилась уже совсем в их руках... Да надо правду говорить – не скрывать: мало-помалу и сама опустилась, втянулась в эту подлую жизнь... Натуришка у меня слабая... аппетиты развернулись: и съесть я хорошо люблю, и вина отличать стала мастерица, и туалеты изящные мне подай, и шляпу-модель, и камушки... Без этого уже досадно и скучно: что за жизнь, если нет? – как это – у других все есть, а у меня вдруг не будет?

К тому же разврат, как его продавала «генеральша», был тонкий, подкрашенный, даже раззолоченный: клиенты ее принадлежали к самому блестящему кругу Петербурга, – значит, были люди негрубые, – по крайней мере, в большинстве, – хотя поношенные, но элегантные, с приятными манерами и кротким обращением, ищущие и в продажной

любви некоторой иллюзии флирта; так что ужас своего положения жертвы госпожи Рюлиной, если не очень грызла собственная совесть, не ощущали очень назойливо и резко.

Уже более полугода будучи «живым товаром», Лусьева телом оставалась девушкой: «главного» условия женского торга собой от нее не требовали очень долго, покуда в Петербург не приехал человек, которому ее именно в этом «главном смысле» предназначали и, как обещала Адель, «за большее и содрали больше». То был «стальной король» из Германии, архимиллионер, личность, по рассказам Лусьевой, мрачная, жалкая и трагическая. Марья Ивановна вспоминала о нем с ужасом.

– Жесток что ли был? Безобразничал очень?

– Нет, довольно сдержанный, даже из смиренных... Но маньяк. Я с ним сама чуть с ума не сошла... Вы представьте себе: одержим боязнью местности!..

– То есть пространства? – поправил Лусьеву чиновник особых поручений.

– Нет, нет. Не пространства, а именно мест-

ности. Он не в состоянии оставаться в одном и том же городе больше недели: страхи на него нападают. У него на родине, говорят, и дворцы, и виллы чудеснейшие, парки, охоты, а он мечется метеором беспривязным по земному шару, обогащая отели и промышленниц вроде Полины Кондратьевны... Болезнь свою он скрывает довольно ловко. Все думают, что вечные разъезды его – деловая горячка: кипит-де человек энергией, сам во все свои аферы вникает. Ну а мы-то, женщины, знаем, какая у него энергия! Первые три-четыре дня он – ничего себе, совсем в здравом уме и твердой памяти, а потом, глядь, и пошел от своего козла бегать.

– Это термин что ли какой-нибудь особенный из вашей... профессии? – брезгливо осведомился полицеймейстер.

– Нет, какой термин? Просто галлюцинат он, маньяк: козла видит, – самого обыкновенного козла, черного с бороною. Куда он, туда за ним и козел. Вот вы улыбаетесь... А я сколько слез приняла из-за этого козла! Издрожалась вся от страха...

– Тоже начали его видеть?

– Нет, но ужасно это на нервы действует – долго быть с человеком, которому так постоянно, упрямо мерещится!.. Он видит, а вы не видите... это противно и жутко, если часто. Сперва, правда, только смешно, а потом начинают мысли приходить: а вдруг ему не чудится, но он в самом деле что-то такое настоящее видит?.. Ну и скандала тоже вечно ждешь, нервы в постоянном напряжении, – страшно!..

– Скандал-то откуда же?

– Ах, мало ли этот козел проклятый штук с нами выкидывал?! Помню: повезли мы с Аделью его в Петергоф – показывать фонтаны... Остались обедать у тамошнего «Медведя»... Татары блюда подают, а мой Herr Augustus им на ноги косится и глаза кровью налил: это значит, – уже привиделось ему – козел, за татарами бегают... А то ночью вдруг заревет, как вол. Просыпаюсь ни жива, ни мертва: пожар что ли или режут его?.. «Что с вами? Что случилось?..» Сидит на кровати, таращится в одну точку, весь в холодном поту, брыкает в воздухе голыми ногами... «Дэр Бок! Дэр Бок! Козел! Козел!..» Оказывается козел в гостях

был, на кровать лез и чуть было его не забордал... На Иматре он у меня, от козла удирая, чуть в водопаде не очутился. Едва-едва мы с Люцией успели поймать его за фалды...

– Однако!

– Мучительный человек!

– Вы долго его знали?

– Нет, где же? С Иматрою, шхерами, с Ялтою, – всего три недели. И то его главный секретарь, который с нами ездил, удивлялся, что так долго. Это редкость, чтобы он взял женщину с собой в путешествие. Ведь ему во всех городах, по маршруту, куда он направляется, заранее готовят новую. И, непременно, чтобы девушка. Он живет с ней несколько дней, а потом возненавидит и уже лица ее выносить не может. Меня тоже чуть не задушил.

– Даже? За что?

Марья Ивановна, как ни была расстроена, а улыбнулась.

– За козла принял!

– Черт знает что!

– Мало что не убил, дурак!.. И – главное: где его утораздило, – на Учан-Су. Наконьячился по дороге и пошел юродствовать. Придрался:

почему в Учан-Су воды мало? Это не хороший вид, если в водопаде воды нет, это недобросовестность против путешественников!.. Я, сдурю, и пошути ему: «Должно быть, говорю, ваш козел здесь был и, назло вам, всю воду выпил!..» А он осатанел: хватить меня за горло и к обрыву тащит!.. Я кричу: «Вас махен зи? Лас-сен зи михь! Их бин кайн Бок, их бин ир кляй-нес шафхен! Что вы делаете, ваше превосходительство? Отпустите меня! Я не козел, я ваша маленькая овечка!»

– «Врешь, все вы одна шайка!.. Ты с ним стоворилась!..» Спасибо, проводники отняли!.. И больше, – как отрезало, – уже не захотел меня видеть. В тот же вечер отчалил на своей яхте в Константинополь.

– А зачем это вы с ним все по водопадам скитались? То на Иматру, то на Учан-Су?

– Тоже страсть. Как же? Помилуйте, – в Африке на Замбези был, в Полинезию нарочно ездил смотреть какие-то горячие каскады... Должно быть, потому наш Учан-Су так его и разобидел...

* * *

– Какая, однако, ваша жизнь! – с некото-

рым содроганием сказал Матьё Прекрасный. – Зависеть от подобного субъекта!..

– Э! что! – небрежно возразила Лусьева, – таких ли я чудушек видала?! Про Бастахова слышали?

– Это московский? известный?

– Ну да. О котором слухи ходили – и даже до судебного следствия, будто он старуху-жену отравил после того, как выманил у нее завещание на все состояние – движимое и недвижимое, а капиталу-то ни много ни мало – пятнадцать миллионов! Только это вздор: куда ему! Добрейшей души был господин и, если бы не склонен был в кутежах скандалить, то и цены бы ему не было: не характер – золото!.. Путался он тоже в компании Фоббея и Сморчевского, но был много их шире... Налетал к нам изредка из Москвы или провинции, и тогда начинался у Рюлиной такой пир горой, такой шабаш безумный, что, проводив Бастахова из Петербурга, мы все с неделю никуда не годны бывали – головой маялись.

Однажды всех нас четверых, ближайших рюлинских, – меня, Адель, Жозю, Люську, – он

выписал к себе на подмосковную дачу, – инженеров каких-то он чувствовал, с которыми дорогу что-ли строил или другое что. Целый дворец у него там оказался. А в оранжереях у него аквариум-исполин – на сто ведер – стекла сажённые зеркальные. Вот – однажды, ради инженеров этих – какую же он штуку придумал? Воду из аквариума выкачал, а налил его белым крымским вином, русским шабли. Сам он и трое гостей кругом сели с удочками, а мы – Жозя, Люська, Адель и я – по очереди, в аквариуме за рыб плавали.

Удочки настоящие, только на крючках вместо червяков сторублевки надеты... Натурально, боишься, чтобы сторублевка не размокла в вине, ловишь ее ртом-то, спешишь, – ну хорошо, если зубами приспособишься. Мне и Адели как-то счастливо сошла забава эта, ну, а Люську больно царапнуло, а Жозе – так насквозь губу и прошло – навсегда белый шрамик остался... Зато каждая по четыре сотенных схватила. И уж пьяны же мы выбрались из аквариума – вообразить нельзя. Удивительное дело. Вино легчайшее, да и не пили мы ничего, только купались, глотнуть

пришлось немного. А между тем меня едва вынули, потому что я на дно упала... мало-мало не захлебнулась...

Бастахов же стоит, руки в карманы, и хохочет:

– Мне, – говорит, – это – наплевать! – что шабли? Его ведро десять рублей стоит. Сто ведер – тысяча рублей. Нет, вот я в другой раз купанье из rommey sec закачу...

Другие его поддерживают:

– Что же сразу-то не закатил? Поскупился?

– Ничего не поскупился. Из одной эстетики. Так как шабли цветом белее, то – для прозрачности... А коль скоро ты сомневаешься в широте моей души...

Насилу его удержали. Потому что уже командовал было молодцам своим:

– Выкачивай шабли! Тащи шампанского!

Только тем и отговорили, что «рыбки» уже совершенно пьяны – «заснули» – и пускать их в шампанское больше нельзя: «играть» не смогут. И только вино испортят, а удовольствия никакого. Согласился.

– Хорошо! Значит, верите мне на слово, что я это могу?

– Верим! Верим!

– Ну, так знайте же, что я и еще больше могу!

С этими словами берет в углу оранжереи заступ или лом какой-то, да – как развернется, хватит...

Дзззинь – гррр! Дзззинь – грр!.. Стекло из аквариума к черту, и хлынул винопад... Сотня-то ведер!.. Все потопил... Самого его, дурака, чуть не залило.

Гости бегут, ругаются, вино – по колено, тысячные растения пропали, нижние стекла в оранжерее напором вина высадило, во дворе каскады полились... Что этот Бастахов себе убытку в одну секунду наделал, многими тысячами считать надо. А он хохочет и рад:

– Понимаете ли вы теперь меня? Я – сверхчеловеческий человек белокурой расы!

Между тем у самого бородища черная-пречерная: Пугачев живой!..

Редко когда-либо я видала Адель такой веселую, как когда мы ехали от этого Бастахова назад в Питер. Значит, уж чисто ограбила человека, – отвалил, не пожалел!

* * *

– Фи! – возмутился Матьё Прекрасный, – какое дикое безобразие! Ох уж эта Москва!

– Ну, знаете, и в культурном Петербурге не лучше... Еще не похуже ли?.. Есть такие фокусники-чудодеи, что Москве и не снились... Князь Мерянский, например... Не знаете?

– Один Мерянский, Гриша, был со мной в Правоведении. Неужели он?

– Нет, того звали, помнится, Валерианом... А у нас он был «вечным шафером» и «похитителем невест»... Ужасный был комедиант. Когда он меня заприметил в театре, то Рюлина с Аделью прежде чем нас свести, целых три дня учили меня, как и что надо, чтобы этому полоумному угодить. Знаете, и смешно было, и страшно. Сшили мне венчальный туалет, одели. А он, Мерянский этот, является как будто бы шафер – везти невесту к венцу. С дорогим букетом, изящный такой, весь в щегольском, но – на лице – трагический мрак. Хорошо. Полина Кондратьевна и Адель разыгрывают чувствительнейшую слезную сцену, словно, в самом деле, дочь и сестру венчаться провожают. В карете этот тип удивительный начинает объясняться мне в любви. Я возму-

цена:

– Как, князь? Вы делаете декларацию невесте вашего лучшего друга – в тот самый час, когда она готова стать его женой и произнести обет вечной верности?!

– О, да! Я подлец! я знаю, что я подлец и совершаю предательство, которому нет имени! Но страсть моя сильнее меня! Пусть гибнет дружба, пусть гибнет моя честь, но ты должна быть моею! Не в церковь я везу тебя, где напрасно ждет обманутый жених, а в свой загородный дворец, где ты будешь хозяйкой и царицей...

Я сопротивляюсь, осыпаю его упреками, он настаивает, разливается в красноречии. Наконец, я колеблюсь, убеждена, сдаюсь, – робко признаюсь, что сама давно его люблю и, если выхожу замуж за другого, то лишь потому, что он-то не являл мне своих чувств и не сватался... Ну, дикие восторги, блаженство и упоение...

– Итак, бежим?

– Бежим!

На Островах он имел, действительно, дворец не дворец, а дачу – каких мало. Прожила

я у него трое суток и впрямь в царицах. Чего хочешь, того просишь, обхождение самое рыцарское, прислуга рабствует. Но я все время настороже, потому что в первый же день его дворецкий улучил минутку предупредить меня:

– Вы, барышня, поглядывайте за ним, чтобы не испугал он вас врасплох. Он ведь у нас трагедчик, любит себе страшные представления давать. Все – ничего, но как скоро вы заметите, что начал он от зеркала к зеркалу ходить, за волосы себя трепать, глазами ворочать и бормотать разные оскорбительные для себя слова, то вы старайтесь тогда уйти от него незаметно, и мы вас спрячем и благополучно выпроводим. А то может быть нехорошо. Потому что это, видите ли, обозначает, что он уже пресытился преступной любовью, впал в раскаянье, мучится угрызениями совести и жаждет искупить свой ужасный грех...

Все это обещанное он разыграл, как по писаному. Но я, по любопытству посмотреть подольше, как он ломается, пропустила удобный момент, когда благоразумно было уйти. А он уже заигрался до того, что врет:

– Ни я, ни ты недостойны жить! Неумолимый рок нашей крови требует! Умрем вместе! – И, глядь, у него в руке – револьвер!

Я – как завизжу и бежать! А он мне вслед – бац! бац!.. Не помню, как я очутилась в какой-то каморке под лестницей... Сажу и трясусь... А наверху – опять выстрелы, рев какой-то звериный, топот многих людей...

Немного времени погодя приходит этот самый дворецкий. Я – в ужасе:

– Что у вас там? что случилось?

Он – совершенно спокойно:

– Ничего особенного. Не извольте беспокоиться. Князь застрелился.

Я обомлела и не знаю, как на него смотреть: что он, говоря такое, дурак или изверг? А он хохочет:

– Он у нас раз десять в год стреляется. Не бойтесь: нас с вами переживет. Здоровехонек. Сейчас мы его связали и спать уложили. Уже задрях. Завтра приедет профессор Томашевский, приведет его в чувство...

– Значит, слава Богу, обошлось благополучно? он себя не ранил?

Дворецкий еще пуще – в смех:

– Помилуйте, как же он себя ранит? Хоть и полоумный, а тела-то своего белого барского, чай, ему жалко...

– Ничего не понимаю! Вы же только что сказали, что он стрелял в себя?

– Ну да: в зеркало стрелял. Вот на зеркала у нас, в подобных случаях, действительно, большой расход. Сегодня разошелся, – уж очень вы его в фантазию ввели, – штук шесть перекрутил простенных да трюмо!.. Что ему стоит – от миллионов-то?

– Однако по мне-то он стрелял не в зеркало?!

– А это уж вы сами виноваты, что долго с ним задержались... Я вас упреждал... Да это ничего, вы не жалейте, что страха набрались: он за это особо заплатит... господин щедрый, с пониманием...

– Это прекрасно, но ведь он попасть мог.

– Гм... случилось, что и попадал...

– Как же тогда?!

– Счастьем везло, что легко, без увечья, по мякотям... Ну тысячи три-четыре в зубы, – еще и рады: хоть опять стреляй... Маргариту Михайловну знаете?

– Которую? «Тебя, мой друг Марго»?

– Вот-вот... Которая жандармского полковника подвела под растрату и суд... Спросите у нее, за что она от нас пенсию получает... Пятый год княжая пулька в ней катается...

Я в негодование пришла:

– В самом деле, этого бешеного вязать надо, только, к сожалению, вы это делаете слишком поздно!

– Никак нет. В самое время. У нас рассчитано. Ежели скандал не до конца, так он обидится и не дается. А как вошел в удовлетворение и стал от своего безобразия изнемогать, тут его бери и крути. И чем крепче, тем он больше доволен... Это у него в программу входит.

Не знаю, сколько сняли с «похитителя невест» Рюлина и Адель за мое похищение, – должно быть, много, потому что и я получила очень хорошие подарки. А все-таки я искренно счастлива была, что эта трагикомедия не могла повториться: женщину, однажды через нее прошедшую, «вечный шафер» уже никогда больше не брал и даже, встречая, делал вид, будто ее не знает...

– Слышали? вот вам и петербуржец! Нет, знаете, нашей сестре, безответно подчиненной мужским капризам, все равно плохо: что без культуры, что в культуре!

Полицеймейстер крякнул-поддакнул:

– Н-да-с. Профессия, можно сказать, енотова.

Глава 9

До появления в Петербурге гонимого козлом немецкого миллионера участие Марьи Ивановны в операциях госпожи Рюлиной ограничивалось по-прежнему ролью *soupeuse*, – ужинающей и прожигающей жизнь демивьержки, для богатых холостых компаний и – новенькое – фигурантки для «живых картин» в афинских вечерах, которыми развлекались граф Иринский и другие маститые гости генеральши.

– Что же вы представляли? – с оживленными глазами заинтересовался Mathieu.

Марья Ивановна посмотрела на него с презрительной злостью и нетерпеливо дернула плечом.

– Что я вам буду расписывать, – что? Разумеется, не «Пострижение монахини» и не «Первый день в школе»!.. Ведь рассказывала я вам, какая живопись висела по стенам у Рюлиной... Ну, эти самые милые сюжеты и воспроизводились.

– Ах, это – как намекала вам ваша подруга?

– Да, Ольга Брусакова... Если бы я тогда по-

нимала!

– Неловко это? – с деловой прямолинейностью задал вопрос полицеймейстер.

Марья Лусьева бросила на него уничтожающий взгляд и сказала сквозь зубы:

– Попробуйте!

Полицеймейстер крикнул и не нашелся от-
ветом.

– Нет, что же? – выручил его Матьё Прекрасный. – Тигрий Львович данных для того не имеет... Вы уж лучше про себя!..

При первом своем «дебюте» Маша участвовала в группе «Трех Граций» – с Люцией и с какою-то совершенно безмолвной на всех языках, не исключая родного, шведкою, которую Лусьева видела только однажды в жизни, – именно вот в этот вечер и на этом «спектакле».

– Я не имела духа выйти: так было ужасно, позорно, скверно... Стою, уже убранная и причесанная по-гречески, как надо, – сама Полина Кондратьевна голову убирала, – стою перед дверью этой проклятой, зубами стучу, лихорадка колотит. Ну вот, не могу перешагнуть в ту комнату и не могу!.. Полина Кондратьев-

на, Адель стараются около меня – просят, приказывают, злятся, грозят... не могу! А бить не смеют... зубами старуха скрипит, а ни щипнуть, ни ударить нельзя: если зареву, – гостям будет слышно, граф губу оттопырит, что дурной вкус – дерутся! Да и как же потом будет меня выпустить – заплаканную? Ведь комната – не сцена: все видно, каждый синяк, всякая царапина на теле обозначится; а если за волосы, – прическу смять должны... Ольга тут тоже, – она в тот вечер «Запарилась» изображала, картину художника Матвеева, – сама в три ручья плачет надо мною, а умоляет: «Все равно уж, Машенька: если ты на это пошла, то судьба такая... надо начать! Ободришь, – что тянуть-то? Перед смертью не надышишься!.. Ступай!..» Нет, не могу. Ноги – точно ватные, колени гнутся... Они меня – Валерьяном, они меня – шампанским, они меня – коньяком... Ничего не помогает: нет сил, и шабаш!.. И вдруг – Люция влетела!.. Злая, красная, огромная... «Долго еще, – кричит, – эта невинность ломаться намерена? До утра, что ли, я, по ее милости, мерзнуть буду?..» И затопотала на меня пятками!.. Никто еще в жизни на меня

не орал... У меня кровь так к вискам и хлынула! Света я не увидела! Ни стыда, ни страха не осталось в глазах! Завизжала что-то ей в ответ и сама не помню, как выскочила за дверь, как очутилась в той комнате, перед занавескою, как стала в позу... – вся в электричестве... Люция после удивлялась: «Ну и обругала же ты меня, девушка! Откуда слова взяла?..» А я не помню... Потом легче стало, привыкла, некоторые картины даже самой нравились... Я больше в Тициане имела успех... Уж очень хвалили меня: и богиня-то я, и статуя, и мрамор живой... Что же? Со всем освоиться можно. Балерины привыкают же, актрисы тоже, которые в оперетке и в феериях... Разница не велика. И публика у нас бывала та же самая, – только что меньше ее, да в комнате, а то весь балетный первый ряд!..

* * *

– И часто мучили вас подобными спектаклями? – спросил полицеймейстер.

– В месяц раз пять или шесть, не больше... это очень дорогая забава.

– И все было шито-крыто? Полиция не беспокоила?

Лусьева пожалала плечами и окинула полицеймейстера язвительным взглядом, под которым тот невольно опустил глаза и даже как будто слегка покраснел бурым румянцем.

– В самом деле, – опять поддержал его Матьё Прекрасный, и на этот раз очень некстати, – в самом деле, не могла же полиция не знать, что в доме госпожи Рюлиной происходят оргии... ну, хотя бы только подозревать, наконец... Достаточно подозрения, чтобы вмешаться.

Лусьева возразила медленно и ядовито:

– В присутствии господина полицеймейстера, чтобы не обидеть его мундира, я отвечу вам на это только одно: и уши, и глаза одинаково могут быть золотом завешаны.

Полицеймейстер угрюмо промолчал. Лусьева продолжала, злорадно торжествуя:

– Много я чудес видывала на веку своем – чуда не видала: полиции, которая взяток не брала бы... Присутствующие, конечно, исключаются.

– И по вполне заслуженному праву, – любезно заметил Матьё Прекрасный, – Тигрий Львович известен своим рыцарством и беско-

рыстием.

– Уж не знаю, известен я или нет, – проворчал полицеймейстер, – а только что не беру-с, – это верно. Не беру.

– Так за вас кто-нибудь берет! – хладнокровно возразила Лусьева. – Вы-то, может быть, не берете и даже не хотите брать, но – оглянитесь хорошенько назад: уж наверное найдете какого-нибудь притаившегося человечка, который за спиной вашей дерет с живого и мертвого. Может быть, даже и от вашего имени... Не бывает, что ли? Какой же обыватель поверит, будто полицеймейстер может быть феникс бескорыстный? Только постучись да скажи, что надо для полицеймейстера, – никто не усомнится, всякий даст. А уж особенно у кого хвостик замаран. Кто вином без патента торгует, игорный дом держит, промышляет тайной проституцией... Эх вы! Меня сам Директор департамента государственной полиции Зволянский в ванне с шампанским купал, а вы хотите, чтобы Рюлина боялась полиции!..

Полицеймейстер густо кашлянул и возразил тоном строгим, но не слишком решитель-

ным и твердым: – Не все же таковы, сударыня...

Лусьева злобно засмеялась...

– Нет уж, знаете, каков поп, таков и приход. Что-то я праведников-то в сером пальто с серебряными пуговицами не много видала.

– Я не решусь отрицать... К сожалению, вы правы: этот порок распространен в нашем ведомстве, и некоторые из моих коллег и сослуживцев, действительно, обличались в потворстве торговцам живым товаром... и даже... гм... как ни грустно сказать, даже в соучастии...

– Чего там – в соучастии? – грубо рванула Лусьева. – Кому же и знать, если не вам? В Кронштадте Головачев, в Николаеве Бирилев, на чужое имя, прямо открытые публичные дома держали...

– Н-да, – подтвердил Матьё Прекрасный, играя карандашом, – это было... я читал...

– Вы мне лучше вот скажите, – настаивала Лусьева. – Ваша полиция проштрафляется часто, и тогда ее ревизуют из Петербурга. Так вот – была ли хоть одна такая ревизия, чтобы не открыла она печек и лавочек-то этих, свя-

зей и дружества между полицейскими и при-
тонами, в которых развратом торгуют? Ведь
это же главный полицейский доход. Разве
вот – игорные дома и клубы еще больше пла-
тят. Без покровительства и потворства поли-
ции, конечно, Рюлиной не просуществовать
бы и дня. Но кому же из полиции было под-
нять на нее руку, если она сыпала тысячами?
И – если бы вы знали – в карманы каких ту-
зов! Кому в охоту лишиться этакого, постоян-
ного дохода и закрыть себе этакую верную
кассу страховательную против черного дня?
Проворуется туз полицейский, надо попол-
нить растрату, – к кому бежит за деньгами? К
«генеральше»! Отдали полицейского под суд,
грозит ему предварительное заключение, сле-
дователь требует залог, – опять Рюлина выру-
чает, либо Буластиха, либо Перхунова, либо
Юдифь... Неправда, что ли?

* * *

– Не то чтобы неправда, – слабо отбивался
угрюмый полицеймейстер, – но уж слишком
вы обобщаете. Конечно, дружество бывает.
Даже часто. Но ведь подобные дружества
весьма непрочны, – до первой ссоры-с... И то-

Гда...

– Что же тогда? Все переплетено в неразрывность, в круговую поруку. Топить такую «генеральшу» для полицейского значит утопить, за компанию, самого себя. И для «генеральши» тоже – подвести полицию под следствие – уж чего бы легче! – да ведь вместе и самоё себя увязишь в уголовщине так, что потом уж и не вылезть... Вы думаете, не бывало доносов? И анонимные письма посылались, и девушки некоторые, из смелых, прямо к властям обращались за защитой... Ничего! Сама же полиция и предупреждала тогда Рюлину, что, мол, – остерегись маленько! держи ухо остро!.. Ну, и выходила «генеральша», по секретному дознанию, белоснежной голубицей, а донос оказывался клеветой... А всего чаще подобные извещения прямо складывались под сукно, а то и бросались в корзину. Одна хохлушка, Галей звали, – бойкая была, – чуть-чуть не подвела нас под прокурора. Что же? Правда, пришлось-таки Полине Кондратьевне порастрясти банковые вклады свои, но зато полиция живо обернула дело вокруг пальца, и, в конце концов, следствие осталось с но-

сом, хохлушку признали нервнобольной, психопаткой, и «генеральше» же отдали на попечение...

– Жутко, поди, пришлось бедняжке? – спросил Матьё Прекрасный.

– Нет, ничего. Старуха была уж очень напугана, опасалась тиранить, чтобы не повторился скандал. Хоть и обидно ей было, а все-таки поторопилась сплавить Галю в провинцию... там она, говорят, даже замуж вышла... Вот тебе и сумасшедшая!

Голос Марьи Ивановны, когда она рассказывала о мнимом сумасшествии Гали, зазвучал каким-то неопределенным испугом, и глаза сделались странные, подозрительные, с бегающим в глубине их тревожным светом.

Полицеймейстер посмотрел на нее и подумал: «Сама-то ты, сударыня, что-то – как будто – не совсем того... не совсем в равновесии».

А Лусьева оправилась и продолжала:

– Когда полиция заинтересована в деле, то – хоть семь министров на то дело войной пойди: все останутся в дураках.

Как же! Следили ведь за ними в то время, как Галька-то пожаловалась... усиленно сле-

дить было велено. Кто вошел, кто вышел, все было известно. Ну и, в конце концов, что же могли уследить? Живет себе богатая вдова, Полина Кондратьевна Рюлина. Живет на доходы с капитала. Интимно близка к графу Иринскому, одному из богатейших и влиятельнейших людей в Петербурге. Тогда-то у госпожи Рюлиной был завтрак, обед или ужин, на котором присутствовали граф Иринский, Сморчевский, Фоббель... слава Тебе Господи! не маленькие люди! за шиворот их, так вот с бухты-барахты, ни село ни пало, не возьмешь! А у нас и куда громче и властнее гости зауряд пировали... Иногда, бывало, такое светило блеснет на горизонте нашем, что вся обомлеешь перед ним, дрожмя дрожишь от страха, уж и не знаешь, как его величать... Одна Люська у нас на этот счет была дорогой человек – бесстрашная: хоть китайского богдыхана или шаха персидского ей предоставь, – и с тем будет запанибрата!

Полицеймейстер проворчал, все еще не сдаваясь:

– Доносы иногда залетают на великие высоты, – тогда полиции уже не до попуститель-

ства-с: каждому надо свою шкуру спасти, куда не погиб, как червь, за одно уже незнание и неслежение.

Лусьева отрицательно мотнула головой.

– Нет. Относительно Рюлиной полиция всегда осталась бы права. С какой стати было ей следить за квартирой «генеральши»? Какое может быть дело полиции до гостей в частной аристократической квартире? Ведь не политикой занимались. Откуда подозрения? Рюлина никогда не была на дурном замечании. Знакомства у нее – блестящие. Скандалов громких у нее не случилось. Что же полиции? Часть города, где был наш дом, – самая шикарная. Пять-шесть человек гостей – не сборище какое-нибудь, даже если бы и каждый вечер, а у нас – редко больше двух раз в неделю, а чаще – один раз. Журфиксы тоже у всех бывают: не на что полиции обратить внимание, хотя бы и несколько карет у подъезда... Да и говорю вам: не такие люди нас посещали, чтобы очень бояться полиции. Наоборот: пред большинством наших гостей полицию лихорадка била.

– Ну, если бы, – вмешался Матьё Прекрас-

ный, – если бы случилось все-таки нечто, – хотя, по-вашему, и невозможное? Вообразите себе счастливо попавший донос, который возымел действие с быстротой молнии, – местная полиция не успела ни слова шепнуть вашей Рюлиной, потому что сама попалась врасплох, – и производится внезапная облава? Ведь в таких случаях даже принято употреблять в дело полицию не местную, которая может быть заинтересована или куплена, но – нарочно берут – чужую, командированную из далеких окраинных районов.

Лусьева с уверенностью возразила:

– Ничего не нашли бы. Разве что – перевернуть вверх дном весь дом, разобрать несколько перегородок, ободрать обои, сломать две-три стены. Эта комната, – гобеленовая, – где мы давали представления, была настолько хорошо замаскирована, что мы сами, девушки, – без Полины Кондратьевны и Адели, – днем не находили в нее входа...

– А пресловутые картины на стенах?

– Они висели в другой части дома: то была совсем особая квартира, снятая на чужое имя... Наш дом был небольшой, трехэтажный,

всего в восемь квартир. И все они были заняты Рюлиной на разные имена, и во всех жили подставные хозяева... тот же Ремешко, например, факторша одна из светских, вообще господа и госпожи в таком роде... На имя же самой генеральши было записано только небольшое помещение нижнего этажа с окнами во двор, – очень простенькое, небогатое: обыскивайте его, сколько хотите! Там она принимала людей, которые приходили к ней не по торговле, и незачем им было видеть верха... Мой отец, например, был очень удивлен, когда побывал с визитом у Рюлиной. «Что же ты, Маша, говорила, будто Полина Кондратьевна уж очень хорошо живет? Ничего особенного, обыкновенная самая обстановка, видать, что женщина не бедная, но деньгами вокруг себя на роскошь не швыряет».

– Однако, сколько видно, она рисковала огромными расходами?

– Да. Я знаю наверное, что эти восемь квартир стоили ей тринадцать тысяч рублей в год, и, если бы домохозяин набавил вдвое, пришлось бы заплатить. Хозяйкой той квартиры, где давались «живые картины», считалась

старушка, дальняя родственница Адели... даже и не помню уже, как ее звали!.. Я долго – до тех самых пор, пока не поселилась у Рюлиной совсем, принимала ее за экономку какую-нибудь или, как говорится, «чуланную приживалку»: хрюзьба, из ума выжившая!.. Вот ей бы и пришлось отвечать в первую голову, если бы случился донос и обыск. Тоже очень хорошее жалованье имела.

Глава 10

Захваченная рюлинской мышеловкой, Маша Лусьева утонула в мутном омуте, который со дня на день все крепче сковывал ее ноги втягивающей вглубь тиной. По возвращении из путешествия со «стальным королем», ее телом стали торговать уже систематически, как товаром, дорого таксированным, но в предложении по спросу. На беду Маши, в недрах особняка произошла некоторая бурная революция. Из кабалы у генеральши вырвалась на волю, с большим для Рюлиной ущербом и на этот раз, в самом деле, не без великокняжеского участия, козырная дама колоды, та самая Юлия Заренко, о которой Адель когда-то рассказывала Маше, что она разыгрывает из себя Фрину и так слывет в городе. Маше пришлось занять ее место и, таким образом, повиситься как бы в примадонны рюлинского персонала.

Специальностью «генеральши» была торговля исключительно «порядочными» женщинами хорошей репутации, стоящими вне подозрений в продажности. Главным орудием

ем вовлечения их в разврат являлся систематический шантаж, – разнообразный, вкрадчивый, повелительный, беспощадный. Агентов, агенток, факторш, «ходебщиц», собственных сыщиков и сыщиц имелась в распоряжении Рюлиной очень изрядная армия, – и дорогая. Были у нее слуги на постоянном жаловании, были на сдельной плате. Одни жертвы ловились на любовь, на обманы обещанием жениться, другие затягивались в тенета деньгами, кредитом, векселями, третьи порабощались каким-либо уголовным секретом, четвертые, наконец, просто приводились к убеждению, что, при условии мертвой тайны, которую обещала им, и действительно сохраняла Полина Кондратьевна, ремесло продажной женщины нетрудно и доходно. К таким принадлежала Жозя. Но их в рюлинском гареме было меньшинство, и «генеральша» не ценила их высоко.

– Подобные особы слишком легко перескакивают в откровенные кокотки. А мне кокотка – ни к чему: она только цену сбивает и моих компрометирует. Я с кокотками рук мартать не хочу: я работаю порядочным товаром.

Старая ведьма была положительно гениальна по умению создавать «порядочные» обстановки и условия даже для самого шального, разнузданно-продажного разврата: угостить и утешить клиента, и оберечь свою рабыню.

Уж у меня этого быть не может, как у других, – гордилась она, – чтобы муж жену сюрпризом встретил или знакомый знакомую опознал. Никаких дурацких альбомов и смотрин на удачу! Я все заранее в расчет принимаю. Мне о каждой моей и о всяком клиенте всегда вся подноготная до последней поршинки известна.

Всего в кабале у нее было от пятнадцати до двадцати женщин, рассеянных в разных концах Петербурга и рассыпанных по разным общественным слоям, начиная снизу, – сбитыми Питером с толка деревенскими девками, вроде вот этой песенницы без голоса, а плясуньи без грации, которую прихоть столичного разврата возлюбила под именем «горничной Люськи», – и, кончая вверху, – превосходительной супругой очень видного чиновника, известного своей неподкупной честностью и

бедного не по месту, которое он занимал. Супруга очень любила мужа, имела на него большое влияние, но аристидовых правил его не разделяла и тайком побирала взятки, паче всего на свете трепеща, что муж когда-нибудь и как-нибудь о том прослышит. На этом именно и поймала ее одна из доверенных факторш Рюлиной. Чиновнице дали крупную взятку за дело, о котором знали заранее наверное, что она будет бессильна его провести; затем выждали, когда она профинтит деньги и окажется без гроша, – и тут-то приступили: либо подай немедленно всю сумму, либо будем жаловаться мужу. Перетрусившая дама заметалась по Петербургу в поисках кредита и тотчас же нашла его: благотворительная рука другой факторши направила ее к Полине Кондратьевне, а та уже сумела окружить рыбку со всех сторон своей крепкой, шелковой сетью. С тех пор чиновница, – вот уже который год, – получает время от времени от Рюлиной любезно-условные предписания и в ответ на них, не смея и пикнуть против, садится в карету и скачет, куда велено, с такой исполнительностью, как Ольга, Жозя, Люция и Маша.

Видную и статную ярославку Люцию и впрямь на Никольском рынке подхватила одна из агентш Рюлиной ровно через двенадцать часов после того, как девушка прибыла в Питер на заработки, в стае товаров «аравушек» из далекого Пошехонского захолустья. В чумазой, еще не опомнившейся от железнодорожной тряски и уже ошалевшей от столичного шума и толпы шестнадцатилетней девчонке, неуклюжей до того, что больше походила на медведицу в платье, чем на женщину, зоркие глаза опытной сводни угадали скрытую своеобразную красоту.

Отправленная нищей семьей в Питер, Лушка Куцулупова, подобно другим «белохребетницам» (такой кличкой дразнят этих весенних странниц, по белым мешкам, которые они несут за плечами), не мечтала найти в столице что-либо лучше поденщицы на черную работу по огородам. Вместо того, к своему изумлению и восторгу, неожиданно очутилась прислугой в уютной вдовьей квартирке на Петербургской стороне у ласковой хозяйки, которая принялась баловать ее, словно

дочь родную. Вымыла, вычесала, вычистила, выгладила, принарядила и повезла на смотрины к Адели и Полине Кондратьевне. Те одобрили товар и приказали дрессировать и шлифовать девку дальше.

В какие-нибудь два месяца из тощей, загорелой, черноногой деревенской навозницы выработалась белорукая, белолицая, пышная девица, настолько привлекательная в наколке и переднике столичной франтихи-горничной, что Полина Кондратьевна как увидела Лушку в этом одеянии, так сию же минуту и прикомандировала к своей особе:

– Замечательно удачно! Лучше быть нельзя. Как раз то, что надо!. И Фоббель влюбится, и Сморчевский растает, и Панамидзе с ума сойдет.

И вот вошла Люция (уже не Лушка) в ласковый вертеп на Сергиевской якобы служанкой, блаженно недоумевая, что это за удивительный город такой этот Питер? Ежели в нем подобное золотое житье горничных, то каково же бриллиантово живетя госпожам? Ела, пила, франтила, труда почти никакого, развлечений – сколько хочешь. Едет Адель в

театр, кататься на Острова, выходит на прогулку, – Люцию берет с собой провожатой. Не житье, а масленица!

Восхищенная, переполненная признательностью, девушка смотрела на своих благодетельниц, Адель с Полиной Кондратьевной, как на вочеловеченные божества какие-то, всемогущие в беспредельной доброте, непогрешимые в беспредельной мудрости. Весь деревенский смысл и пошехонские правила перевернулись в ее одурманенном умишке вверх дном. О темной далекой семье, о тяжком черном труде вспомнила с ужасом и стыдом: как могла терпеть – губить себя в такой низости? А в госпож уверовала слепо и приковалась к ним собачьей преданностью, без рассуждения. Что Полина Кондратьевна с Аделью велят, это, значит, хорошо, что запрещают, – дурно. Делай, что приказывают; спорить, возражать – ты против них умом не вышла.

Доведенную до того градуса восторженно-го повиновенья, что велят убить – не задумавшись, убьет, велят с крыши прыгнуть – прыгнет, ее, с величайшей легкостью, продали ка-

кому-то наезжему нефтянику-армянину. И подвели так ловко, что Лушка-Люция и винить хозяйшек не могла в своем падении: вышло, будто сама сдурила – отдалась в подпитии.

Это приключение смутило было Люцию, она струсила: «Пропала теперь моя головушка!» Однако была уже достаточно развращена городом, чтобы решить, что снявши голову по волосам не плачут, и, лишь бы генеральша с Аделью на нее не гневались, а то – жила без греха, проживу и в грехе. Когда же из тысячи рублей, заплаченных армянином за Лушкину невинность, щедрая генеральша отсыпала красавице целую сотенную бумажку для отсылки родителям в деревню, девка сразу утерла недолгие слезы. Этого ей и во снах не снилось, чтобы можно было так легко добывать такие деньги.

К тому же и жизнь ее после падения, чем бы ухудшиться и омрачиться, изменилась еще к лучшему. Теперь уже только слава осталась, будто она горничная: Полина Кондратьевна с Аделью приказывают держать кокетство такой модой. А, на самом-то деле,

никакого различия с прочими рюлинскими дамами и барышнями: кто ей «вы» тем и она «вы», кто ей «ты», получай и от-нее «ты»... Она уже очень хорошо понимала, что хозяйки дорожат ею гораздо больше, чем многими из своих благородных и образованных кабальниц, и слепая благодарность, и преданность ее к негодяйкам, обратившим в товар ее прекрасное тело, не уменьшалась, но росла. С живыми картинами ее совесть очень легко примирило то обстоятельство, что на первых порах, пока не привыкла, с ней вместе выступала Адель, а генеральша уже всене-пременно сидела зрительницей и восхищалась. Ну, раз Адели не стыдно, то чего же ей-то, Люции-Лушке, стыдиться? Быстро вошла в колею!

Когда Марья Ивановна попала в кабалу к генеральше, Люция служила Рюлиной уже пятый год и, после Адели, была в страшном доме наиболее доверенным лицом. И, при всем своем природном добродушии и веселье, может быть, самым опасным – по бессознательной готовности и привычке быть машиною, движимой по заводу ее обожаемыми хо-

зьянками. Марья Ивановна была с Люцией дружна и хороша, и, однако, знала, что, если Полина Кондратьевна завтра прикажет этой Люции избить ее до полусмерти, девка не поморщится, изобьет, да еще и с нотациями, с руганью: «Не серди ангела-генеральшу!»

Силищи она была непомерной и совершенно избавляла Рюлину от неприятной необходимости держать в комнатах мужскую прислугу, которая, в случае какого-либо скандала, могла бы сыграть роль вышибал. Но скандал в особняке на Сергиевской был делом редким, почти небывалым. Во-первых, не такая публика посещала генеральшин гарем, чтобы доводить свое безобразие до гласного скандала. А во-вторых, уж если она принималась безобразничать, то платила за это удовольствие столь огромные деньги, что генеральша с Аделью, бровью не моргнув, наблюдали выходки, за которые любая хозяйка рублевого публичного дома приказала бы вышибалам выбросить гостя на улицу.

Зато сама-то Люция, как скоро напивалась, – а приключалось это часто, потому что проклятый дом разбудил в девке мирно спав-

ший в крови ее наследственный мужицкий алкоголизм многих поколений, – становилась она на час-другой хуже всякого уличного буяна, и, покуда не проспится, лучше к ней и не подходи: взбесившийся слон какой-то!

А назавтра с ужасом вспоминает, чего она натворила и наговорила, плачет, просит прощения, валяется в ногах, с покорностью принимает брань и карательные генеральшины оплеухи. Пьянству своему Люция и сама была не рада и не раз умоляла Рюлину:

– Ваше превосходительство, да запретите мне вовсе пить. Я знаю, что, ежели вы мне запретите, я вина в рот не возьму.

Но запрещать для Рюлиной было не выгодно. Главным образом, из-за доходнейшего клиента, капиталиста-промышленника Фоббея. Этот угрюмый швед, горький пьяница и, – черт его знает, то ли он был садист, то ли мазохист, – предпочитал Люцию и Ольгу Брусакову всем остальным «рюлинским», как единственных, способных без плутовства «выдержать его марку». Ради него, главным образом, и терпела еще генеральша Ольгу Брусакову, – иначе давно спустила бы ее с рук

как подержанный товар, уже неприличный для первоклассной рюлинской фирмы.

В своем охотничьем домике за Лахтой Фоббель, вдвоем с Люцией или Ольгой либо втроем с обеими, пропадал иногда по несколько суток. Как проводились там дни и ночи, женщины не любили откровенничать даже перед подругами. Но за них красноречиво вопияли синяки и царапины, испещрявшие тела их. Впрочем, справедливость требует добавить, что и очень красивый, апостольски-бородатый лик Фоббеля, назавтра после лахтинских ночей, обычно забавлял питерский деловой мирок либо плохо покрашенным фонарем под глазом, либо расплюснутым в лепешку носом. Швед находил эти маленькие неприятности нисколько не мешающими большому удовольствию. В числе брелоков, болтавшихся на его часовой цепочке, он носил, в драгоценной оправе, свой собственный зуб, выбитый какою-то лютой негритянкой в Сан-Доминго. Как же было лишить такого зверя такой зверихи, как Люция?

* * *

Очень заметным, почти господствующим

элементом в персонале рюлинских кабальниц были «подвальные барышни»: тип, мало знакомый людям, чуждым былого петербургского быта.

«Подвальные барышни» – это девье население катакомб, простирающихся под колоссальными зданиями разных правительственных ведомств и учреждений: дочери, сестры, племянницы швейцаров, курьеров, департаментских сторожей и тому подобной служилой мелочи.

Женская иерархия служилого Петербурга делилась на три нисходящие категории: 1) «наши министерские дамы» (начиная супругой министра и кончая женой начальника отделения, включительно); 2) «наши чиновницы» и 3) жены (и, конечно, дочери и сестры) старших служащих. Эта третья – уже низшая каста, но все-таки, какая ни есть, еще «каста». Подвальные же барышни развивались уже вне этой иерархии, во внекастовой бездне. Были даже не «прислугой ведомства», но лишь чем-то, семейно приписанным и числящимся «при» прислуге.

Служба мужчин, ютившихся, подобно гно-

мам, в казенных подвалах, была хорошая: довольно легкая и обязательно чистая. Она спокойно протекала в холодных, просторных, светлых залах министерств, в серо-голубых департаментских коридорах, на величественных парадных лестницах и подъездах. От людей, к ней допускаемых, требовалась, прежде всего, некоторая декоративность: внушительная, бравая наружность, опрятность, щеголеватость, – дабы человек видом своим начальство от себя не отвращал, а на публику не наводил уныния. Поэтому смело можно сказать, что население подземного Петербурга, по крайней мере, мужское, было из красивейших физически во всей столице и, конечно, производило таковую же породу – потомство. Недаром же, в самом деле, подвалы поставляли веселящемуся городу столько жриц демимонда и красивых балетных фей.

Декоративная служба создавала и декоративный семейный быт. Недавний мужик или отставной солдат – подвальный обитатель – переставал быть мужиком или отставным солдатом, как скоро удостаивался швейцарской ливреи или курьерского мундира с галу-

ном ведомства. Он делался уже, так сказать, избранным и превозвышенным из всех мужиков и отставных солдат, сам себя в таком великолепии видел и мыслил, сам о себе так понимал. И того же высокого мнения о нем была семья, им кормимая: «Авдей Трифонович – не простой человек, не «вольный», он казенный. У него мундир, у него жалованье от казны, у него хоть угол, да казенная фатера. Ничего этого у простых и вольных не бывает, – стало быть, не простые и мы. Мы выше. Не господа, но почти как господа. А захотим натужиться, выжать из сундука деньги, – так будем и совсем, как есть, на господскую статью».

И тужились.

Дочери Евы одинаковы на всех ступенях общества, во всяком ранге и состоянии. Мода и подражание – законы, управляющие женским миром равно в шалашном стане папуасов и в раззолоченных дворцах европейских столиц. Министерские дамы копируют жен и дочерей министров, наши чиновницы – министерских дам, жены служащих – наших чиновниц и так далее, со ступеньки на ступень-

ку. Этот закон последовательности в подражании, дойдя до подвальной барышни, создавал и для нее искушение, повелительное до необходимости – «подходить под помощник-эксекуторову дочь». И так как помощник-эксекуторова дочь хоть и плохенькая, бедненькая, а все же «барышня»: училась в гимназии, играла на фортепиано, бывала в театрах и имела вечеринки на неделе, вроде журфиксов, «по причине женихов», – то и подвал тянулся из последних своих сил и средств, чтобы доставить своим барышням какие-нибудь суррогаты помощник-эксекуторских радостей. Двухголосный вой жены и дочери: ужли пропадать в необразовании? – весьма скоро заставлял самого неподатливого вахтера или швейцара раскупорить заветную небогатую кубышку. Да подвальные отцы и сами любили баловать свою молодежь и вести ее на господскую ногу.

Любопытно, что эти слуги казенных учреждений не любили и презирали слуг частного найма, избегали якшаться с «лакусами» и считали себя несравненно выше их как «людей продажных». Став слугой казенного учре-

ждения, сторож или швейцар вполне уверен был, что он «в люди вышел», а детям его надо выходить уж в «господа».

В довоенном Петербурге многие воспитательные приюты, а из городских училищ некоторые, были поставлены так хорошо, что в последние десятилетия XIX века им стали доверять подготовительное догимназическое образование детей своих даже многие зажиточные и вполне интеллигентные семьи. Казалось бы странным: как, наряду с этими обстоятельными и хорошими школами, могли еще существовать, – притом, не прозябая, но процветая, – разные шарлатанские «пансионы с музыкой», сравнительно даже недешевые? Кому они были нужны? Кто в них учился? Содержательница одного такого пансиона, дама необычайного ума и столь же необычайной бессовестности, отвечала на этот едкий вопрос с холодным цинизмом:

– Нужны всем, кому надо наменять на грош пятаков.

– То есть?

– Невеждам, которые хотят купить способ-

ность казаться образованными в течение пятиминутного разговора. «Хамкам», которые желают, чтобы их хоть на пять минут принимали за «интеллигенток».

«Подвальная барышня» была главной и постоянной полицей-кормилицей таких обманных муштровщиц-педагогичек. Подите, бывало, в какой-нибудь петербургский клубный маскарад, – средней руки, из приличных. Если к вам подходила маска с довольно складной речью, любительница распространиться о чувствах языком переводного бульварного романа, охотница ввертывать в разговор заученные французские словечки с русским, но не совершенно скверным произношением и пересыпать громкие фразы стишками, с обязательным примечанием в скобках: «как сказал Бальмонт», «как, помните, у Брюсова», – вы могли держать верное пари, что вас интригует «подвальная барышня», недавно покинувшая «пансион с музыкой» и не успевшая позабыть его недолгую и нехитрую муштру. А для поверки стоило прислушаться: как только этакая маска разгорячится, увлекаясь своим умным красноречием, то

и пойдут у нее скользить с языка предательские «тротувар», «ропертуар», «еронавт», «велисапед» и даже «фрыштик» – этот ужасный двухсотлетний любимец петербургских полунизов.

Журфиксы – помощник экзекуторовой дочки – для подвальной барышни были недостижимы по дрянности квартир и патриархальной старозаветности родителей. Но их заменяли Летний и Таврический сады, Александровский сквер, гулянья Михайловского манежа и Народного дома, позже – кинематографы. Была подвальная барышня, как голь, на выдумки хитра: знакомилась и дружила с хористками, статистками, швеями на театре, горничными актрис. А потому, поискать, то у нее всегда найдется в сумочке театральная контрамарка: она, что называется, легла и встала в цирке и кинематографе; она торчала, как своя, за кулисами, была вхожа завсегда-тайницей в плохенькие клубы; капельдинеры контрабандно пропускали ее на свободные места:

– Только для вас-с, потому как знаю ваше упоение к искусству-с.

Она слышала Собинова, Шаляпина, обожала Северского, Вертинского, над ее кроватью были пришпилены фотографические карточки Насти Вяльцевой и «Асточки» Нильсен. На вечеринках у подруг она танцевала танго и кэк-уок. Следила по газетам, какие вышли в свет новые модные танцы, какие предвидятся сенсационные фильмы, а также – кто в «Петербургской газете» назван «о азар» из столичных красавиц на последнем посольском балу и в каких эти озорные дамы были туалетах.

Шаляпин отпел, танго оттанцовано... Домой! Короткая, волшебная сказка жизни кончена; ждет скучная, скверная, скудная правда. Подвальную барышню подвозят, – бывает, что на заводском рысаке, а то и, подымай выше, на ролсройсе, – к громадному корпусу «ведомства». Стыдясь перед провожатыми обнаружить свое плебейское жильё, она выходит на углу, бежит-ныряет в ворота, – и вот он вновь, родимый подвал!

О как он душен, грязен, тесен! как противно храпят за перегородками соседи! как тош-

ны отголоски интимной семейности, наполняющие эти вековые, промозглые от дыхания плебейских поколений своды!..

Лежит подвальная барышня на своей жесткой и не слишком-то опрятной постели, лежит бессонная, нервная, возбужденная, смотрит во тьму лихорадочными глазами, думает:

– Да, разве это жизнь?!

– Хрр... хрр... хрр...

– Марья... хрр... Маша... супруга... Машенька...

– Хрр... хрр... хрр...

– Жизнь-то там, откуда я сейчас пришла, а это – черт знает что! Не люди – свиньи... Как бишь Собинов пел-то? Да!

В блаженстве потонули... В блаженстве по-то-ну-ли...

– Опять подлецы грязным бельем весь коридор завалили? Продохнуть нечем...

– Хрр... хрр... хрр...

– Супруга... Машенька...

– Господи! Да неужели же на всю жизнь здесь? Нет, довольно! Нет больше никакой моей возможности! Уйду я от вас, свиней, уй-

ду, уйду, уйду...

Куда? Да не все ли равно? Лишь бы туда, где нет храпящих, бормочущих, целующихся с женами соседей, не режут благим ночным матом золотушные ребятишки, не пахнет мокрыми детскими пеленками и устоявшимися щами... Туда, где сияет электричество, гремит оркестр, ходят нарядные дамы, называемые «о азар», и мужчины в смокингах с гвоздикой или орхидеей в петлице... Туда, где, если не сам Собинов, то, по крайней мере, граммофон, напетый Собиновым, победоносно поет о двух счастливицах, для которых – звезды, море и весь мир:

*В блаженстве потонули,
В блаж-жен-стве по-т-то-нууу-
уу-улли!..*

И вот тут-то, откуда ни возьмись, выныривает перед подвальной барышней добрый помощник, блудный бес Асмодей, во образе ли ласковой сводки, во образе ли какой-нибудь развеселой подружки, вроде рюлинской Жози, во образе ли подлеца-«пробочника» Ремешки, – и берет ее за руку, играет соблазняя-

ющими глазами манит:

– Пойдем!..

В петербургской проституции сравнительно мало женщин местного происхождения. Столичный разврат обслуживается, по преимуществу, провинцией. Но из коренных проституткок-петербуржанок добрую треть формировали бывшие подвальные барышни: ходябщицы, сводни, маклерши и факторши домов свиданий видели в этих «полуинтеллигентках» самую легкую и хлебную свою добычу. Они подготовлялись к падению и жаждой лучшего быта, и преждевременным половым опытом, которым поучал их тесный уют подвала, где семью от семьи отделяли перегородки, слишком тонкие и материально, и морально.

– Я, – угрюмо признавалась автору этой книги проститутка из бывших «подвальных барышень», – плотской секрет знаю чуть ли не от материнских сосцов, по одиннадцатому году была оцелована всеми мальчишками в корпусе, а в скором времени стали вязаться ко мне и взрослые. Мать-то, покойница, точит-точит, бывало: «Ой, Капка, берегись! ой,

держи ухо востро!» Да... тело-то убережь до поры до времени, при уме, возможно: я себя, похвалюсь, содержала в строгости до двадцати лет... А душу как убережь, чтобы – что слышу, не знала, что вижу, не понимала?.. А ходебщицы начали меня подстерегать, можно сказать, с ангельского младенческого возраста, потому что видели, что я обещаю вырасти красива. За всеми нами, которые хорошенькие в детстве, эти окаянные ведьмы имеют свое наблюдение. По пяти, по шести лет ждут, кружат-увиваются коршуньем, выжидают своего термину...

Но далеко не одни глупые дикарки, вроде Люции, и озлобленные полуинтеллигентки из подвалов легко сбивались на торный путь убеждения, что в тайной проституции, направляемой искусной рукой такой благодетельницы, как генеральша Рюлина, открывается для женщины отнюдь не позор, а, напротив, наилегчайшая возможность жить в сытости и довольстве, нарядною, беззаботною, и, при счастье, даже сделать фортуны и карьеру, пленив какого-нибудь туза с капиталом и

видным общественным положением, который, – чем черт не шутит, возьмет, да и плюнет на предрассудки, женится. Адель хвалилась, – и не лгала, – называя по именам балерин, актрис французского театра, светских авантюристок, нашедших свое счастье через особняк на Сергиевской: а теперь они богатые и могущественные любовницы, а иные и законные жены, банкиров, адвокатов и докторов с огромной практикою, высокопоставленных чиновников... министров... великих князей!

Маша Лусьева уже не застала в числе рюлинских кабальниц главную гордость генеральши, знаменитую, почти легендарную красавицу из красавиц, златокудрую Женю Мюнхенову. Она-то, впрочем, была тоже без рода, без племени. Загадочное происхождение ее так и осталось темным, хотя в короткий период ее петербургской славы и преуспения – до возвышения в «невенчаные великие княгини» включительно – к выяснению ее генеалогии прилагали старание и друзья, и того пуще, враги. Дознано было только вот что.

Глава 11

В 1863 году, совсем накануне польского повстанья, в глухой литовской деревне с названием, обладающим столькими согласными, что и поляки им давятся, родилось в крестьянской хате внебрачное дитя, девочка, и, по желанию матери, было наречено Евгенией: в честь местной владелицы-магнатки, графини Евгении-Марии-Алоизии-Августы и пр., и пр. Щавской. Мать новорожденной служила графине камеристкой, слыла любимицей госпожи и пользовалась ее доверенностью. Но беззаконная беременность сей девицы, к тому же немолодой уже, возмутила целомудренную графиню. Преступной Анельке, лишенной милостей госпожи, пришлось покинуть замок и выселиться на деревню, в родную семью, от которой она, было, давно отстала, так как уже несколько лет сопровождала графиню в путешествиях по Европе.

Казалось бы, что возвращение заблудшей овцы в родной хлев, в таких щекотливых обстоятельствах, не обещало ей благосклонного приема. Однако, к изумлению соседей, ви-

новатая Анелька была встречена в семье с распростертыми объятиями. Беззаконную роженицу не только не обидели грубым словом, не говоря уже – побоями, но окружили таким бережным и учтивым уходом, какого никогда не видали, – и думать о нем не умели, – законно замужние сестры и жены братьев опальной покоювки.

Причин тому, обсуждая чересчур уж христианскую благость Хрщей, соседи находили три. Во-первых, Анелька, чуть не двадцать лет состоя при графине, скопила капиталец. И, действительно, с ее вселением в семью, Хрщи зажили куда лучше прежнего, – прямо так, панками. Во-вторых, отцом ожидаемого Анелькой ребенка подозревался управляющий лесными дачами графини, форстмейстер Александр Вальтер, родом швед, молодой и в высшей степени приличный господин, тоже фаворит госпожи, особенно после того, как, под ее влиянием, он перешел из лютеранского вероисповедания в католическое. В-третьих, все были уверены, что гнев графини на Анельку больше показной, приличия ради, и, стало быть, недолгий, и вскоре Анелька опять

будет в милости и силе.

Действительно, разлука с любимой служанкой и отсутствие ее привычного ухода так разогорчили впечатлительную графиню, что она даже заболела, впала в хандру и несколько недель ни сама из замка не выезжала, ни к себе не принимала никого, кроме местного ксендза, своего духовника. Об изгнанной же Анельке и заочно заботилась. Настолько, что к сроку родов выписала для нее из Вильна ученую акушерку. К большому собственному благополучию, потому что Анелька-то родила с величайшей легкостью, едва повизжав час-другой, но графиню, слишком переволновавшуюся за нее, схватила в ту ночь жесточайшая холерина, и, за отсутствием врача, акушерке, вызвавшейся его заменить, пришлось возиться с больной пани гораздо больше, чем со здоровенной родильницей-служанкой.

Затем соседские предвидения оправдались. Прощенная Анелька возвратилась в замок и стала к госпоже еще ближе прежнего. Несколько недель спустя, графиня опять отбыла за границу, увозя с собой и верную слу-

жанку. Дочка Анельки осталась на попечении Хрщей.

Матери и дочери не суждено было когда-либо увидеться. Разразившееся повстание навсегда закрыло графине Щавской возврат на родину. Она была сильно компрометирована. Ее имения Муравьев конфисковал, двух близких родственников повесил, нескольких сослал в Сибирь и дальние русские губернии. Куда-то в неведомую глушь препровожден был и ксендз, духовник графини. Швед Александр Вальтер замешался в повстанье, командовал бандой и, в стычке с казаками, получил смертельную пулю. А незадолго до Франко-Прусской войны парижские газеты возвестили о скоропостижной кончине графини Евгении-Марии-Алоизии-Августы и пр., и пр. Щавской, которой красота и любезность чаровали-де столицу мира с лишком сорок лет, возблистав еще при дворе Карла X и благополучно досияв в неувядаемости... до конца Второй Империи! Апоплексический удар убрал эту прочную оболъстительницу с сего света на тот в возрасте шестидесяти трех лет. Неразлучная слуга и спутница ее, Анелька,

умерла несколько раньше.

Дочка, покинутая Анелькой в деревне с неудобнопроизносимым названием, росла, таким образом, круглой сиротой. По великодушному распоряжению графини, панская контора платила Хрщам за содержание девочки довольно щедро – для деревни. Но после повстания, с конфискацией имения выдачи прекратились. Вместе с тем, конечно, прекратилось и бережное отношение Хрщей к девочке. Стала она лишним ртом в семье, обузой.

Пяти лет Женя гусей пасет, восьми – скотину. Детство босое, в лохмотьях, впроголодь, грубое детство. Любопытно, однако: в суровой среде, где так тяжелы карающие руки и так легко «сдирают шкуру» с ребенка за малейшую провинность, Женю никогда не били. Этому впоследствии она сама дивилась, как чуду. Видно, было что-то в этом ребенке, что останавливало поднятую на него сердитую руку. И еще: оборванная чуть не до наготы, босоногая, всегда с животными – гораздо больше, чем с людьми, – Женя все-таки ухитрялась как-то оставаться чистой телом и, сре-

ди вшивых ровесников и ровесниц, одна не знала паразитов ни в волосах, ни в одежде.

– Ишь, шведское отродье! – завистливо бранила Женю одна из теток, особенно ее не любившая, – и вошь-то ее не хочет, не берет!

В том, что Женя «шведское отродье», с возрастом ее, не стало уже никакого сомнения. С ее лица гордо сияли прекрасные синие глаза Александра Вальтера, его золотые кудри вились над ее высоким лбом, – та же мощная стройность тела, та же смелая, легкая походка, та же благородная осанка, та же благосклонность взгляда и ласковость улыбки, за которые по покойному шведу вздыхали едва ли не все паненки в окoliце верст на пятьдесят. Но напрасно. До своего грехопадения с Анелькой Вальтер жил среди соблазнительных литовских и польских красавиц истинно Иосифом библейским: ни единого романа, – даже в сплетнях! И немало удивлялись в околотке тому, что этот серьезный, меланхолический даже, красавец, брезгливо-чистый, слово честно верующий монах, сделал столь странный выбор из числа усердно гонявшихся за ним, как невест, чаявших жениха, так

жен Пентефрия, чаявших любовника: оскандалился с покоювкой, – притом, нисколько не красивой и уже далеко за тридцать, пожалуй, и во все сорок лет!

И – пусть Женя так выразительно ярко уродилась «вся в отца»! Однако должна же была бы и мать хоть сколько-нибудь отразиться в дочери. Между тем в ангельском личике и изящной фигурке Жени ни одна черта не обличала наследства от дебелой, смуглой, курносой Анельки, с ее татарскими глазами и густым конским хвостом, черным и жестким, в качестве волос. Если уж кого напоминали маленькие ручки и ножки девочки и вся ее точеная скульптурность, то никак не тяжело-весную Анельку, но, по удивительной игре природы, ее госпожу и благодетельницу, великолепную графиню Евгению-Марию-Алоизию-Августу и пр. Щавскую.

Отсюда взялась легенда, будто отцом-то Жени, – конечно, так, – был Александр Вальтер, но в матерях – Анелька только приняла грех на себя, а, на самом деле, девочке дала жизнь увлекшаяся красавцем-шведом графиня. Анелька же служила только ширмой для

тайной связи, которую ее сиятельство, быв сластолюбива, но надменна, почитала для себя унижительной. Уверяли, будто и виленская ученая акушерка проговорила однажды, что наилучший свой гонорар за практику она получила в некоем захолустном графском замке за то, что помогла горничной графини разрешиться от бремени... подушкой!

Кроме некоторого сходства Жени с графиней, за легенду говорили также и нравы Евгении-Марии-Алоизии-Августы и пр.

Сиятельная таки повеселилась на своем веку. Дважды была замужем, – в третий брак ей не позволили вступить взрослые сыновья и дочери, сами уже семейные и детные. Смолodu графиня была очень хороша собой, и парижская светская хроника немало внимания посвящала ее амурам. Героями их слыли интереснейшие люди Парижа, – то дипломат, то поэт, то политический трибун, – в эпохи Карла X, Луи Филиппа и Луи Наполеона. Остатки замечательной красоты графиня сохранила и в пожилые годы, хотя сильно располневшая, но с свежим лицом под густым и волнистым серебром блестяще-белых волос, – рано посе-

дев, она их не красила из своеобразного кокетства, – и с весьма достаточным запасом молодого огня в ярких темных глазах.

Словом, в том, что эта отцветшая победительница сердец еще не хотела считать свою женскую жизнь конченной и, с деревенской скуки, свела романчик с красивым лесничим, не было ничего невероятного. Но в год рождения Жени графине стукнуло 56 лет! Родить в этом возрасте почти невероятное чудо для женщины... разве, что она – библейская Сарра, да ведь и для той потребовалось сверхъестественное вмешательство! А потому легенду меньшинство принимало, большинство отвергало.

Легенда принесла Жене то счастье или несчастье, что ею заинтересовался вновь назначенный в парохию молодой ксендз. Нашел девочку похожей на златокудрого ангела, вскудлаченного ветром, куда слетал с неба. Жене шел двенадцатый год, а грамоты она еще не знала. Поиспытав разговором, ксендз нашел ее одаренной умственно почти в той же мере, как красотой, и решил дать ей образование. Человек он был хороший, честный, с

самыми благими намерениями, но девочка, подрастая, все хорошела, все делалась интереснее, и, – на пятнадцатом году ее, – не выдержал ксендз искушений озлобленной безбрачием плоти: сорвался!.. По околотку загудела сплетня, кто-то донес, ксендза вызвала консистория и, после жестокой головомойки, перевела его, с эпитимьей, в другую парохию. А Женю Хрци спровадили от срама в Вильно к какой-то тамошней своей родственнице с наказом не возвращаться. Чтобы, значит, коли не сдержала себя девка, пропала, то, стало быть, судьба ее такая, но – пусть пропадает подальше, в городе, где им, развратным, вод, а от нас, деревенских, проваливай, голубка, с глаз долой, чтобы твоим духом на век не пахло!

Виленская родственница, кухарка в господском доме, встретила Женю более чем неласково, – даже не приняла ее переночевать. Девушка скиталась по незнакомому чужому городу, не зная, что с собой делать. Денег у нее было немножко, – ксендз, уезжая, успел ей сунуть, а она имела благоразумие припрятать от Хрщей, – но она была так дере-

венски наивна, робка и дика, что не посмела попроситься в гостиницу и поопасилась укрыться в корчму. Так и проходила, бесприютная и бессонная, всю короткую летнюю ночь, благо погода стояла ясная и теплая.

Поутру, у Острой Браны, пригляделась к Жене одна из богомолки и привязалась с разговором. Женя, по природе сдержанная и осторожная, о себе сообщила богомолке мало, а богомолка – ей, что пришла к Острой Бране отслужить напутственный молебен перед своим отъездом в Петербург, где ее ждет очень хорошее место у богатых польских панов, недавно перебравшихся из Вильна в столицу и теперь вызывающих к себе ее, старую свою прислугу. Рассказы словоохотливой женщины о Петербурге внушили Жене мысль поехать с нею.

– Я так сообразила, – объясняла она впоследствии, – жить мне, здесь ли, там ли, все равно не на что. Она говорит, что в Петербурге легче найти место, чем в Вильне. Так, чем проесть свои рублишки на виленских бубликах, истрачу-ка я их лучше на билет до Петербурга, – авось мне там улыбнется какое-ни-

будь счастье. Если же нет, то – бросаться ли в Вилию, бросаться ли в Неву, результат один. А, по крайней мере, перед смертью посмотрю, какой это такой есть на свете Петербург, которым так много хвалятся москаля, да и из нашего Мицкевича пан ксендз Казимеж читал мне чудесные стихи...

Богомолка охотно согласилась принять Женю в компанию и даже обещала свое покровительство – устроить ее служкой к тем же панам или в их знакомстве. Поехали. Обе – налегке: у Жени – крохотный узелок, у спутницы – никакого ручного багажа, но сундук в багажном вагоне. Женщина как будто была неплохая и искренно расположилась к Жене. Но в Пскове приключилось несчастье. Женщина вышла купить провизии, замешкалась и прибежала к вагону, когда поезд был уже в ходу, и сесть ее не пустили. Она успела бросить Жене в окно пакетик с едой, но Женины деньги и билет остались у нее. О билете контролер, по свидетельству прочих пассажиров, принял в уважение несчастный случай, и до Петербурга Женя доехала. Но на Варшавском вокзале сошла с поезда без единого гроша в

кармане, без единой знакомой души в городе и без единого русского слова на языке.

Поляк-кондуктор посоветовал ей ждать спутницу на вокзале следующими поездами из Пскова. Ждала. Поезда приходили, но спутница не являлась. Так промаялась Женя почти сутки. Наконец ее жданьем заинтересовалась буфетчица третьего класса, немножко говорившая по-польски. Узнав дело, она не захотела пугать девочку, но про себя была уверена, что ждет напрасно: наскочила деревенщина на поездную мошенницу! Видя Женю совершенно изнеможенной, добрая женщина отвела ее к себе на квартиру – выспаться, а там видно будет, что Бог даст!

– А здесь тебе торчать нечего. Псковские поезда все пришли, и новых до завтра не будет. Ты уже и так намозолила глаза жандармам: еще заберут тебя, глупую, – выпутывайся потом...

Подозрения буфетчицы были несправедливы: впоследствии дорожная спутница нашла Женю в Петербурге и возвратила ей билет и деньги. Чем составила свое собственное счастье: обрадованная Женя, уже богатая и могу-

щественная, вознаградила виленскую знакомку за доказанную честность буквально сторицей. Но покуда что вышло плохо.

Женя, с усталости и волнения, заспалась, скептическая буфетчица пожалела ее сна, находя ненужным будить ради безнадежной встречи. Который-то из утренних поездов привез виленскую женщину, но ей, опоздавшей на сутки против назначенного господами срока и с того совсем потерявшей голову, и в мысли не пришло порасспросить о Жене на вокзале. Получила второпях из багажа свой сундук, села на извозчика и укатила. И, таким образом, повисла одинокая Женя в смрадном воздухе летнего Петербурга без всякой поддержки, кроме тоненького-тоненького волосочка – симпатии, которую восчувствовала к ней жалостливая буфетчица.

А где тонко, там и рвется. Жалеть-то красавицу-«полечку» буфетчица жалела, но, разглядев, что «полечка» беременна, добродетельно смутилась, что пустила к себе «такую». Дала Жене, для успокоения своей совести, три рубля и выпроводила ее на все четыре ветри.

Женя, твердо убежденная в том, что ее виленская знакомка в Петербурге, решила искать ее таким остроумным способом:

– Она благочестивая. В Вильне служила напутственный молебен у Острой Браны. Значит, здесь непременно будет ходить в костел. Пойду и я – стану у костела и буду ждать. Если не дождусь ее самой, то, может быть, разговорюсь с какой-нибудь землячкой, которая мне поможет ее найти...

Вежливо отблагодарив буфетчицу за гостеприимство, Женя просила на прощанье указать ей дорогу к польскому костелу. Где именно польский костел, буфетчица не знала, но назвала ей главный католический храм св. Екатерины на Невском и даже так сдобрилась, что дала Жене мальчика – проводить до Невского... Впоследствии этот мальчик получил за проводы тысячу рублей!

На паперти св. Екатерины Женя знакомки не дождалась, конечно, а дождалась того, что ее арестовал было городской за прошение милостыни. Кое-кто, прислушавшись, вступился за Женю, объясняя, что, обращаясь к входящим и выходящим богомольцам, она не ми-

лостыни просит, а ищет какую-то свою родственницу... Закипел спор, стала собираться толпа. Бессловесная по-русски, Женя, с испуга, и по-польски-то заговорила скверно, сбиваясь на родной жмудский язык, которого, как назло, никто из свидетелей сцены не понимал...

– Ну, – решил околоточный, – канителиться нам некогда. Марш в участок. Там запротоколим и разберем.

Судьба Жени хотела, чтобы в это время проходила мимо храма св. Екатерины «крестница» генеральши Рюлиной и надзирательница ее особняка, Адель, тогда еще совсем молодая, не более как лет 23–25. Совершая свою обычную предобеденную прогулку по Невскому, она заметила толпу, подошла посмотреть-послушать, поразилась красотой Жени и мигом осенилась вдохновением на гениальный план. По-жмудски она не говорила, но жила в Ковне, Гродне, Сувалках и поняла Женю лучше, чем прочая публика...

– Ну вот! – радостно заговорила она по-польски, пробираясь сквозь толпу, – ты, Женя, ищешь нас, а мы сбились с ночи, ища тебя...

И продолжала по-русски – к околоточному:

– Отпустите это бедное дитя, господин офицер. Оно ни в чем не виновато и говорит чистую правду. Женщина, которую она ищет, знакомка моей крестной. Она только что приехала из Вильна и теперь мечется по Петербургу в таких же попыхах, разыскивая свою потерянную спутницу... Так что, раз недоразумение выяснено, позвольте мне взять этого младенца с собой и дальнейшую ответственность за нее принять на себя... Вот моя визитная карточка и адрес... Или, если этого мало, то – как вам угодно – проедем вместе с ней к крестной...

Но околоточный, взглянув на карточку с номером дома в лучшей части Сергиевской, видя перед собой даму, безукоризненно элегантную, хорошего аристократического тона, не изъявил никаких сомнений, а, напротив, извинился, что, по обязанности строгой службы, невольно должен был напугать заблудившуюся овечку...

И вот Женя, ошеломленная, в полном непонимании, что с ней творится, во сне она или наяву, поспешно усажена в шикарнейшую пролетку лихача и вихрем мчится, – ку-

да? не ведает! – оборвашка оборвашкою, кудлашка кудлашкою, рядом с шикарнейшей красавицей-дамой, которая представляется ее одурманенному воображению не иначе, как благодетельной феей, вовремя прилетевшей, чтобы вырвать ее из когтей злых чертей...

А не более как три года спустя, Женя обитала в собственном скорее дворце, чем доме, на Английской набережной, слыла в насмешливо-завистливой столичной сплетне невенчанной великой княгиней и растила дочку ярко выраженного романовского типа, в которой августейший родитель души не чаял. И, в льстивую ли угоду ему, по эстетическому ли, в самом деле, восторгу к красавице, большой миллионер и большой чудака, банкир Мюнхенов, вдохновенный поэт в душе и лютый аферист в своей конторе, удочерил Женю и завещал ей значительную часть своего состояния.

«Затем, – объяснял он, – что желаю увековечить свою скромную, ничем не прославленную и обреченную забвению фамилию, слив ее с твоей бессмертной красотой». Действительно, хороша была эта Женя Мюнхенова даже сверхчеловеческой какою-то, божествен-

ною, олимпийской что ли, почти страшной в обаятельной силе своей, Афродитиной красотой. Ни один портрет ее, ни один бюст не удался художникам, хотя кто только из знаменитостей последних двух десятилетий прошлого века не писал или не лепил Женю! А фотография лишала красок, обращала в мертвое тело, не впрыснутое живой водою.

Несравненность и, может быть, невоспроизводимость своей красоты Женя сама лучше всех знала. Однажды вновь прибывший в Петербург секретарь французского посольства, воображая быть любезным, спросил ее, много ли таких прекрасных женщин в России? Женя очень спокойно поправила:

– Вы, вероятно, хотели сказать – на земном шаре?

А в другой раз, в общем разговоре о красавицах Петербурга с таким же спокойствием высказалась:

– Красивых женщин в Петербурге – одна: я. Но есть две-три хорошенькие. Например, Зинаида Богарне, Мария Петина, Елена Мравина...

То есть – самые прославленные и велико-

лепные богини красоты в старом Петербурге!

В отличие со многими красавицами, Женя Мюнхенова была и умственно одарена богато на зависть. В восемнадцать, двадцать лет ее, никто, из вновь ее узнавших не хотел верить, что она еще недавно, босоногой девчонкой, пасла гусей и уток на берегах Вилии. Женя с поразительной легкостью овладела русским, французским и английским языками, много, охотно и толково читала и умела интересно поддерживать решительно всякий разговор, возникавший в её салоне. Память о ксендзе, погубителе ее девичества, оттолкнула ее от католического духовенства и церкви и сделала вольнодумкой. Но католическая наследственность и закваска сказывались в Жене чрезвычайным интересом к мистическим явлениям и учениям века. В этой области она была настоящим профессор, но нельзя сказать, чтобы из легковверных, — напротив, со спиритическим, например, движением, очень сильным в то время, она вела самую скептическую полемику.

Проблистав таким образом три или четыре зимы, Женя Мюнхенова скрылась с петер-

бургского горизонта так же внезапно, как над ним воссияла. Говорили, будто она бросила своего высочайшего почти что супруга ради какого-то офицера – даже не гвардейского, а из провинциальных армейцев. Если это и было, то, должно быть, ненадолго, потому что вскоре Женя начала мелькать то здесь, то там – за границей, одинокая, в скромных буржуазных условиях жизни и, по-видимому, очень стараясь не привлекать к себе общественного внимания. Но с ее лучезарной красотой это было мудрено: всюду тянулся блестящий след, как за ярким метеором. Наконец и того добилась, – исчезла бесследно.

Был слух, что обманула Женя надежду банкира Мюнхенова сохранить в ней фамилию свою, – вышла в Триесте замуж за богатого левантинца, красавца и авантюриста, каких мало. Но овдовела, а, по смерти мужа, которого, кажется, очень любила, замкнулась, словно в монастыре, в пустынном имении, где-то не то в Киликии, не то в Сирии, и усиленно предавалась... изучению оккультных наук!.. Дочку ее отец воспитал, под новым исхлопотанным именем, в лучшем из провинциальных ин-

СТИТУТОВ.

Глава 12

Имя Жени Мюнхеновой произносилось в особняке на Сергиевской с симпатией и уважением даже до благословения. Зато о другой подобной же удачнице, пресловутой Юлии Сергеевне Заренко, чуть-чуть было не выскочившей в морганатические супруги престарелого prince'a Gogo, вспоминали не иначе, как с проклятиями и только что не со скрежетом зубовным. Эта продувная красавица ухитрилась вырваться из рюлинских когтей, мало что не поплатившись за свободу ни единой копейкой, но еще и с генеральши содрав тридцать тысяч рублей. «А не то, – грозила, – одного моего слова prince'у достаточно, чтобы разорить всю вашу паскудную механику и расточить клиентуру».

Юлию Заренко Маша Лусьева еще успела однажды встретить у Рюлиной и даже участвовала с ней в живой картине. Юлия изображала Фрину, а Маша, Люция и какая-то смуглая Зиночка – ее рабынь. Заренко была бесспорно прекрасна, но из-под красоты в ней сквозила прожженная деловиха вроде Адели,

только еще много усовершенствованная. Маше она нисколько не понравилась. Тем более, что партнерок своих по живой картине надменная красавица трактовала так презрительно, словно они, и в самом деле, закрепощены были ей в вечное и потомственное владение...

В короткий период величия и блеска Юлии Заренко, когда она, вертя своим всемогущим prince'ом, как волчком, грабила и взятничала в двух управляемых им ведомствах, Полина Кондратьевна с Аделью – как только не иссохли в щепки, как не сбесились до водобоязни от бессильной злобы и зависти! Зато уж как же и ликовали они потом, – визжали от радости! – когда окаянное «Юлькино» счастье вдруг, нежданно-негаданно, лопнуло, как мыльный пузырь, в скандале чудовищном... небывалом! неслыханном!! Если генеральша не устроила по этому случаю фестиваля с иллюминацией особняка, то исключительно из боязни, не принял бы такую демонстрацию в насмешку на свой счет сам prince Gogo, который тем временем лежал избитый до полусмерти прежним любов-

ником Юлии, медведем весьма демократического происхождения и таковых же мускулов.

* * *

Хозяйки и приказчицы нескольких модных магазинов, мелкие дисконтеры и ростовщицы, проходимцы из биржевых зайцев, аукционных и ломбардных маклаков состояли в тесных сношениях с Рюлиной, хотя в великолепном особняке ее на Сергиевской никто из этой братии не появлялся. Для черной работы по своей купле-продаже «генеральша» имела особую квартиру – где-то в людных и толкучих улицах, кишящих мешаным народом, не то у Чернышева моста, не то на Вознесенском проспекте. Эту декоративную «контору» прикрывала своим именем и жалким положением больная сестра Полины Кондратьевны, глупая, дряхлая, безногая старуха, которую Адель и Полина Кондратьевна ежедневно навещали, встречаясь у нее с нужными людьми и обдывая текущие дела-делишки. Для видимости старуха вела какую-то маленькую торговлю и занималась некрупным дисконтом.

Орава пособников доставляла Рюлиной

сведения о женщинах, запутавшихся денежно, с зарезом крайней нужды – до ножа у горла или револьвера к виску. «Использовать сюжет» было делом ее самой, Адели или какой-нибудь доверенной факторши. Между акушерками – содержательницами секретных родильных приютов, бабками, знахарками, врачами, не брезгающими абортной практикой, Рюлина тоже была богата своими людьми.

– Потому что, – откровенничала она, – это – лучше чего не надо, если у хорошей девушки остается позади ангельская душа. А ежели еще и с могилкой не очень правильной, – тогда уж совсем, как есть, благодать Божья.

Именно таким страшным узлом была завязана в грозном шкафу Полины Кондратьевны Ольга Брусакова. В среде бракоразводных адвокатов, свах, консисторских ходатаев по семейным делам, – всюду водились ищейки. Ловля женщин практиковалась не только в одном Петербурге, но и в провинции. Одну из самых успешных и выгодных своих красавиц Рюлина получила из Закавказья: обольщенная гувернантка, она отбывала срок тюремно-

го заключения за покушение на убийство новой любовницы своего любовника; тюрьма сделала ее мертвой для родной окраины, – впереди, по выходе из заключения предвиделась беспомощная нужда... никто не поддержит «уголовную подсудимую», все будут только пальцами показывать!.. Нашлась, однако, и при тюрьме старательная особа: ссудила бедняжке денег на проезд в Петербург и снабдила ее рекомендацией к Полине Кондратьевне. Одна рюлинская факторша более высокого полета даже небезызвестна и уважаема в филантропических кружках. Ее специальностью было выслеживать красивых женщин, выздоравливающих по больницам.

– Я для своих душечек денег не жалею, – хвасталась «генеральша». – Я Фани прямо из клиники взяла, с койки, после тифа, кости да кожа, голова бритая, урод уродом, даже глаза желтые. Но гляжу: откормить ее, – будет прок из девки, – ну и сделай твое одолжение! К знаменитости ее возила. Говорит: «Хорошо на Кавказ», – превосходно! послала, с доверенной на Кавказ. Мало поправилась. Велела ей проехать в Сухуми к самому Остроумову. Этот

говорит: «Хорошо на Принцевы острова!» Отлично: выдержала ее два месяца на Принцевых островах! В моем деликатном деле расходов бояться – доходов не видать. Я убытков от моих душечек не надеюсь: отработают! Есть с кого!

И, действительно, клиентура «генеральши» была огромнейшая, так что весьма часто у нее не доставало своих «белых невольниц» и надо было занимать их у других промышленниц тем же товаром: у Буластовой, Перхуновой, Юдифи, о которых раньше сообщали Маше Адель и Ольга. В то время как Рюлина обслуживала по своей темной специальности самые верхи и сливки столичного общества, клиентура этих других госпож была много серее, работали они откровеннее, мельче и шире, кокотками не брезговали; сводничество их грубее в приемах, а рабство у них было много жесточе и тяжелее. О самодурстве Буластихи ходили грозные рассказы.

Она довольно часто посещала Рюлину, – и даже не в ее «конторе», а в самом доме: двух промышленниц связывали не только некоторые общие аферы по живому товару, но еще и

лютая страсть к игре: обе были завязтые картежницы и постоянные партнерши... Про женщин, закабаленных Буластовой, даже Полина Кондратьевна говорила не без жалости:

– Я понимаю: чтобы женщина работала, – заставь ее. Если она ленится, упрямится, нос подымает, капризничает, сплетничает, дерзит, доносит, – не жалей, накажи! Но зачем без вины издеваться над человеком? Зачем без надобности тиранить и обижать? А у Прасковьи Семеновны уж характер такой злобный: без всякой пользы для себя, так, по пристрастию одному, портить жизнь девушкам... Мучительница, палачиха!.. Положим, что с нее доброго и взять? Отроду хамка, да еще и пьяница!..

Разумеется, все женщины Рюлиной очень скоро делались известными одна другой, но не только считалось неловким, а строго запрещалось показывать знакомство вне стен рюлинского дома; чтобы дружить, требовалось разрешение «генеральши». Это правило соблюдалось очень тщательно. Рюлина находила, что если жертвы ее начнут интимничать между собою, то из приязни их не вый-

дет никакой прибыли для нее, а друг друга они могут компрометировать какую-либо неосторожностью.

– Знаете, душечки, – философствовала она, – где бабьи дружбы, там и бабьи ссоры. А если две бабы хорошо поссорятся, то и оглянуться не успеешь, как такого наговорят, что в болтовне ихней не только я, грешная, – целый совет присяжных поверенных завязнет!..

Маше и Ольге случилось быть приглашенными на одну свадьбу, – и в великолепной начальнице, посаженной матери молодых, они узнали свою товарку-чиновницу. Еще вчера она, под именем Фаустины, позировала вместе с ними для каких-то не то турецких, не то персидских дипломатов в картине под поэтическим названием «Бахчисарайский фонтан». У величавой матроны даже бровь не дрогнула, когда ей представили барышень; Ольга с Машей тоже отлично выдержали роль, будто имели счастье встретить чиновницу в первый раз. Имя и фамилию ее они, и в самом деле, только при этом капризном случае узнали. В рюлинской компании считалось очень нечестным и предательским, находясь «на ра-

боте», назвать подругу не условным ее, но настоящим именем, и, наоборот, при встрече в обществе, окликнуть ее не настоящим именем, а условным. Да!.. «Ди холле зельст хат и ре рехте» – «И у ада есть закон»...

* * *

На второй год крепостной зависимости от Рюлиной Маше суждено было пережить большое несчастье: отец ее, возвращаясь домой со службы, – когда переходил Симеоновскую, – был сбит шалым велосипедистом под конку и не встал уже. Смерть старика, конечно, вызвала жестокий семейный разгром, но Маша, со стыдом за себя, сознавала, что в наступившем ужасе есть для нее и одна радостная точка: отец умер, не узнав о дочери позорной правды, которую было так трудно от него скрывать.

– Твое положение, Марья, было еще подлее моего, – говорила Ольга Брусакова. – Мне хоть не надо играть комедий дома, при своих. Мать моя давно все знает... потатчица и соучастница! Ей что? Было бы в кармане пять рублей на «мушку» в Немецком клубе, а то – я хоть гуляй нагишом по Невскому!.. Отец... ка-

жется, в одной квартире живет, а, ей-Богу, я его вот уже лет десять не видала по-человечески... в семье то есть. Если он не на службе, значит, в бильярдной, в трактире Соловьева. Если не в трактире, значит, лежит без задних ног, пьяный, в своем чуланчике, спит. А твой старик – настоящий был, хороший, честный, доверчивый... стыдно такого!.. И хотелось же ему счастья для тебя, и веровал же он в «генеральшу» нашу, что она – благодетельница – тебе как клад нашлась!., нечего сказать, умела очки втереть!.. Нет, это – скажи слава Богу, что его так внезапно зашибло!.. Это Господня милость к вам обоим.

По просьбе Рюлиной граф Иринский оказал давление на какую-то важную питерскую пружину, и младшие сироты были приняты в закрытое учебное заведение на казенный счет, но не в Петербурге, что для Лусьевой было и к лучшему. А Машу Полина Кондратьевна заставила поселиться у нее. Положение девушки стало хуже – не по дурному обращению и не по увеличенной требовательности, но – с большей ощутительностью почувствовала она теперь свое превращение из свобод-

ного человека в живую вещь. Маше не на что было жаловаться в материальном отношении, жила она в довольстве, ни в чем не получая отказа.

Иногда Рюлина даже баловала ее маленькими подарками – настоящими, которые не ставились в счет. Но зато, с переездом к Полине Кондратьевне, на руках у Лусьевой никогда не оставалось много карманных денег; паспорт ее, после того как был отдан для прописки, Рюлина тоже не возвратила ей, а заперла в свою знаменитую шкатулку; как-то само собой сделалось, что Маша перестала уходить из дома без спроса, когда ей хотелось, а, отпрашиваясь, должна была говорить, куда идет, зачем и надолго ли, и, если опаздывала против обещанного срока, то получала жесточайшие головомойки. Ей велено было отстать от всех знакомств ее прежнего, не рюлинского круга, и понятно, что к себе в гости, в дом Полины Кондратьевны, она никого из посторонних не могла, да, впрочем, и не решилась бы пригласить. Мало-помалу, тоже как-то незаметно, ввелось, что, чуть соберется Маша на прогулку, – глядь, и Адель с нею, либо Лю-

ция, либо Жозя, либо кто-нибудь из факторш и доверенной прислуги, а если некому отлучиться, то старуха и Машу оставляет дома.

– Берегут тебя очень, Люлюшенька, – откровенничала Люция, с которой Маша, тоже с тех пор, как жила у Рюлиной, сошлась приятельски. Лусьева, как большинство женщин не умела жить без «друга», а Ольгу она теперь видала редко, Жозю ненавидела как ловушку-предательницу, Адели же боялась. На «ты» Люция сама заговорила с нею, давая понять, что здесь и теперь они – в ровнях, и чтобы Маша не вздумала обращаться с ней как с прислугой. Впрочем, о том же и Адель предупредила:

– Ты, Люлюшка, конечно, сумеешь поставить себя в хорошие отношения с Люцией?.. Надеюсь, ты понимаешь, что она остается на положении горничной исключительно по своей доброй воле: только потому, что ей удастся эта роль. Она сама отлично знает, что превратиться в барышню для нее значит потерять успех... Удивительно много стало в Петербурге охотников *s'encanailler*, как говорится!.. Но среди нас, между своими, она, само со-

бой разумеется, не слуга, а – как все... Полина Кондратьевна очень высоко ее ставит... советую это сообщать!..

К счастью Маши, Люция оказалась девкой кроткого нрава, – из тех ленивых русских натур, в которых странно, но отлично уживаются доброта и распутство, одинаково развиваясь из неспособности к «прозрению внутрь себя», то есть полного невнимания к внутренней жизни.

– Очень берегут тебя, Люлюшка, – рассказывала она. – Боятся, не стали бы сбивать тебя от нас, переманивать... Ну и любвишка чтобы не завелась на стороне, – потому, что наша сестра в таком разе делается дура!.. Очень уж ты на точке: сейчас – Адель прямо так и говорит – вся их коммерция только и держится что нами – ты да я, остальные не в спросе...

В один зимний день Полину Кондратьевну неожиданно посетила, не в обычай – утром, а не вечером, – ее «коллега по профессии», Прасковья Семеновна Буластова. Тут Маша впервые разглядела эту легендарную особу поблизости. На вид Буластиха показалась ей не столько страшной, сколько вуль-

гарной: огромная толстейшая бабища-купчиха, лет сорока восьми, разряженная безумно: и дорого, и чрезвычайно безвкусно, в камнях всюду, где только можно было приткнуть или повесить камушек. Она беседовала с Рюлийной и с Аделью, запершись втроем, но, должно быть, не особенно приятно, потому что уехала недовольная, надутая.

– Знаешь, зачем была? – шепнула потом Маше Люция. – Я подслушала: ко мне в комнату из кабинета, через вентилятор, звучит... Тебя торговать хотела.

– Как меня торговать? – изумилась и встревожилась Маша.

– Обыкновенно как: чтобы отдать тебя к ней, в ее дело, на ее полное распоряжение.

– Да я не хочу!.. – совсем уже испугалась Лусьева. – Что ты! Бог с тобою! Я к ней не пойду...

– Отдадут, так пойдешь, – равнодушно возразила Люция.

– Да как же можно?

– А почему нельзя? Предложит Буластиха нашей хорошего отступного, та и продаст.

– Как это – продавать? – волновалась

Лусьева. – Не вещи мы! Я не корова, не лошадь, чтобы так, будто на базаре!.. Это – когда крепостные были, тогда людьми торговали, а теперь их не покупают и не продают!

Люция, валяясь на Машинной кровати, зевнула и сказала протяжно и поучительно:

– Да не тебя, дура! – пакет твой продадут. Маша озадачилась.

– Пакет?

– Твой пакет – тот самый, который о тебе у старухи составлен и в шкатулке лежит. Пони-маешь? Буластиха ей – деньги, а наша Буластихе – пакет... только и всего! Ну а ты, известное дело, – к пакету этому прилипшая, потому что там в пакете вся твоя жизнь... «Права» твои продадут, – смекаешь? Всю аттестацию!.. Теперь ты зависима от нашей, потому что у нее твой пакет, и должна ты по пакету делать все, что она прикажет. А когда у нашей твоего пакета не станет тебе на нее уже плевать, потому что в пакете сила, и слушаться ты будешь уж той толсторожей, Буластихи...

Она тяжело ударила Машу по спине и захохотала.

– Что? оробела? Вон она, какая машина-механика!..

Только ты не бойся! Наша Буластихе отказала наотрез. Та большие тысячи предлагала, старуха было и подаваться начала, да Адель пошла дыбками в разбив, что самим дороже.

Маша улучила случай переговорить о новом своем страхе с Ольгой Брусаковой.

– Да, это бывает, – хмуро подтвердила та. – Перепродажа шантажа... частая история. И Буластихе сейчас ты, действительно, была бы очень к руке... Она без примадонны осталась... Ее знаменитая «Княжна» заболела: женское что-то, в Еленинской больнице лежит...

– А чем она знаменитая?

– Тем, что заправская княжна, с родословного чуть не от Гостомысла.

– Красивая?

– Никогда не случалось встречаться. Говорят, что нет... Да врут, должно быть, потому что в буластовском деле «Княжна» – вот как ты у Рюлиной – идет всегда в первую голову... Ты не опасайся: тебя не продадут. Тобой здесь очень дорожат. Я не zapomню, чтобы «гене-

ральша» носилась с кем-либо из нас, как с тобою. Она из-за тебя даже и ко мне стала любезнее... Право!

– Уж очень страшно, Оля!.. Про эту Буластиху ходят такие легенды...

– Да, у Рюлиной – надзор, а там – острог, да еще и с застенком!.. Все в один голос говорят. У нас бывали девушки, перекупленные от Буластихи. Они и вспоминать боялись, каково им сладко жить. Одна, из казачек, Фиаметтой звали, – богатого купца дочь, только от родителей проклята за офицера, – так вот эта Фиаметта, бывало, очень смешила нас за ужинами: если на столе стоит зернистая икра, – она и к закуске не подойдет; видеть зернистой икры не могла, не то, что есть... Адель даже и кавалеров так предупреждала: ежели Фиаметта в компании, то уговор, – чтобы зернистой икры не было...

– А Буластиха причем?

– А вот видишь ли: пошалили однажды буластовские девушки, захотели подразнить хозяйку, – вытащили у нее из буфета два фунта зернистой икры и съели. Прасковья Семеновна хватилась: «Где икра? кто взял?..» Подруж-

ки струсили, говорят Фиаметте: «Ты зачинщица, ты на себя и бери!.. Ответ не велик: зернистая икра сейчас два рубля фунт...» Фиаметта заявляет: «Виновата, Прасковья Семеновна, мой грех!..» А той не икра и дорога, всего только того и надо, чтобы к жертве придраться... Обрадовалась, тиранство-то в ней разыгралось... «Ах, – пищит, – это ты, Фиаметочка? Вот не ожидала!.. Что же? Ты разве так любишь зернистую икру?» – «Очень люблю, Прасковья Семеновна...» – «Дурочка, так ты бы давно сказала! Я тебя угощу!..» И приказывает своей Федосье Гавриловне, – это у нее управляющая, как у нас Адель, только совсем простая баба, и характером, говорят, Ирод, да и видом ужаснейшая... вчуже смотреть жутко! – приказывает принести еще два фунта икры... Та приносит... «Вали на пол!..» Вывалила... Прасковья Семеновна – туфли с себя долой и становится в икру босыми ножищами: «Ешь!..» Фиаметта так и вскочила: «Что вы? Очумели?..» А Федосья Гавриловна ее сзади кулачищем по затылку – раз!.. Фиаметта и с ног долой, прямо к икре носом... «Помилуйте!..» – «Два!..» – «Никогда больше не буду!

простите, миленькая!» – «Тогда прощу, когда от икры, ни зернышка не останется! А покуда не доешь, бить будем!..» Вот какие дьяволы!.. «Жри! – кричит, – да без передышки!» И ничего не поделаешь: сожрала!.. Потому что, едва голову поднимет, Федосья ее трах!.. Не диво, что после такого угощения на икру смотреть не захочешь!..

Адель только повествовала:

– Жила у нас одна буластовская, Клавденька... Та, бывало, все по ночам с постели срывалась. «Куда ты?..» – «Прасковья Семеновна кличут!..» – «Очнись, глупая...» – «Пусти, пусти!.., щипать станет!..»

Рюлина узнала о смущении Марьи Ивановны и лично ее успокоила:

– Слово тебе даю, что этого не будет. Зачем? Я совершенно тобой довольна. Если бы я хотела с тобой расстаться, то уже рассталась бы: Буластова мне за тебя пятнадцать тысяч надавала.

Глава 13

Есть натуры, женские в особенности, которыми всякая властность, хотя бы и самая порочная, нравится и импонирует, в которых чувство принадлежности быстро переходит в привычку и, при не совсем дурном обращении, даже во что-то вроде привязанности. Лусьева была из таких. Она поработилась Рюлиной с детской легкостью и вскоре стала в ее доме настолько же позорно своей, как Адель и Люция. Ее давно уже не стерегли, следить за ней вне дома тоже перестали – мало того: когда в доме появилась новая «крестница» Полины Кондратьевны, беленькая и глупенькая немочка, едва перешагнувшая за шестнадцать лет, Рюлина поручила надзор за ней Маше, – так уверилась старуха, что загубленной до конца девушке некуда идти, да уже и нет у нее воли на уход. Нельзя человеку, очутившемуся в позорном и гибельном положении, жить без надежды выйти из него когда-нибудь. Хранили этот мираж будущего и невольницы «генеральши». Они не раз слышали от своей повелительницы и верили, что

Полина Кондратьевна уже устала вести свое огромное и трудное предприятие и намерена вскоре забастовать, а при забастовке сломает свой роковой шкаф, сожжет в камине роковые пакеты и отпустит всех на волю. Она бы давно ликвидировала, да все проигрывает.

В самом деле, – умная, ловкая, властная старуха имела чуть ли не единственную слабую струнку в характере, – зато и господствовала же над ней струна эта! Демон игры владел Рюлиной беспрекословно. Несмотря на очень значительный доход, она никак не могла собрать капитала для жизни рентою, о которой мечтала уже лет пятнадцать. То разоряла биржа, то обижали карты и тотализатор, то ощипывала рулетка.

– Хотя бы вы любовника завели на старости лет, – язвила ее Адель, – чтобы бил вас и не позволял вам просчитываться!

И старуха, которая в других случаях не терпела – куда уж насмешек над собою! – взгляда без почтения, жеста неуважительного, – на этот выговор конфузилась, отмалчивалась, отсмеивалась.

– Не надо ворчать, Адель! Если выиграю,

пойдет тебе же на приданое.

– Смотрите: моих не продуйте! – безнадежно возражала Адель.

Ей искренно хотелось, чтобы игра не сбивала старуху с пути к ликвидации. Она находила, что пора им сойти с опасной сцены.

– Не всегда счастье. Так нельзя надеяться, что можно продвигать вечно. Столько конкуренток, каждый день новые... Положим, по делу, нам никто из них не опасен. Но в профессию начинает влезать такая шваль... от них всего скверного следует ждать!.. Каждый день возможен донос, скандал, и все полетит к черту!.. Да наконец надо же когда-нибудь и просто остепениться! Я совсем не намерена покончить свою жизнь в этих милых трудах... Я отдала им более двадцати лет жизни... В день моего четвертьвекового юбилея я говорю: баста! – и складываю оружие. Пора жить! – жить, черт возьми, а не прокисать в работе!

Маша долго не могла поверить, что Адели уже сорок лет: до того казалась моложава, крепка и здорова эта красивая женщина, скованная лет на девяносто жизни.

– Бывают же такие железные! – завидовали ей все. – Она и спит-то вполглаза, точно кошка, – право!

– Если надо, хоть трое суток могу не спать! – похвалялась сама Адель.

Она была педантично воздержанна в своем общем житейском режиме, – сколько позволяла профессия, разумеется. Вина она выпивала обязательно пол-литра в день, одного и того же, красного, довольно высокой марки, и уж больше нельзя было заставить ее выпить никакими просьбами, – хоть насильно в рот лей. Но спаивать целые компании и самой среди них разыгрывать полупьяную – была великая мастерица. Рестораторы ее обожали, потому что не было в Петербурге равной искусницы опустошить все близстоящие бутылки на столе, не выпив из них ни глотка... Совершенно исключительная физическая сила, ловкость и гибкость ее приводили рюлинских женщин в изумление.

– Мне бы в цирке гимнасткой быть или наездницею, – говорила она. – Жалею, что смолоду не занялась...

– Это она закалилась, подмерзая в корзине

на моем крыльце!.. – объясняла Полина Кондратьевна, вспоминая, что некогда нашла Адель, трехнедельным ребенком, на подъезде барского дворца в подмосковной усадьбе графа Иринского. Происхождение подкидыша, однако, было выслежено, и родители Адели приведены в известность.

– Порода хорошая! – хвалилась собой Адель. – Здоровая, южная кровь!

– Но ведь маменька ваша, сказывают, была из Волоколамска, – вот, что летом приходят малину убирать? – язвила ее Ольга Брускова.

Адель невозмутимо возражала:

– Зато родитель француз, провансалец. Он до сих пор служит главным управляющим у графини Лotosовой... то есть числится и жалованье отличнейшее получает, а уж, какая может быть в его годы служба! Графине во семьдесят пять, ему семьдесят... развалины!.. Так, – награжден свыше меры в воздаяние за прежнюю любовь и заслуги. Она его, говорят, у самой Ригольбоши отбила и в Россию увезла!.. Замуж за него хотела выйти, да граф развода не дал, а когда он помер, уже и охота

прошла.

Адель выросла у Полины Кондратьевны за дочь и, кажется, никогда с ней не расставалась. Она была единственной привязанностью Рюлиной, женщины без родственников, совершенно одинокой. Старуха даже ревновала ее, если у Адели заводилась какая-нибудь неделовая дружба. Влюблена Адель, по собственному своему признанию, не была ни разу и ко всякому амурному томлению относилась с большим презрением.

– Блажь!

– Ну а вдруг влюбишься?

– Нельзя влюбиться. Глупое слово! Может только блажь найти.

– Ну хорошо, пускай блажь!.. Как ты будешь, если блажь найдет?

Адель усмехнулась.

– Переселюсь на несколько дней в шестой номер и не вернусь, куда не просветлеют мозги... Так, знаешь, чтобы о мужчине и думать противно было... Вот, – как Фиаметте про икру...

В шестом номере жил Ремешко и два его товарища, тоже причастных к делу госпожи

Рюлиной.

* * *

Как ни гадок был рюлинский ад, какими презренными и несчастными не почитали себя закабаленные в нем рабыни, однако и им на столичной лестнице промысла их оставалось еще – на кого смотреть свысока, кем брезговать, кого презирать, – но заслугам, как тварей, опустившихся в порок бесконечно глубже, чем они, гниющих в такой нравственной низости, что, кажется, сама грязь, которой служили эти позорные существа, удивлялась им и отворачивалась от них с тошнотою. Мужчины шестого номера всеми женщинами дома Рюлиной были ненавидимы. Что за птицу представлял собой «пробочник» Ремешко, уже было рассказано подробно. А он был сравнительно самый порядочный из трех, то есть, по крайней мере, и будет вернее, самый осторожный: памятовал, что все-таки – не ровен час – в лоб может хлопнуть револьверная пуля, а на ребра обрушиться костоломная дубина рассвирепевшего родственника, жениха или любовника которой-нибудь из погубленных им жертв. Приличнейший на вид, солид-

ный, умелый разыгрывать роль богатого человека, которым он, и в самом деле, кажется, был когда-то, он работал по преимуществу в мелких буржуазных и чиновничьих семьях. Громкая фамилия, великосветские манеры и репутация миллионера обволакивали Лусьевых, Брусаковых и им подобных, как сладкий дурман, и покоряли Ремешке девушек и женщин тщеславной мещанской среды с быстротой, которой позавидовал бы сам Дон-Жуан испанский. Он часто уезжал в провинцию и возвращался оттуда почти всегда в компании какой-нибудь хорошенькой дурочки, которую, сыграв предварительно более или менее чувствительную любовную драму, благополучно передавал в когти Полины Кондратьевны за вознаграждение – нельзя сказать, чтобы очень щедрое. Компрометирующие «пакеты», которыми Рюлина держала в руках рабынь своих, имелись у нее и на мужчин из шестого номера, но – хранились не в домашнем несгораемом шкафу, а в банковском сейфе какого-то заграничного банка.

– Друзья мои! – говорила она господам этим, – вы должны быть моими телохраните-

лями и беречь меня как зеницу ока. Потому что – не дай вам Бог того, чтобы я умерла насильственной смертью либо испытала нападение какое-нибудь или вообще как-нибудь подозрительно этак скончала жизнь свою в одночасье. Потому что у меня такое распоряжение сделано: если я убита или погибну внезапно – постараются добрые люди тихой смертью известить меня – то пакеты ваши сию же минуту вручаются прокурорскому надзору и жандармам... Поняли?

Прохвосты понимали... Поэтому рабство их было еще прочнее и, в смысле зависимости, много унижительнее женского, и самую подлость свою приходилось им продавать Рюлиной по самой дешевой цене.

– Эх, Марья Ивановна! – возразил Ремешко, когда Лусьева однажды и со зла, и немножко спьяна, принялась было ругать его за свою погибель. – Разве я виноват? Мое дело подневольное. Я – раб хуже всех здешних рабов. Не то что девушку завлечь, а прикажут мне задушить вас и тело ваше в Неву с камнем бросить, я и в этом спорить не посмею... А что я будто бы за деньги вас продал, то скажу вам –

вот, как Бог свят: сколько ни злосчастлива судьба ваша, но все же вы в тысячной обстановке живете, тысячным кредитом пользуетесь. Хоть и петля, да шелковая. Мне же – за все ваше дело – выбросила Аделька две сторублевки... в тот же вечер я их в Петровском клубе спустил...

Эти люди, промышлявшие предательством в любви, гнили в гуще общества, как темная поддонная сила вне закона, труда и заработка. Материально они зависели от Полины Кондратьевны не менее, чем по силе ее избличительных документов. В любой момент она могла оставить их без крова, пищи и одежды – буквально на произвол судьбы, как людей, которым некуда идти, лишенных всех прав не фактом судебного приговора, но инстинктом животного самосохранения. Они должны были прятаться от жизни, как волки в лесу, потому что волк подлежит истреблению уже за то, что он волк, и, какие покаяния ни принеси он, какие готовности ни заяви, никто не поверит, что он – только большая собака. Да и в волках-то – как волки-одиночки, которые угрюмо боятся других волков и

должны промышлять добычу каждый за себя самого, не смея приставать к стае. Ни один из них не мог ответить не то что удовлетворительно, но даже хоть сколько-нибудь вероятно на первый вопрос, который встречает человека в каждой корпорации, хотя бы даже и жувльнической:

– Кто ты такой?

Достаточно сказать, что все трое были страстные игроки и недурные шулера, но не смели метать в клубах, чтобы не влететь в историю, потому что история вызовет слежку. Один был пьяница, но, зная себя буйным во хмелю, в рот не брал вина иначе, как в одиночку: боялся, не наскандалить бы и не дать бы скандалом руководящей нити для слежки.

* * *

У рабынь Рюлиной были шансы – когда-нибудь откупиться на волю, при помощи какого-нибудь влюбленного богача, способного отвалить единовременно куш, достаточно жирный, чтобы оптом удовлетворить аппетиты «генеральши», рассчитанные на долгую розницу. Были шансы – уйти на богатое содержание или даже в замужество и, обязав-

шись хорошо обеспеченными векселями, платить Рюлиной лишь ежегодный своего рода оброк. Были шансы – раздобывшись деньгами, скрыться за границу. Но три раба шестой квартиры были лишены и этих возможностей. В одну из своих провинциальных поездок Ремешко пленил где-то на Волге многомиллионную вдову-купчиху и решил было – покончить со всеми своими похождениями, жениться и остепениться в лоне супружеских капиталов. Примчался к Рюлиной – торговаться о свободе, и – Люция с Машей подслушали через отдушник разговор удивительный. Полина Кондратьевна весьма похвалила «пробочника», что не скрыл от нее своих matrimониальных затей, и очень советовала – не упускать случая, непременно жениться. Но выдать Ремешке его «пакет» – компрометирующие документы – отказала наотрез.

– Ни за пятьсот тысяч.

– Вы назвали эту цифру как невозможную, – говорил отчаянный, весь зеленый Ремешко, – но я готов больше дать... Не обещать, а дать, – верите?

– Почему же не верить? – хладнокровно

возражала старуха, – состояние твоей невесты мне известно. Захочет заплатить, так заплатит, а заставить – ты сумеешь. Но я сказала не «пятьсот тысяч». И так как ты не понял, то я прибавлю: ни за миллион!

– Полина Кондратьевна! Подобного капитала вы не успеете составить, как бы хорошо ни шла ваша торговля. С пятьюстами тысячами вы можете забастовать...

– Где? на Сахалине? – сухо оборвала его старуха. – Мой милый, права и возможности умереть спокойно и в своей постели я не продам ни за какие деньги. Я желаю быть хозяйкой своей жизни, а не лакеем, как ты. Можешь обобрать эту саратовскую тумбу хоть догола, – поделиться ты, конечно, со мной должен и поделишься хорошо, как я захочу и найду нужным, – но о документах своих и думать перестань: они для тебя не продажны.

– Полина Кондратьевна! Вы отказываетесь от своего счастья и губите мое!

– Оставь, пожалуйста. Яйца курицу не учат. До тех пор, покуда твои документы в моих руках, ты – мой раб. Как только они очутятся в твоих или уничтожены будут, роли

наши меняются. Ты слишком во многом участвовал и чересчур много знаешь, голубчик. Небось, и доказательствами запасся, улики подобрал.

– Клянусь вам, – какое хотите обязательство выдам, что никогда не стану вредить вам, лишь бы документы перешли ко мне.

– Я тоже, пожалуй, поклянусь, что никогда вредить тебе не стану, но документы останутся у меня.

Старуха засмеялась.

– Умный человек, а глупости говоришь. Ну чего стоит такое обещание? За кем сила, того и воля. Если из двух человек одному необходимо бояться другого, то я предпочитаю, чтобы боялся ты, а не я... А жениться – это ты ловко задумал... женись! Ничего не имею против того, чтобы ты разбогател. Супруга с миллионами – вещь полезная. И тебе, и нам будет хорошо.

– Для вас что ли жениться-то? – грубо огрызнулся Ремешко. – Чтобы вы эти миллионы из меня потом, год за годом, высасывали через документы мои? Нет, покорно благодарю! Овчинка выделки не стоит! Сами знаете,

что жениться мне, значит еще новую уголовщину на себя взгромоздить... Рисковать собой лишь для того, чтобы ваши доходы новым оборотом своим увеличить, я не намерен-с, нет! Отступного заплачу – сколько угодно, а в оброчники не пойду!

– Как тебе угодно. Ты хорошо знаешь, что я на этот доход не рассчитывала, – следовательно, отказаться от него мне ровно ничего не стоит. Если бы с неба валилось, подобрала бы, с великой благодарностью. Но если ты надеялся миллионами ковриги своей настолько меня ослепить, чтобы я дуру сваляла, то – весьма ошибся в расчетах, голубчик! Меня, брат, золотым блеском не удивишь. Я на своем веку всего видела: и миллионами ворочала, и на Сенной за полтинник с первым встречным ходила. Да! Так, стало быть, изволь работать, что и как я тебе велю, твоей собственной изобретательности мне совсем не надо... Пощипать же ковригу валяй! дело не вредное! Пожуируй в свое удовольствие, а барыши – на дележку. Третью – твоя, две – мои.

– Две трети – вам? За что же бы это? – злобно усмехнулся Ремешко.

– За то, голубчик, чтобы я не мешала тебе,
чтобы коврига твоя не узнала, что ты за цаца.

Глава 14

Женщины Рюлиной относились к мужчинам шестого номера – приблизительно так же, как к ним самим относились их гости-покупатели: ими пользовались и гнушались. Ни один из этих продажных самцов не умел выскочить в сутенеры. Да и понятно. Сутенер тем и побеждает проститутку, что она видит в нем человека, объявившего себя вне всякого закона и повиновения: между ним и действительностью нет ничего, кроме его воли, за которую он кого угодно на финский нож насадит и сам готов под нож идти. В сутенере живет демон анархии, страшный для всякого, кому приходится с ним считаться: это – защитник-разбойник. Он способен изувечить свою женщину и даже почитает такое бойло шиком своего рода, но – кроме него самого – уже никто больше той женщины не тронь. Гость, полиция, хозяева женщины – для него кровные враги, с которыми он состоит лишь в перемирии, покуда нет вызова с их стороны, но никогда не в мире. Разумеется, на такую роль совершенно не годились жалкие

рабы, трепетавшие при одном суровом взгляде Адели, при одном имени Полины Кондратьевны. В жизни «воспитанниц» Рюлиной не было ни искры даже и той бедной поэзии, скорбной и мучительной, которую носит в себе каждая уличная проститутка, верная своему полудикому «коту».

А между тем, все три проститута эти были специалисты по уловлению женщин, и каждый из них на веку своем сбил с пути не один их десяток. Один из товарищей Ремешко даже имел кличку «Графчик», потому что когда-то давно, служа лакеем в доме графа N, ухитрился влюбить в себя графскую дочку. Забеременев, несчастная выбросилась с третьего этажа и убилась. «Графчик» с хвастовством показывал окно на Литейной, откуда упала на тротуар его несчастная возлюбленная. Это был мерзавец, опасный и разносторонний, одинаково ловкий в подвале провести роман с хорошенькой швейкой в качестве честного и солидного труженика-мастерового, а в бельэтаже блеснуть лондонским фраком и офицерским мундиром. В провинции он не стеснялся щеголять в гвардейских формах и на-

столько хорошо знал военный быт, имена и нравы, правду и сплетни, что в самозванстве своем никогда не то что не попался, но даже и подозрений не возбуждал. Он отлично говорил по-румынски, по-армянски и не скрывал, что долго был фактором по переправке живого товара из Одессы в Константинополь и в этой милой профессии натворил каких-то совсем сверхъестественных зверств.

– По моей шее три государства тоскуют! – хвастался он.

Третий проститут, по кличке «Студент», имел специальностью разыгрывать передового человека, развивателя, пропагандиста. Красавец с нежным, женственным личиком, он в свои почти уже сорок лет глядел еще двадцатипятилетним юношею, был мастер поговорить на «брошюрные» темы и, бродя по скверам, садам, дачным местам, пожирал сердца бонн, гувернанток, учительниц, одиноких барышень из замкнутых, скучных, полуинтеллигентных семей. Определись этот человек в шпионы, из него мог бы выйти страшный провокатор. Но для «Студента» была закрыта даже эта карьера, в которой за усердие и лов-

кость получал иногда отпущение грехов сам Ванька Каин. Напротив: до наглости бесстрашный пред физическими опасностями своего ремесла – пред кулаками или дубиной разъяренного мужа, револьвером брата, финским ножом любовника, – «Студент» был единственным человеком в доме Рюлиной, которого не только угрозой, но простым разговором о полиции, суде, прокуроре, тюрьме, каторге и т. п. можно было довести до панического ужаса, до истерического припадка. Этим пользовались, чтобы дразнить его как юродивого. Вообще, его считали немножко помешанным, да едва ли он уже и не был таков. В нем чувствовался человек, когда-то перенесший страшную опасность и навсегда напуганный ею. В домашнем быту, когда «Студент» освобождался от своей интеллигентной роли, он проявлял привычки и манеры, говорившие сведущему человеку о долгом и печальном тюремном прошлом. «Графчик» в частых своих ссорах со «Студентом», – все три сожителя в свободное время только и делали, что лаялись между собою, – ругал его «острожной Катькой». Эта выразительная

кличка объясняла, почему воспитанницы брезговали «Студентом» еще больше, чем двумя его товарищами. Те были хоть мерзавцы, но все же – самцы, а не полусамки, как этот несчастный отброс житейской накипи – невесть из какого скверного ее котла. Окликнутый на улице, он снимал шляпу неуловимо быстрым, холопски поспешным жестом раба, привычного, что за покрытую голову начальственный кулак бьет по морде без милосердия.

– Дурак! – издевался над «Студентом» «Графчик», – по одному тому, как ты кланяешься, в тебе не вовсе глупый сыщик должен сахалинца признать!

Жил «Студент», конечно, по подложному или чужому виду, как и его товарищ «Графчик». Но последний был болтлив и охотно рассказывал многие свои похождения. «Студента» же биографию и настоящее имя знала во всем свете только Полина Кондратьевна да, быть может, отчасти Адель.

– Ты от меня, голубчик мой, никуда не укроешься, – шипела Рюлина, когда бывала недовольна «Студентом». – Только тебе и жиз-

ни, что у меня под крылом. Сбежишь – на краю света найду тебя! Разве на луну улетишь, а то подобных тебе соколиков даже Америка выдает.

* * *

При всей своей нелюбви делиться Аделью с кем-либо старуха, несколько лет тому назад, послала ее в Москву к отцу, о котором был слух, что он очень денежный человек.

– Старик, – рассказывала Адель, – очень удивился и обрадовался, что у него такая красивая дочь. Сразу мне поверил, да нельзя и не поверить: я вылитый его портрет...

Но – вот матери моей никак не мог припомнить. «Ах, – говорит, – шеру! их у меня тогда столько было!..» – «Да тряхните памятью: Аленой звали...» – «Ну, конечно, дитя мое! Всегда одно и то же: Алены, Аксиньи... Целая толпа несчастных созданий!..» – «Так и не знаете?» – «Помилуй, ма пети, как ты хочешь, чтобы я знал? Ведь я управлял вотчиной в десять тысяч душ!.. Да! И обо мне даже один ваш известный сочинитель драму написал!.. Про меня и про графиню! Ба! Я сам видел: в театре представляли – и очень хорошо. Вот

какой я был молодец!.. Где же было считать их всех, Ален и Аксиний?!» Подарил мне, однако, образ Святой Цецилии и локон волос. «Это, – говорит, – кудри моей матери, а твоей бабушки... Богиня! Коленнопреклоненная святая, дитя мое!.. Это принесет тебе счастье...» И плачет... Бонна его или лектрисса, что ли, все мимо нас шнырит, разряженная такая, морда надутая, съесть меня хочет... Я было подластиться к ней хотела: «Что вы, миленькая, против меня имеете? Вы не бойтесь: я как приехала, так и уеду... не отбивать хочу вашего старика: я дочь!..» – «Вижу, – отвечает, – что дочь, обличье обозначает... да уж больно много вас, сыновей-дочерей, к нему шляется... Я свой хабар оберегать должна, – пускать перестану. Кто вас знает, зачем? Он старик слабый...» Ну, а потом мы с ней очень сошлись. Преумная баба оказалась и теперь даже помогает нам немножко по делам, когда случаются в Москве... И вообразите: сколько нас, «дочерей-сыновей», к старику ни являлось, он всем, оказывается, дарил по Святой Цецилии и по локону своей матери... Надо полагать, бабушка моя была вроде Анны Чи-

ляг, – вот, которая в газетах рекламы своим волосам печатает, а то и сама Юлия Пастра-на!..

У Адели был жених – настоящий жених, деловой, «дела – это дела. прощаюсь!..», изящ-ный и довольно красивый, тоже лет сорока, француз, коммивояжер крупной парфюмер-ной фирмы, очень хорошо осведомленный о профессии своей невесты, потому что был давним поставщиком на знаменитую модист-ку Юдифь, поставщицу Рюлиной. Но француз-ский буржуа, покуда делает карьеру, не имеет предрассудков насчет происхождения капи-тала. Целомудренные негодования осеняют его вместе с рентой. А до тех пор – «дела – это дела. прощаюсь!..»

– Когда у меня будет сто тысяч рублей, – мечтала Адель, – я скажу всем вам «адью!» Мы с Этьеном обвенчаемся и уедем жить в Монпелье; это его родной город, и он надеется приобрести там очень выгодно превосходную фабрику душистого мыла... Со временем он будет депутатом, а я первой дамой в округе!

Но надежды ее то и дело разбивались про-игрышами Рюлиной, как о подводные камни.

– Ах, если бы не эта проклятая страсть! – вздыхала Адель. – Полина Кондратьевна – я не знаю, на что способна!.., просто, кажется, мир покорила бы! Я выросла при ней, воспитана ею, с пятнадцати лет работаю с ней вместе, и, – кроме игры проклятой: биржи, рулетки, тотализатора, карты, – не могу назвать ни одного ее ложного шага!.. Вина она не пьет, ест – не гурманствует, мужчины для нее не существуют... самый восхитительный темперамент, идеальный характер для дел!.. Но вот – все грабит игра!.. И при том какая несчастная игра!.. Бывает, что ей месяцами не везет... Случалось, что мы закладывали брильянты!.. Да!.. У Юдифи – состояние, у Перхуновой – капитал, Буластиху можно считать в сотнях тысяч, а у нас самая шикарная клиентура и дела идут блестящее всех, но мы закладываем брильянты!

Картежные вечера, и по очень крупной, устраивались довольно часто в доме самой Рюлиной – в одной из квартир нижнего этажа, обращенных во двор. Буластиха, Перхунова, Юдифь и наиболее фаворитные факторши Рюлиной бывали при этом частыми, а иные и

непременными, участницами.

* * *

В одну из таких игорных ночей Машу, поздно вернувшуюся с беленькой немочкой из театра и давно уже спавшую крепким сном в своей «каюте», разбудила заспанная, зевающая Люция.

– Вставай, одевайся... тебя требует Полина Кондратьевна.

– Чего ей? – недовольная, сонная, зевала в ответ Маша.

– Пес ее знает зачем... Приказывает Аделька по слуховой трубе, чтобы ты оделась получше и шла вниз, в восьмой номер... Надо быть, графские нагрянули...

– Шляются... бессонные черти!

Когда Марья Ивановна, принарядившись, явилась на зов, ее прежде всего ошиб пьяный, дымный воздух комнаты, словно тут кутила целая команда пожарных. Ей бросился в глаза ряд развернутых, исписанных мелом, ломберных столов и в особенности один, у которого стояла Адель, – с двумя электрическими лампами-шандалами, с грудой карт на нем и под ним. Над богатым, но уже очень опусто-

шенным, закусочным столом возвышалась, в табачном тумане, как некое красное облако, широкая выпуклая спина тучной женщины в пунцовом шелку. Марья Ивановна с обычным испугом узнала Буластову. Та, – на шум платья Лусьевой, – повернула к ней красное, в тон туалета, толстое лицо, заулыбалась, закивала. Сердце у Маши дрогнуло... Адель, хмуря и бледная, стоя у карточного стола, злобно чертила по сукну мелом. На Машу она не подняла глаз, только, услышав ее, нервно передернула плечами. Были тут и Перхунова, и Юдифь, и еще несколько женщин, незнакомых Маше. Все они казались полупьяными и утомленными. Но всех страшнее была сама хозяйка – Полина Кондратьевна. Она сидела в глубоком кресле совсем обессиленная, точно разваренная, даже свинцовая какая-то с лица; полуседой чуб ее развился на лбу и налип мокрыми косичками, по румянам на щеках проползли черные борозды, глаза тупо и тускло таращились в одну точку.

– Марья, – сказала она сиплым, не своим голосом, впервые за все три года называя Лусьеву по имени. – Я, Марья, того... Ну да что

уж тут!., не везет! Вот, Прасковья Семеновна, извольте получать... при свидетелях...

– Так точно, душенька Полина Кондратьевна, при свидетелях!.. – отозвалась Буластова тонким и веселым голосом, ловя с тарелки вилкой румяный кусок семги. – Все по чести и в аккурате!..

– Как следствует!.. – сипло поддакнула какая-то из «дам»...

Полина Кондратьевна обвела всех своим мертвым взглядом и продолжала:

– Так вот... я, Марья, от тебя отказываюсь, ты мне больше не слуга... Теперь будет твоя госпожа Прасковья Семеновна... целуй ручку.

Кровь хлынула в голову Маше. Так и отшатнуло ее... Буластиха улыбалась ей, жуя семгу маслянистым ртом, и протягивала тяжеловесную, мясистую, в кольцах лапу.

– Целуй, скорее целуй... – послышался за спиной Маши быстрый, трепетный шепот взволнованной Адели.

Маша, едва соображая, что с ней сделали, что она сама делает, нагнулась к протянутой руке.

– Испужались? – сказала Буластова с той

же торжествующей и жеманной улыбкой, голосом сдобным, звонким и певучим, как у охтенки. – А вы не пужайтесь. У меня вам, душенька, будет очень как прекрасно... Бумажонки и причандалы ейные у вас, Аделичка, будут? – обратилась она к Адели.

– Ключи дайте! – грубо крикнула та на беспомощную Полину Кондратьевну.

Старуха молча, трясущейся рукою, вынула из сумочки на поясе связку ключей.

– Пожалуйста, примите!.. – отрывисто и мрачно обратилась Адель к Буластовой.

– Федосья Гавриловна, – хозяйски приказала Буластова одной гостье, высокой и плечистой бабе-гренадеру, угрюмой с виду и даже не без усов. – Сядь, голубушка, рядом с барышней, возьми ее за ручку, покуда мы не вернемся.

– Не отнимем ее у вас, – обиделась Адель. – Что это вы, право, Прасковья Семеновна.

Та возражала уже на ходу.

– Ах, милая, как вы могли подумать? Разве я от вас надеюсь? А бывает, что бегают...

– Куда от нас бежать? Ей бежать совсем некуда.

– Конечно дело, что некуда. Да ведь глупы они, девки, соображения не имеют. Мало ли что им в фантазию вступит? Дом же у вас огромнейший, имеет многие выходы, богатейшее помещение... Выскочит барышня на улицу, – возись с нею!.. Другие тоже, случается, стекла бьют, скандалы делают...

– Не таковская.

– Ах, не скажите! Ах, ангел мой, и очень вы мне этого не говорите! Ни одна девушка сама характера своего не знает, и, чего вы можете от нее с большой внезапностью ожидать, этого вы наперед знать никак не в своем состоянии.

Баба-гренадер исполнила повеление хозяйки в точности и для верности даже обняла Машу за талию, так что, сидя с ней плечом к плечу, перепуганная, ошалевшая девушка чувствовала себя в железном обруче. И вдруг она – вихрем в голове – вспомнила все страшные толки, все грязные сплетни, все возмутительные слухи, что доходили на Сергиевскую о Буластихином доме вообще, а в особенности, об этой вот Федосье Гавриловне, которая теперь заключила ее в живые оковы и дышит

на нее винным паром. И жутко ей стало до озноба и стука зубовного: вот когда душенька-то совсем пропала, волокут черти в ад!

Рюлина смотрела на Машу, качала головой и говорила:

– Уж извини, Марья, – никогда я не думала так с тобой расстаться, но, видно, такая твоя судьба... Жаль мне тебя отдавать, ужасно жаль!.. Не будет у меня другой такой слуги... Бить меня некому, старую дуру!..

– Зачем вы меня продали, Полина Кондратьевна? – зарыдала девушка.

Старуха сконфузилась и ничего не отвечала, – только развела руками.

– Они вас не продали, – толсто кашлянув, сказала басом баба-гренадер, – мы вас в карты выиграли.

Гости захохотали.

Маша обомлела. Этакой подлости над собой она уже никак не ожидала и сразу не могла даже охватить ее умом. Уставилась молча на генеральшу дикими глазами, но Рюлина под ее непонимающим взглядом лишь поси-зела вся в лице и еще глубже осунулась в своем кресле.

В карете, увозившей Машу навсегда от Рюлиной, между двух мощных телохранительниц, Буластова опять повторила:

– Не пужайтесь, убедительно вас прошу! Ежели вы будете против меня рассудительная и аккуратная, – как в раю проживете, неприятностей от меня не узнаете. Я вас, Марья Ивановна, очень ценю. Я за вас, – вот как вы есть в одних шубке-платьишке, без всякого приданого, на девятнадцать тысяч шла. Кабы вышла не моя карта, я должна была платить девятнадцать тыщ... Опосля того вас оченко можно сберегать... Вы не пужайтесь...

Глава 15

Дело Прасковьи Семеновны Буластовой было устроено на совсем иных основаниях, чем у Рюлиной. Она не признавала женщину своей, покуда не забирала ее к себе в дом, под прямой гаремный надзор.

– Вся должна быть у меня в кулаке! Нет у тебя своего! Куском моя!

Дело было мельче и несравненно серее рюлинского, но шире. Домов, то есть квартир, населенных невольницами, Буластова имела в городе множество, не меньше пятнадцати, но все маленькие, рублей по четыреста, по шестисот годовых, и только три большие, слывшие в деле «корпусами».

Самую обширную, но опять-таки не целый особняк, как Рюлина, но лишь длинный бельэтаж занимала сама Прасковья Семеновна с самыми ходивыми и избранными из кабальниц. Тут был центр ее торговли и всего хозяйства. Помещение было выбрано очень ловко: на бойкой площади против одного из самых посещаемых петербургских театров, а между тем, уединенное и отделенное от столичной

жизни, словно тюрьма.

Подвал и нижний этаж под «корпусом» были заняты рядом нежилых торговых складов и магазинов. В третьем этаже угнездилось по долгосрочному контракту правление какого-то «Анонимного общества пережигания пещорских лесов в древесный уголь», пустовавшее с пяти часов дня до одиннадцати утра, да и в приемные часы свои не слишком посещаемое. Выше обитала хозяйка модного заведения, рабски связанная с Буластовой постоянной на нее работой, а в пятом этаже ютились захудалые меблированные комнаты, которые Буластовой очень хотелось приобрести, но хозяин, еврей с правом жительствова, был себе на уме и не уступал дешево. Соседство Буластихина вертепа, когда в нем гуляли Гостиный двор или Калашниковская пристань, давало большой доход также и этим «меблирашкам». При переполнении спален в «корпусе» парочки искали пристанища наверху, и номера ходили впятеро, вдесятеро своей обычной цены.

Другой «корпус», поменьше, находился на Песках и управлялся сестрой Буластовой, Пелагеей Семеновной, бабой старой, глупой и

вздорной, но не злой. Буластиха была тесно связана с ней в капитале и потому не могла выжить ее из дела, хотя очень к тому стремилась, считая сестру душой бестолковой, нерасчетливой и чересчур мягкой:

– Балуешь ты мне, Пелагея, девиц!

Действительно, попасть в корпус к Пелагее Семеновне опытные кабальницы почитали за отдых. Но в то же время это такое перемещение было зловещим признаком – вроде перевода офицера из гвардии в инвалидную команду. На Пески сплавлялись из главного корпуса и наиболее действенных квартир неудачные новенькие и падающие в спросе, устаревшие, надоевшие, приглядевшиеся: товар, что не идет с рук по хорошей цене – значит, пускай его в дешевую распродажу.

Третьим «корпусом», маленьким особнячком на Петербургской стороне, командовала та самая Анна Тихоновна, что впоследствии привезла Лусьеву, под эгидой баронессы Ландио, в город Энск. Этот корпус слыл между кабальницами под выразительными именами «Сибири», «Сахалина» и даже «Ада». Тут было штрафное отделение, дисциплинарный бата-

льон Буластихина дела. К Анне Тихоновне, степенной и благовидной вдовице, опрятной, учливой, с лицом и манерами почтенной нянюшки добрых старых времен, ссышались на исправление женщины, виноватые непокорством или какими-нибудь проказами, – и тоже второй и третий сорт: такие, которыми Прасковья Семеновна с Федосьей Гавриловной не настолько дорожили, чтобы утруждать себя их собственноручной дрессировкой. Отсюда ясно, каков характер таился под патриархальной наружностью кроткой вдовицы. Сама она, впрочем, часто бывала в разъездах, так как считалась специалисткой по торговле на провинцию и то и дело конвоировала каких-нибудь красавиц куда-нибудь на местный заказ. А на время ее отлучек бразды правления «Сибирью», «Сахалином» или «Адом» принимала тамошняя корпусная кухарка Лукерья – уже совершенно каторжный тип. Так что штрафные кабальницы уж и не знали, когда им живется хуже – при самой управительнице или при заместительнице...

В корпусах – особенно в главном – имелись просторные залы, столовые, зеркальные ком-

наты. Здесь можно было гостю потанцевать, поужинать, устроить афинскую ночь с местным женским персоналом или вызываемым из маленьких квартир – главной доходной статьи Буластихина дела. В каждой из них жило по две, много по три женщины, под фирмой какой-либо приличной на вид и по паспорту дуэньи, вроде той же баронессы Ландио, – на нее писалось помещение по домово́й книге. Иногда эта госпожа бывала действительной распорядительницей квартиры, то есть ответственной приказчицей на отчете; иногда, в квартирах побойчее, к ней приставлялась контролерша, под видом экономки. Прислуга давалась в зависимости от величины и торгового значения квартиры. Были такие, где полагались и хозяйка, и экономка, и кухарка, и горничная, а были и такие, где все четыре должности совмещались в одной хозяйке, при помощи самых надзираемых ею женщин, которых, конечно, в таком случае полагалось и число минимальное, и качество попроще.

Наконец, были укромные приюты, – преимущественно на городских окраинах и на

зимних дачах в пригородах, – где вовсе не селилось женщин, а были только сторож со сторожихой, обязанные держать помещение в порядке и тепле на случай наезда из города особенно таинственных парочек, о чем они предупреждались из главного корпуса по телефону. Это была дорогая игрушка, Буластикша шибко на ней наживалась. Но вообще-то квартиры были ее мелочными лавочками для дешевой торговли враздробь, тогда как главный корпус являл собой нечто вроде универсального магазина или клуба.

* * *

Защита квартирных женщин против случайностей их опасного промысла выражалась в «жильцах» – колоссальных парнях, которые будто бы нанимали от хозяйки свободную комнату с мебелью. В действительности же, сами еще получали жалованье, впрочем, ничтожное, так как главный расчет службы был на подачки от гостей, да и женщины понуждались делиться с «жильцом» из денег, перепадавших им «под подушку» и «на булавки». Когда в квартирках появлялись гости, «жильцы» обязаны были обслуживать им за

лакеев, а в случае дебоша и буйства переходить на роли телохранителей-вышибал. Самой собой разумеется, что вербовалась эта доблестная гвардия отнюдь не из кандидатов на Монтионовскую премию за добродетель.

– Помните, дьяволы, уговор: чтобы у меня ни грабежа, ни краж!.. а ни-ни! – грозила Буластиха. – Ежели даже гость твоих фокусов-мошенств не приметит, но я проведу, то в Сибири сгниешь. А уж от меня-то, брат, не спрячешься: я вас всех насквозь, да еще на три аршина под тобой в землю вижу!.. И не за кражу свою сгниешь, а за то – за свое... за другое, прежнее... Понял? У каждого из вас, голубчики, довольно есть такого, чтобы в тюрьме сидеть. Моими милостями от кандалов бегаете. Ты, мордатый, не гляди, что в сыщиках служишь: зазнаешься, – я на тебя укорот найду. Сыщик – не святой митрополит-чудотворец. Тоже вашим братом остроги-то конопатят предостаточно. А каково бывает сыщику среди шпанки осторожной, – знаешь? Жив не будешь, каторжная твоя душа!.. Вот ты и соображай!.. Когда счета подаешь, – приписывай, сколько влезет: что сверх моих марок возь-

мешь, первое счастье – экономкино, второе – хозяйкино, третье – твое. Но воровать – Боже сохрани! У меня служи почисту, поблагородну...

Трепетали ее все, потому что мясистый кулак ее в случае провинности не разбирал возраста и пола, и усатые морды «жильцов» обливались кровью из «хрюкала» так же легко и покорно, как и нежное личико беззащитной семнадцатилетней девочки, не угодившей своему «гостю».

– У меня, батюшка, отец родной, для гостя – рай, – убеждала Буластиха своих приятелей-клиентов: ни тебя опоят, ни тебя окурят, часов-колец не снимут, бумажника в кармане не тронут...

– Это хорошо, мать-командирша, что совесть помнишь!

Буластова ухмылялась.

– Ну совесть!.. Где в нашем деле совестью заниматься?.. Не то чтобы совесть, а – не расчет. С очень толстым бумажником ты, купец милый, как будучи человек торговой души, ко мне в большой разгул не пойдешь. А тыщу-другую с тебя снять – рук марать не сто-

ит: коли в задор войдешь, сам больше оставишь!.. Кабы на сто тысяч, на пятьдесят, ну – на двадцать на пять, – это еще куда бы ни шло руку закинуть! А что мне – скандал на ту же сумму влетит. Полиция, да суд, да газетишки... погибель!

Шантажные оковы, которыми удерживала своих невольниц Рюлина, Буластова ценила очень мало.

– Барская затея, и страх от нее барский, – объясняла она. – Когда девица в моих руках, я ее завсегда так расположить могу, что, кроме этого самого, никакой другой угрозы супротив нее уже и не требуется. Чего ее старым страмом стращать? Живет у меня, вот те и весь страм... довольно! Это у Рюлиной subtilности-миндальности, потому – графы, бароны, калегварды... А меня, батюшки, кормят Калашни-ковская пристань да Гостиный двор. Моя публика – хо-хо-хо!.. Уходи от меня, пожалуй: Рюлина со всеми своими пакетами того не сделает, как я тебя без пакета по всей Рассее затравлю!.. От меня – ежели не на выкуп, так – на бланку, в разряде, по книжке... других ходов нет.

По этому рассуждению, невольниц на «пакете» у нее под-начальством имелось, действительно, немного. Преобладающее большинство составляли просто тайные проститутки, по ремеслу скрываемые и скрывающиеся от полиции. Элемент, которым Рюлина брезговала, здесь почитался главным в деле.

Затворничество, – вне выездов на «работу», всегда под присмотром какой-либо верной дуэньи, – соблюдалось строжайшее. Шпионство было развито стихийно. Хозяйки шпионили за экономками, экономки за хозяйками, «жильцы», прислуга, женщины – все были связаны взаимным наблюдением и доносами. Буластиха знала всегда и все по всей своей сети. Память у нее была огромная, – точно губка, всасывающая сплетни. На невольниц она принимала жалобы ото всех, невольницы жаловались с успехом, лишь когда их дурно кормили: на этот счет Буластиха была очень внимательна и предусмотрительна, – все остальные претензии она пропускала мимо ушей, а над иными прямо издевалась:

– Говоришь, – экономка по щекам тебя

прибила? Больно?

– Ужасно больно, Прасковья Семеновна.

Трах!!! у девушки сыпятся искры из глаз от неожиданной оглушительной пощечины.

– **Так** больно или еще больнее? – хохочет Буластиха.

– Прасковья Семеновна! – бросается к ней девушка, – не велите «жильцу» ко мне приставать... Я его видеть не могу, а он бить грозит, насильно приказывает...

– Дурак, что еще не бьет, – хладнокровно возражала Буластиха. – Дура! Убудет тебя, что ли?

– Заступитесь... Противен он мне!..

– Ну да! Только и есть мне дела, что твои капризы разбирать. Ты, девушка, с «жильцом» не вздорь. Жилец вашей сестре человек всегда самый нужный. Жильцу угоди.

Невольницы в корпусе считались более почетными, чем невольницы мелких квартир. При себе Прасковья Семеновна поселяла тех, которыми наиболее дорожила, но ее отвратительный, свирепый характер делал это нерадостное отличие почти наказанием.

При вступлении Маши в корпусе жило

пять девушек, из них ни одной интеллигентной. Роль примадонны, за отсутствием «Княжны», разыгрывала великолепная волжская красавица Нимфодора, белотелое создание, с глазами репою, которое никак не могло запомнить собственного своего имени. При первом знакомстве с ней Маши Нимфодора была в слезах: ей только что досталось от хозяйки, – зачем была дура душой при деликатном госте?

– И grit это он, злодей, – всхлипывала Нимфодора пред Машей и хорошенькой, как молодой хищный зверь, гибкой, черной, глазастой, знойной и опасной еврейской Фраскитой, – и grit он это мне, голубушки мои: «Так, стало быть, – grit, – сударыня, должен я понимать вас из благородных?..» Я ему все, как Федосья Гавриловна учила, сейчас объясняю: «А вот вам, кавалер, как Бог свят, Мать Пречистая Богородица, что тятенька у меня майор, а маменька... как ее, пес-дьявол? – адъютантша». – «Удивительно!» – grit. – Я ему на это: «А, как есть, ничего не удивительно, потому что, стало быть, у моего родителя лента через все плечо и, выходит, остаюсь я тепери-

ча пред вами полковницкая дочь».

– Это, – про ленту-то, – тоже Федосья Гавриловна тебя учила? – язвила и хохотала хорошенькая Фраскита.

Нимфодора уставила на нее свои унылые глаза, как телка, созерцающая новый забор.

– Н-н-не... про ленту я сама...

– Зачем же?

– А гадала, что баско... Мать-кормилица! Что ж мне? – уж и слова своего не скажи? Чать я не для худого, своей же хозяйке стараюсь...

– Ну! ну! – наслаждалась злорадством Фраскита.

– Ну... он, аспид холодный, все вида не подает, в сурьезе сидит, комедь ломает: «А образование, – грит, – свое вы, я в том уверенный, в ниверситете имели?» Я, – как и что в том разе сказать, не ученая, – политично отвечаю ему в обиняк, с учтивостью: «Это, милостивый государь, не от нас зависимое, а как тятенька с маменькой пределят». – «Очень похвально, – грит, – милостивая государыня, правильное имеете рассуждение, одобряю. А имечко ваше святое как?» Я, сделавши ему с

приятностью глазки, натурально запрошаю: «А вам на что? Может, это мой тайный секрет?» – «Да все же», – кричит. «Ну, зовите хучь, Олею». – «Ну что Оля: врите все... хороша Оля, да с ней недоля!., вы заправское имя скажите!..» – «А уж ежели хотите знать заправское, то зовут Помидора...» А он, что же, черт зевластый? Как загогочет... ровно боевой гусак! И сейчас же экономку, Раису Михайловну, кличет. «Вы бы, – кричит, – плутовки, поддельщицы питерские, свою полковницкую дочь хоть врать складно выучили!.. одно с вашей стороны ко мне невнимание и мошенство! Так уж только за красоту не увечу, да что деньги вперед заданы».

Две девушки были из безличных, но красивых и бойких петербургских немок. Пятая и последняя – особа уже лет тридцати пяти, или казавшаяся настолько по старообразию, превосходно сложенная, хотя и сильно ожирелая, – была очень некрасива грубым, что называется, носорожьим лицом «кожевенного товара», с большими белесоватыми глазами и носом, изучавшим движение планет на небесах.

– Нет ничего, что бы Антонина не могла рискнуть! А ругается она, как орган! Если заведен, будет сыпать четверть часа, не передыхая, и все разные слова!.. Купцы ее за это страсть обожают!

Столь исключительными данными объяснялось, почетное не по наружности, место Антонины в буластовском деле. Кроме того, у нее было чудеснейшее контральто, которым она мастерски пела под гитару цыганские песни. За этот талант и за грубую, мужественную развязность Антонина и между товарок занимала привилегированное, господствующее место. Немки ее обожали и чуть не дрались между собой за близость к ней. А Антонина обходилась с ними небрежно и повелительно.

* * *

Эта женская компания приняла Машу не то чтобы враждебно, но с тем насмешливым злорадством, каким люди в скверном положении сами встречают падающих в него новичков: была рюлинская, стала буластовская, значит, не в гору, а под гору, не на поверхность, а ко дну.

– Ты угости барышень на новоселье, – посоветовала Лусьевой в первый же день звероподобная Федосья Гавриловна. – Скорее по-дружишь.

– Я рада, но денег нет.

– Пустое дело: отпущу всего, что спросишь, проставлю на счет. Хоть на сто рублей!

Огромной выгодой обитательниц корпуса перед квартирными было отсутствие «жильцов». Мужское население корпуса представляли кучер и, по жаргону дома, «слоны» – два гиганта-лакея, один лет тридцати пяти, другой уже к пятидесяти. Кучер был женат на одной из горничных корпуса, а гиганты оба, – хотя могли бы поставить себя в отношении невольниц на ту же ногу, что и жильцы по квартирам, и уж, конечно, не Прасковья бы Семеновна им запретила, – пренебрегали своими возможными привилегиями. Младший – потому, что был безумно и без всякого успеха влюблен в Фраскиту и, перенося от нее тысячи обид, насмешек и неприятностей, не поднимал даже взгляда на других женщин.

– От Федора – Фраскиткина смерть! – про-рочила густым своим голосом опытная Анто-

нина.

– Развести бы их? – рекомендовала Федосья Гавриловна.

Прасковья Семеновна презрительно фыркала:

– На кой ляд? Чтобы энтот буйвол вовсе рехнулся от ревности да раз по десяти на день бегал ее проведывать? Забыла, как он в прошлую зиму изломал Ваньку Кривулю? Того еще не хватало, чтобы «жилыцы» друг на дружку смертным боем шли!

Лусьева никогда ни раньше, ни позже не видала человека так страстно влюбленного, как Федор. Это было настоящее сумасшествие от любви. Он совсем разучился говорить, целыми днями молчал и все думал. Если Фраскита была у него на виду, он не отводил от нее глаз. В остальное время сидел в передней на скамье и тупо смотрел на носки своих сапог, гвоздя мозги одной и той же больной мыслью.

– Зарежет тебя Федька! – все в один голос остерегали Фраскиту.

Она, гордо раздувая сильные ноздри типичного еврейского носа, говорила:

– А ну?!

Буластова, дорожа Федором, увещевала его:

– На кой дьявол она тебе далась?

– Жениться... желаю...

– Нашел на ком! Лучше не выберешь?

– Не желаю.

– Да и как женишься? Ты русский, она еврейка.

– Выкрещу.

– А если не захочет.

– В Турцию увезу, там есть город Солоника... Я уж знаю, был. Там греческие попы за лиру кого с кем хошь...

– Однако, парень, у тебя это обмозговано!.. – с почтительным любопытством рассматривала его Буластова. – А вдруг не перевенчают?

– Ейную веру приму.

– Н-ну-у?!

Буластиха только качала головою.

– А лучше бы ты свое это баловство прекратил. Такой прекраснейший молодой человек и из себя картина... Плюнь! Одна она что ли? Среди каких красавиц живешь...

– Не желаю... – угрюмо мурчал Федор, изучая носки сапогов.

– Ах, черт бровастый! Ну хочешь: прикажу, чтобы жила с тобою?

– Не желаю... чтобы приказывать...

– Тьфу!

К «гостям» Федор Фраскиту не ревновал, а если ревновал, то хорошо скрывал скрипение своего сердца: ремесло ведь! – но ни один «жилец», никто из мужчин-завсегдатаев, часто входящих в буластовский вертеп, не смел и подумать об ухаживании за Фраскитою. Классическая трепка, которую корпусный «слон» задал жильцу Ваньке Кривуле, легендарным предостережением огласилась по всем квартирам.

– Я у вас бывать не стану! – орал на саму Буластиху чопорный и франтоватый немец, домовый годовой врач ее, доктор Либесворт: популярнейший в своем роде на весь Петербург специалист, с которым, однако, пациенты избегали раскланиваться при встречах. Медицинским надзором этого гения особого рода буластовские затворницы были окружены едва ли не с большей тщательностью, чем

подвергаются ему настоящие зарегистрированные проститутки... Его же услугами предотвращались, редкие в среде этой – невыгодные для хозяйки беременности. – Я не могу! Ваш «слон» действует мне на не-е-е-ервы!.. Ну что особенного в том, если я даже и увлекся? Ну разумно вас спрашиваю, – ну что?! А он... это-кое грубое (доктор с отвращением произнес: «гррэбое») животное!.. Нет! Я... я... я и гэвэ-рить о нем не хочу!.. Однако мой цилиндр стоил двадцать пять рублей. Вы, madame Буластова, можете вычесть там с него или как вам угодно... но я ставлю вам в счет двадцать пять рублей! Да-с!

– Ты что же, облом?! – налетала Прасковья Семеновна на Федора.

Тот смиренно принимал плюходействие, но повторял:

– Не желаю... чтобы...

– Хоть бы вы, чертовки, отбили его у Фраскитки которая-нибудь! – озлилась Прасковья Семеновна. – Я, Федор, если ты не образумишься, кажись, тряхну стариной, сама за тебя примусь...

– Ваша воля хозяйская, – уныло басил со-

зерцатель своих сапог, – но токмо я... чтобы в законный брак... желаю...

Другой «слон», – звали его Артамоном, – был человек делового характера, солидной лакейской складки, читатель газет, знаток биржевой хроники, скупец, мелкий ростовщик и в доме, и вне дома, человек с капиталом и с будущим. Он уже четвертый год жил в постоянной связи с «Княжной», о которой Маша еще у Рюлиной слыхала как о главном буластовском козыре, держал ее в большом повиновении и новых побед не искал. Когда Маша вступила в корпус, «Княжна» была в отлучке – под охраной все той же Анны Тихоновны, украшала своим присутствием Ирбитскую ярмарку.

– Каждую зиму посылаем, – повествовала Маше Федосья Гавриловна. – Прошлый год одиннадцать тысяч хозяйкиной пользы вышло, да Артамон четыре билета купил... а чем Анна Тихоновна и Зоя Маркеловна попользовались, это уже их счастье: не расскажут! То же небось сот по семи в чулке под пяткой привезли, а то и все тыщу!.. Вещи «Княжна» получила... очень значительные: браслеты,

кольца... шубку песцовую... мне чудеснейших соболей подарила... Потому – такое – срединное место, именитое купечество!.. Сибиряки расейских перешибить хотят, а расейским в капитале уступить амбиция не позволяет...

По портрету «Княжна» Маше совсем не понравилась: узкое, длинное лицо малокровной и уж не очень молодой блондинки, с носом, тонким, как лезвие ножа, с маленькими, неласковыми глазами и слащавой, лживой улыбкой на растянутых губах.

– Да! – многозначительно подмигнула Федосья Гавриловна, прочитав на лице Маши полное разочарование. – Рожа не рожа, а таки мордальон!.. Один нос на троих рос – «Княжне» весь достался... А зарабатывает лучше всех. Потому что – «Княжна»!.. Нашей публике оно, понимаешь, лестно...

Глава 16

«Княжна» занимала в корпусе недурную комнату с маленькой прихожей и альковом, красиво отделанную, – впрочем, за ее личный счет. Другие женщины ютились в грязных, тесных каморках-спальнях, не видавших ремонта чуть ли не с легендарных грессеровских времен. Впрочем, лучших логовиц для сна они – ленивые, зажирелые, распущенные – и не требовали. Нужно было именно логовище, а не жилье: постель, чтобы валяться на ней по целым дням – «до востребования», и туалетный столик. Никогда ни одна из этих женщин не развлекала себя ни чтением, ни работой. Над рукодельницами издевались, и первая – сама хозяйка. Шить, вязать, вымыть что-либо из белья для самой себя считалось позором, унижением: на то горничные, прачки – парии ручного труда; аристократки труда полом смотрели на них с неизмеримого высóка, полные трагикомического презрения.

Лень и неряшество обстановки отражались неряшеством ленивых, холеных тел. Под

бархатом и шелком скрывались грязные юбки; шею мыли под большое или малое декольте, глядя по случаю; в великолепных прическах не в диво были насекомые. Все в притоне было нарядно вечером, все грязно и унижительно днем. «Гостей» здесь, в комнатах барышень, конечно, не принимали. Для них имелся в передней и парадной части бельэтажа обширный зал, убранный с трактирным шиком, и три соответственных боковых к нему покоя, по востребованию превращаемые в спальни. Если их оказывалось недостаточно, лишние пары переселялись в меблированные комнаты пятого этажа. При том в смысле «приема гостей» корпус сравнительно мало работал, открывая свое большое помещение лишь для крупных и многолюдных оргий. Маленькие свидания Буластова предпочитала устраивать по квартирам.

Маша, сперва, осталась вовсе без комнаты.

– Уж я тебя, Машенька, попрошу на первых порах, покуда отделается помещение, потеснись, поживи у Федосьи Гавриловны.

Буластиха врала: помещение было, притом отличное, и со временем Маша именно его

получила. Да и всей «отделки» потребовалось только открыть из комнаты экономки дверь, бывшую на ключе и завешанную ковром с изображением двух купающихся нимф, да передвинуть экономкину слоноподобную кровать к противоположной стене. Но хозяйка, попервоначально, боялась оставить Машу жить одну в отдельной комнате.

– А вдруг удавится? вдруг убежит? вдруг расшибет стекла, бросится из окна либо просто устроит скандал на целую улицу?

Осторожности ради, Маше не было поставлено в комнате Федосьи Гавриловны даже особой кровати. Экономка, как некий цербер, укладывала Машу на огромный двухспальный одр к стене и затем отрезала ее от всего мира своей колоссальной тушей, поразительно чуткой во сне. Туша храпела, видела сны, даже бредила, но – чуть Маша открывала глаза, в тот же момент, по неизъяснимому сторожевому инстинкту, открывала их и Федосья Гавриловна.

– Спи, бессонница! баюн тебя не берет!

Комната экономки была просторная, солидная, опрятная. Федосья Гавриловна содер-

жала ее в большой чистоте.

Стены усеяны были фотографиями в рамках, преимущественно женскими. Марья Ивановна признала два-три лица, знакомые ей по дому Рюлиной, и ей стало как-то легче: ага, мол! значит, не я первая здесь, не я и последняя! Над пузатым комодом, крытым парусной скатертью, висел в овальной рамке большой портрет необыкновенно дюжего офицера в гусарской форме. Вглядевшись, Марья Ивановна узнала в лихом гусаре не иного кого, как хозяйку комнаты, экономку Федосью Гавриловну. Должно быть, она самой себе очень нравилась в этом воинственном уборе, потому что, кроме большого портрета, гусары меньших размеров со всех стен, то фасом, то в профиль, пучили гигантскую грудь, хватали туго обтянутыми толстейшими ляжками, топырили зад готтентотской Венеры.

Действительно, Марья Ивановна нашла, что в мужском костюме «экономочка» куда пригляднее, чем в дамском туалете, и природа преподло подшутила над нею, сотворив ее женщиной: в мужчинах была бы красавец не красавец, но молодец хоть куда. Заметив, с

каким самодовольством экономка показывает эти свои изображения, и, памятуя, что на лесть не только звероподобные люди, но и крокодилы падки, Марья Ивановна, на всякий случай, немножко сподличала.

– Какая вы здесь интересная! – воскликнула она, – прелесть, как вам идет... просто, душка, – влюбиться можно!

Федосья Гавриловна самодовольно захохотала и, в виде милостивой ласки, тяжело ударила пленницу ладонью между лопаток.

– А ты влюбись!

– Нет, право... без шуток!.. На вашем месте я всегда бы так ходила...

– Хозяйка не позволяет, – возразила Федосья Гавриловна со скрытой грустью, почти со вздохом. Да и, конечно... так, иной раз, для машкарада, отчего не пошутить, а вообще не пристало... Экономка не барышня... Это вашей сестре пристойно рядиться во всякие виды, чтобы завлекать «понтов», а экономка должна соблюдать свою солидность... Ты хоть радугой выпестрись, а мне – темное платье, наколка, передник пофрантовитей да бант на груди...

Как большинство женщин, промышляющих живым товаром и обслуживающих этот рынок, ни Буластиха, ни Федосья Гавриловна сами никогда проститутками не были, чем весьма откровенно гордились пред своими жертвами и чем, может быть, объяснялось их презрение и жестокость к жертвам.

При разврате и жадности Буластихи, конечно, не добродетельные соображения ее сдерживали. Смолоду она была недурна собой и, на посту хозяйки, случалось ей терпеть жесточайшие искушения.

– Мне подлец Широких, – хвастала она, – пьяный черт, самодур иркутский, – вот в этой самой зале, – десять тысяч, как одну копеечку, вывалил на паркет, чтобы я с ним пошла вместо Лидки Шарманки... помнишь, Федосья? красавица была, не нам с тобой чета... Да ведь этим дьяволам, самодурам, главное – подай запретное, чего достать нельзя... Сердце перевернулось и кровью обливалось... убила бы его, мерзавца, как он швырял пачками по паркету... Однако скрепилась, выдержала характер... Потому что иначе – назавтра – какой же был бы здесь над всеми мой афторитет?

Ферфаллен ди ганце постройке! Вся дисциплина к черту под хвост!

* * *

Определение Маши на постоянное и столь интимное житье к Федосье Гавриловне было встречено в корпусе градом насмешек, грязных острот и намеков, которые звероподобная экономка принимала со снисходительной руганью и самодовольными улыбками, а Лусьева – раздражаясь до бешенства, до слез...

– Оставь. Что тебе? От слов не слиняешь! – уговаривала возвратившаяся из Ирбита «Княжна», сразу очень хорошо подружившаяся с Марьей.

– Мне обидно, что врут гадости...

– Наплевать!

– Да! Если бы ввали про тебя!

– Успокойся: ввали и про меня, покуда не надоело. В высокой степени наплевать! Надоест врать одно и то же, – оставят в покое и тебя, начнут есть какую-нибудь новенькую. Через эти сплетни нашей сестре обязательно пройти. Я даже советую тебе не слишком спорить против них. Из них тебе может быть польза. Сплетни ей льстят. Она слушает, что

врут и – будто сердится, а сама надувается от радости, как индюк! – стало быть, и сама будет к тебе мягче, чем к другим, хозяйкин гнев разобьет когда понадобится: за ее спиной – как за каменной стеной... Прасковья-то наша не только ее уважает и слушается, а даже и побаивается: уж слишком давно работают вместе, много общих делишек на совести... Держись, Марья, за Федосью! держись!

– Да! – пробормотала Маша, – хорошо, если все обойдется словами... А если она заберет в голову фантазию – на самом деле?

«Княжна» посмотрела на подругу пристально, мрачно.

– Э!!! – сказала она и отвернулась.

И в коротком звуке ее безнадежного восклицания Маша угадала: «Ну что ты притворяешься дурочкой и фигуры строишь? словно малолетняя. Кто попал на дно ада, тому поздно читать чертям лекции о добродетели...»

Маша покраснела. В узеньких глазках «Княжны» она прочла недоверие к искренности ее опасений и негодования: ну как это «рюлинская», – после нескольких лет в школе и практике изощренного генеральшина при-

тона, – вдруг оказывается столь невинной институткой, что для нее новостью являются самые обычные похождения вертепного быта? Роман с экономкой – экая, подумаешь, важность какая! кто через это не проходил? Стоит поднимать столько шума из-за таких пустяков!

– У нас, у Рюлиной, – возразила Маша, – пошлости эти показывались только в живых картинах... для графа Иринского и других старых подлецов...

– Будто бы уж, только? – недоверчиво удивилась «Княжна».

Маша нетерпеливо отвернулась, кусая губы.

– Ну, пожалуй, бывало иногда баловство... шалости, спьяну... Жозька безобразничала... Актрисы две приезжали, графинька одна... Но – чтобы в жизни, чтобы всерьез, чтобы почти открыто, – никогда! никогда! Никому и в голову не приходило такого срама. Ни за что!

«Княжна» любопытно воззрилась на нее:

– В самом деле? Ну, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, а, как видно, устав на устав не приходится. У нас это – чуть ли не

высший шик... Наслышались, что так водится за границую, в Париже, – стало быть, подавай и нам, в Гостиный двор – последнюю моду. У Прасковьи Семеновны в «корпусе» и по квартирам жило прежде много француженок, а в особенности немок, берлинских. С них это и взялось, и пошло. А уж где завелась однажды эта зараза – кончено: скоро ее не выкуришь, будет расползаться, как экзема какая-нибудь эпидемическая... Ведь знаешь, как мы, русские, все заграничные моды перенимаем: если в Париже золотник, так у нас фунт, если в Берлине аршин, так мы сажень вытянем. А сколько нашей сестры на этом вконец оскверняется, до скота бессмысленного тупеет и, развратом захлебнувшись, душой и телом гибнет!.. Уже одну Антонинку нашу – если бы моя воля была, я повесить велела бы: она ведь теперь зачинщица всей этой грязи и тондает. Немочки эти обе – Клара и Густя – еще полгода назад, когда поступили к нам, какие были чистенькие, скромные, робкие, как стыдились и тосковали, что несчастная судьба бросила их на путь наш безрадостный! А сейчас – Антонинкину школу прошли – ведут се-

бя халды халдами, стали грязь грязью. От чего прежде плакали и приходили в отчаяние, – Клара-то на первых порах у нас в петлю было полезла! – теперь хохочут... хвастают... бесстыдничают!.. А ведь Кларе всего двадцатый год, а Густе нет девятнадцати. И для обеих Антонинка – божество земное: кулаками дерутся между собой из-за того, на которую она ласковее посмотрит. А она – ведьма, тварь. Она уже одну девушку – грузинка была, Тамарой звали – довела фокусами своими до кровохаркания. А другая, Лиза-одесситка, нажила себе нервные припадки, истеричка сделалась, так себя искалечила, что уже как будто и в уме мешаться начинала. Галлюцинации имела, страхи таинственные. Теперь ее в Финляндии водой лечат... «понт» один богатый разжалобился, – выкупил ее у Прасковьи Семеновны и денег дал. Марья Ивановна возразила:

– Я, Лидия, не понимаю. Все говорят, и я сама вижу, что Прасковья Семеновна ужасно взыскательная и строгая. Как же она-то это терпит и попускает?

– Сама хороша, – желчно отозвалась

«Княжна». – Ты еще не знаешь, ты вообразить себе не можешь, что это за скотина, какая это развратная тварь! Более скверной бабы я не видала!

– Однако не пристает же она, как Антонина...

– Так это потому, что она о себе понимает очень высоко, а нас презирает, как последнюю дрянь. Мы для нее не люди, а рабыни, живой товар. Она брезгует собственным товаром. А ты порасспроси прислугу, что у нее в личных ее покоях творится. Она не признает ни мужчин, ни женщин: ей подай тринадцать, четырнадцать лет... И – свирепая ведь она, мучительница... Черт знает что проделывает! В прошлом году чуть-чуть не засекала паренька одного, а пять лет назад гимназистика на полотенцах до бесчувствия закачала... Ей ли других унимать? Она только издевается да тешится.

– Пусть даже и так, но ведь ей же не выгодно, если одна девушка чахотку наживает, другая сумасшедшей делается... Значит, они перестают годиться в работу. Она теряет на них.

«Княжна» отвечала сурово и насмешливо:

– Не беспокойся, не просчитается. Еще будет ли чахотка, еще когда-то сумасшествие, а до тех пор ей за Лизами да Тамарами несчастными и сторожей не надо, – хоть веревки из них вей, хоть ходи по ним, как по живым половицам, хоть розгами секи их каждый день, только не разлучай. Ты смотри: немки наши горемычные даже свободными днями не пользуются, никогда ни шага из дома, кроме как на «работу», сторожат свое сокровище, точно их привязывает к «корпусу» невидимая цепь. Ты, я, Фраскита, пожалуй даже Нимфодора глупая, – только покажи нам выход на волю, убежим куда глаза глядят. А Клару и Густю разве что силой Прасковья Семеновна прогонит из «корпуса»: по своей воле они не уйдут никуда. И буфету от них доход немалый: все три – что ни добудут на булки, сейчас же вместе проедят на сладостях и пропьют на ликерах. А бутылку ликеру Федосья ставит в пятнадцать рублей, а полуфунтовая коробка конфет у нас – три целковых. Все кругом в долгу, закабалились до того, что в десять лет не раскабалиться. Таких особ, как Антонина, хозяйки на вес золота ценят, а ты хочешь,

чтобы Прасковья Семеновна ей противодействовала? Не так глупа!

К сожалению, «Княжна» была совершенно права, заподозрив Машу в неполной искренности. «На самом деле», которого возможностью Маша возмущалась для будущего, уже давно было настоящим, – только таились... А после разговора с «Княжной» Маша, с обычной своей трусливой покладистостью, рассудила, что с волками жить – по-волчьи выть: хвастать нечем, да и очень скрывать не стоит. Выгоды покровительства Федосьи Гавриловны, высчитанные «Княжною», выяснились Маше с каждым днем наглядно и осязательно. Она чувствовала, что, сравнительно с рабством прочих женщин «корпуса», ее рабство еще бархатное. И, мало-помалу, для самой себя незаметно, через ежедневные мелочишки, стала все менее стесняться и все прозрачнее входить в роль «экономкиной душеньки».

Месяца через три по вступлении в «корпус» Маша получила, наконец, отдельную комнату, – смежную с экономкиной, через открытую дверь. По этому случаю «корпусные»

товарки потребовали с Маши угощенья на новоселье, а чтобы веселее было, выдумали сыграть шутовскую свадьбу. Пир был на весь мир: все силы и власти «корпуса», с самой Буластихой во главе, все барышни, вся прислуга и почетные гости из квартир. «Венчания» не играли: жестокость и распутство не препятствовали Буластихе и Федосье Гавриловне быть религиозными и опасаться кощунства, которое не пришлось бы по сердцу также и многим из барышень и прислуги. Федосья Гавриловна, в роли новобрачного, величественно принимала гостей, облеченная в фрачную пару, а Марья Ивановна – в том венчальном туалете, что некогда сшила ей Рюлина для прельщения сумасшедшего «Похитителя невест». Пьянство на этом шутовском свадебном пиру было великое, а счет долга Марьи Ивановны в книгах Буластихи удлинился колонкой двух и трехзначных чисел с четырехзначным итогом. Несмотря на то, что Федосья Гавриловна для своего праздника ставила цены милостивые, почти лавочные!

* * *

Первые три дня Марья Ивановна провела

как бы в заключении: безвыходно, безвыездно. Приходили какие-то факторши темного вида, Буластиха и Федосья Гавриловна знакомили с ними Машу. Те говорили ей комплименты, пили чай с вареньем и ромом, шептались с хозяйкой или экономкой, некоторые получали Машины фотографии – как обыкновенные, так и из коллекции Адели (эти последние, конечно, потихоньку от Маши) – и уходили. Сама Буластиха тоже несколько раз выезжала со двора, забирая с собой Машин «пакет»... На четвертые сутки Маше уже с утра было велено хорошенько заняться своей красотой. А когда смеркалось, Федосья Гавриловна села с ней в карету и покатила на Васильевский остров.

Карета высадила женщин у одного из очень многих подъездов огромного пятиэтажного дома, протянувшегося чуть не на целый квартал по линии и долгими глаголями загнутого в переулки. Федосья Гавриловна и Лусьева стали подниматься по бесконечной петербургской лестнице: тусклой, узкой, грязноватой и не из ароматных. Экономка пропустила Машу идти вперед, а сама отставала

только на ступеньку. Подниматься надо было на самый верх. У довольно обдерганной двери без дощечки Федосья Гавриловна дернула за звонок, и – Сезам тотчас же отворился: выглянула толстая рябая горничная, а за ней высился угрюмый детина с шрамом под глазом и в буйных кудрях. При виде Федосьи Гавриловны лица обоих приняли выражение подобострастного восторга. По коридору навстречу вошедшим спешила худощавая пожилая дама с льстивой и глуповатой улыбкой на изношенном и, заметно, знавшем много лучшие дни лице. Одета она была в черный шелк и очень прилично, но как будто немножко с чужого плеча.

– Ах, душечка, Федосья Гавриловна! – взвизгнула она. – Ах, как я рада! А мы уже в отчаяние приходили... Ждем, ждем...

– Ты нас прямо к себе веди, – чуть кивнула ей экономка. – Там и разденемся.

– Слушаю, душечка моя! С особенным удовольствием!

По тесному коридору они прошли гуськом, стараясь не зацепить низко опущенную керосиновую лампочку, в небольшую комнату с

множеством образов в углу и полочкой душе-спасительных книг, над полуторной деревянной кроватью с высокими подушками и малиновым стеганым одеялом.

– Скидай шубку, – приказала Федосья Гавриловна Маше, только теперь здороваясь с дамой за руку. – Вот, познакомьтесь, что ли: Марья Ивановна – Евгения Алексеевна, хозяйка здешняя... У, шуть песский! Из всех квартир хуже твоего тычка, Евгения, для меня нет, шутка ли? Семьдесят три ступеньки!..

Она лоснилась, как атлас, и пыхла, как паровик.

– Очень приятно сделать такое милое знакомство!

Дама протянула Маше худую холодную руку с вздутыми синими жилами.

– А «обже» ваш давно уже томится... просто стораает нетерпением! Ах, только теперь я вас во всей вашей красоте, милочка, вижу!.. Что это? Прелесть какая вы хорошенькая!.. У нас такой даже еще и не бывало!.. Очень счастлива! Я вас, mademoiselle, давно знаю: по театрам видала, в цирке... Просто заочно влюблена в вас была: такая душка, радость, ангелок!..

И всегда, бывало, думаю: ну что она там у Рюлиной? Лучше бы к нам. И вот, наконец, какова судьба-то? – ну, ждали ли вы того? – привел Бог познакомиться!..

– Ты, Евгения, не трещи, – бесцеремонно оборвала ее Федосья Гавриловна. – Твоих всех слов до будущего года не переслушать. С кем этот у тебя там?

– Его занимают Эмилия Карловна и Клавдюшка.

– Покличь-ка Эмилию сюда, а сама там куда побудь-останься.

Дама ушла, не очень довольная, но все же, по привычке, льстиво и восторженно улыбаясь.

– Это я для тебя стараюсь, – сладко сказала Маше Федосья Гавриловна, – хочу познакомиться тебя заранее с экономкою. Потому что – Евгения эта лишь на словах притка, а вся цена ей медный грош, и в деле она ровно ничего значит. Так только, что паспорт очень хороший и представительность имеет, за то и держим... А то бы – и жалованья жаль... А Эмилия Карловна – солидный огурец: не раз тебе придется водить с ней хлеб-соль. Баба не

из злобных, но с норовом и почтение любит. Ну, стало быть, значит, и – не плюй в колодец, пригодится воды напиться.

Вплыла небольшого роста шарообразная немка из типа, про которую русский народ говорит: «Лихорадкой беднягу било, – все кости вытрясло, а восемь пудов мякоти осталось».

– О? Ви?! – с приятностью заулыбалась она.

Федосья Гавриловна познакомила Машу. Узнав, что девушка владеет немецким языком, Эмилия Карловна, сразу к ней расположилась.

– Ты, Эмилия, соблюдай, – внушала Федосья Гавриловна, – чтобы твои оболтусы, Боже сохрани, ее не обидели.

– Aber, meine миля Теодос Кавриль! пошалошта, путте покойник! Я ошинь карашо виталь, какой Марь-Фан шельфек, и путу ее заграниль, как айне синица в глазе!

– Ты так всем и скажи: ежели грубости, охальство, вопче безобразие, я взыщу хуже, чем за десять княжон...

– Путте покойник! путте покойник! – гостеприимно приглашала усердная немка.

– А затем проминаться мне здесь с вами

нечего. Тот-то что делает?

Эмилия Карловна сожалительно подняла брови кверху узенького лба.

– Пил с Клавдюша отин путилька шампань.

– Ишь, скаред! Ну мы с Машей его подкуем. Ты это, Марья Ивановна, памятуй себе паче всего: вина – сама пить хоть и не пей, а спрашивать вели походя... Это у нас – в первый номер. У Рюлиной вашей, сказывают, хороших гостей вином даром поят, хоть облейся, – так зато Адель-ка с них снимает тысячи. А мы женщины скромные, до тысячи и считать не умеем, – ну, а за винцо нам заплати!..

Она вывела Машу в небольшой, очень небогатый и изрядно закопченный залец, в котором на стене красовались картины, изображавшие – одна жертвоприношение Авраама, другая – Вирсавию в купальне: рыночные произведения ученической васильеостровской кисти, вероятно, когда-нибудь застрявшие при квартире за долг. Под аляповатой Вирсавией, на диване, восседала не менее аляповатая девица в китайском пеньюаре и с папиросой в зубах. Навстречу Маше она испу-

стила притворно-радостный визг:

– А вот, Семен Кузьмич, и моя подруга!..
Здравствуй, душка, ангел, небожительница!

Марье Ивановне пришлось наивнейше об-
лобызаться с особою, которую она, хоть при-
сягнуть, – видела впервые в жизни. Евгения
Алексеевна сидела тут же. Она изображала
снисходительную тетушку, *grande dame*, а
аляповатая особа – ее шаловливую племянни-
цу... Спектакль разыгрывался для малоросло-
го молодого человека, с незначительной фи-
зиономией, обросшей мутными, рыжеваты-
ми волосами; галстук у него был голубой с
изумрудной булавкой, а глаза, порядком под-
коньяченные, то беспокойно вращались, точ-
но колеса, то вдруг застывали в столбняке
необъяснимого испуга. Человек этот произво-
дил впечатление, будто он только что хапнул
чужие деньги и не уверен, не гонится ли за
ним по пятам полиция. Узрев Машу, он про-
сиял, перестал вертеть глазами и несколько
приосанился. Полилось вино... Купца, дей-
ствительно, «подковали». Время от времени
Федосья Гавриловна подмигивала другим
женщинам – те, поодиночке, вставали и ухо-

дили. Наконец она сделала знак и Маше. И та вышла.

– Ну-с? – победоносно воскликнула Федосья Гавриловна, оставшись с гостем наедине. – Видал? Врали мы тебе или нет?

– Дили... лиди... леди... деликатес!.. – лепетал нагрузившийся вращатель глазами.

– Д-а-с! Нет, ты скажи, портрет видал? казали мы тебе портрет? отличает хоть эстолько? врали мы тебе? скажи, ответствуй: врали?

– Не м-мо-огу на себя брать... Лиди... дили... катес!.. И должен к вашей чести приписать, потому что все такое... по совести...

– Да! И генеральская дочь! Хошь – все документы на стол? За нее, брат, три графа сватались! Графы! Можешь ты вникать?

Глаза Семена Кузьмича затвердели в столбняке.

– Б... б... б... бароны лучше! – все-таки протестовал он, хотя и с нерешительностью.

– Много ты понимаешь! Баронами, брат, у ейнаго отца все притолоки обтерты.

– Б-баронами? – в священном ужасе возопил Семен Кузьмич.

– Ими самыми! – храбро подтвердила ре-

шительная дама. – Сейчас умереть. Эка невидаль – бароны твои!.. Тебе, по низкости твоего рождения, они, может быть, и в диковину, а нам – тьфу! Вот мы как высоко себя понимаем!

– Ну, и значит, – перешла она в деловое объяснение, – коль скоро мы свое слово к вам сдержали и барышня вам нравится, то позвольте условленное с вас по уговору получить.

Тем временем Марья Ивановна оставалась на попечении аляповатой девицы...

– Вас Марьей Ивановной звать? – трещала та. – Давно вы у Буластовой? А прежде у Рюлиной были? Вы, говорят, из благородных? Я сама вахмистрова дочь и в пинционе два класса была, но – ежели превратный кирасир?! Ах, слабость нашей сестры не подлежит описанию и очень достойна удивления!.. В корпусе живете? Там у вас девица Нимфодора – все ли здорова? Подружка моя, прекраснейшая девушка, только глупа очень... Ах, жите вам, корпусным! Я к вам как-нибудь в гости отпрошусь, – можно? Когда самой дома не будет? Ужо я скличусь с вами по телефону-

ту... Можно? Федосья Гавриловна – та пушай, она девицам к знакомству не супротивница... Гы-гы-гы! Наслышаны мы... Уж вы! Шельмы рюлинские!

Девушка захохотала и пребольнохватила Машу с размаху по плечу.

– Вы мне ключицу сломаете, – сказала Лусьева.

– Ишь, нежности!.. А везет-то вам как, именно уж можно сказать, что фартит: какого теленка черт смазьяжил! Энтото – хоть развинти, пальцем не тронет... А вот я, душенька, распронесчастная уродилась на тот самый счет: ежели, скажем, я нонеча во сне капусту вижу, беспременно меня вечером гость бьет! Но только вы того, не опасайтесь: у нас долго скандальничать не полагается, и «жилец» Александр – чрезвычайно какой сильный. По осени купчик тут один кутил со своими молодцами – так Александр их всех четырех, через всю лестницу, скрозь пять этажей, на улицу вышиб... Пристав опосля приходил: «Мадам, на вас жалобы!.. Потрудитесь в вашем неправильном поведении, чтобы потише...» Евгения Алексеена испугалась, только присе-

дает перед ним да клохчет, будто курица. Ну а Эмилия эти дела знает! Сейчас – бутылку шампанского на стол, четвертной билет в салфетку, меня с Еленой позвала: это тоже девушка здешняя, она нонеча к Анне Тихоновне в корпус на финский вечер взята, – Перинная линия гуляет... А вы каких наших хозяек знаете? Ах, еще первую!.. Ну, наша Евгения – что! Только божественные книжки читает да с «жилецом» амурится... А тот на нее, старую кощею, и смотреть не хочет. Он в меня влюбленный. А в вас кто влюбленный? Гы-гы-гы... Слуште! – понизив голос, зашептала она деловым тоном. – Ежели «понт» энтот положит вам под подушки на булавки, вы меня не забудете, – а? Вы, душка-ангел, не жалеите: вы не нашей сестре чета! Я знаю: за вас Федосья три сотни слупила... вы аристократная богачея, а нам, беднягам, откуда взять?

– Какая же я богачея? – даже ахнула Маша. – У меня за душой гроша нет.

Девушка торопливо закивала головой.

– Понимаю, душонок мой, все понимаю!.. Да ведь – положит! смекаете? – положит! Вот вы тогда и поделитесь. Я с вами за это всегда

дружить стану. Да! Вы не беспокойтесь: я заслужу!.. Очень могу вам пригодиться. Авось не последний раз вы у нас гостите... Господи!

Маша обещала.

Утро, заставшее Лусьеву в этой квартире, было сплошь отравлено попрошайничеством. Начала Эмилия Карловна:

– Сколько вы получили на булавки, шацхен?

– Двадцать пять рублей, – с досадой, измученная, желтая, злая, полусонная, отвечала Лусьева; эта подачка унижала ее в собственных глазах не только женски, но даже «профессионально». У Рюлиной она швырнула бы бумажку в лицо мужчине, на смех сожгла бы ее на свечке... Но немка взглянула на Машу не без почтения:

– Шон, киндхен, шон! Зер гликлихь! Очень удашно!

И тотчас же объяснила.

– У нас такое положение. Если вы получаете на булавки, то двадцать пять процентов поступают в пользу экономки. Абер, майн кинд, вы такая симпатичная, для первого знакомства, вы, наверное, прибавите мне ма-

ленькую безделицу в подарок.

Маша сконфузилась и дала ей десять рублей. Пять рублей отстригла у нее льстивая, улыбающаяся, слезливая Евгения Алексеевна. Три – вчерашняя аляповатая девица. Три, – масляно, рабски и в то же время как-то угрожающе ухмыляясь, – выкланял «жилец». Рубль сама Маша сочла нужным дать горничной, которая много ей служила.

В конце концов, она с жадным нетерпением, как дорогого, своего человека, ждала, скоро ли приедет Федосья Гавриловна, чтобы увезти ее из этой западни. Ей уже начинало казаться, что канюки-просители, с холуйски-приниженными и настойчивыми глазами, лезут к ней из каждой двери, из каждой щели... Кто, ослабляясь, кланяется и протягивает руку, кто сообщает, как наглый, разбойничий закон:

– У нас такое положение!

Ночь, каждое воспоминание о которой передергивало Лусьеву отвращением, самой ей принесла... три рубля!..

Маша даже побледнела, и губы у нее затряслись, когда сосчитала свои доходы! Ей хо-

телось избить хищников, снявших проценты с жалкой стоимости ее тела... А надо было сдерживаться, проглотить и обиду, и слезы, и любезно улыбаться Эмилии и Евгении, которые теперь очень хлопотали ей угодить.

Кучер, привезший Машу с Федосьей Гавриловой в корпус, тоже снял шапку:

– На чаек бы с барышни?

Маша, не глядя, с ненавистью стиснув зубы, бросила ему последнюю трехрублевку.

– Ой, девка? – удивилась Федосья Гавриловна, – что больно шикаришь? Был бы сыт и рублем.

Маша, не отвечая, прошла в свое помещение, разделась и легла спать носом в стену. Но сон не приходил, несмотря на усталость после проведенной безобразной ночи. Обида, гнев, стыд, слезы душили. Маша чувствовала себя оскорбленной, осмеянной, ограбленной, растоптанной. В ней все дрожало. Ей хотелось зареветь голосом на весь дом, но «нет, этого они не дождутся, чтобы я еще стала им истерики свои показывать!» – либо побежать, вцепиться ногтями в первое лицо, какое попадется навстречу, да так на нем и повиснуть!., ца-

рапать, визжать, ругаться, плевать, топтать ногами, биться в кровь!.. Бежали час за часом, а успокоение не приходило: разбитые нервы стонали, в сердце вселились тоска и чувство тяжелой пустоты, точно оно стало полным свинцовым ящиком, к горлу подкатывал шар... И вдруг она вскочила и села на кровати:

– Федосья Гавриловна!

– Чего? – откликнулась та из коридора.

– Поверьте мне бутылку кордон-руж.

– Мо-о-ожно!.. – весело протянула экономка. – Сухого или сладкого?

– Экстра-сек. Да похолоднее.

Двадцать минут спустя Маша пела песни и хохотала, как дурочка. Спустя час она спала мертвым сном. Опорожненная бутылка валялась у ног ее, тут же в постели.

Уже поздно вечером растолкала ее Федосья Гавриловна.

– Вставай. Сама тебя спрашивает. Гости будут.

В голове у Маши гудела и пересвистывала похмельная вьюга, комната каруселью вертелась в глазах.

– Куда же я к черту похужу? – сказала она охрипшим голосом.

Пошатываясь от опьянения сном и вином, она добрела до зеркала и ахнула: из стекла взглянуло на нее совсем чужое лицо, оплывшее, опухлое, грубое, почти без глаз...

«Словно Люция, бывало», – с мрачным отращением вспомнила она.

– Я не могу выйти такая, – решительно сказала Маша экономке. – Пусть Прасковья Семеновна извинит...

– Ш-ш-ш-ш...

Широкая ладонь Федосьи Гавриловны легла на губы Лусьевой.

– Что ты? сдурела, оглашенная? – зашипела экономка, боязливо косясь на двери. – Она те так извинит... Благодарю своего Бога, что не слыхала! Ты, Марья, эти рюлинские фокусы, пожалуйста, оставь... честью тебя прошу! У нас нельзя. У нас, друг, и в хвост, и в гриву! Я тебя, по нежности моей, добром предупреждаю. Другую бы – прямо через плечо полотенцем...

– Да как же я... вы посмотрите на меня! – залепетала струсившая девушка.

– Ступай в ванную, под душ стань... Что хочешь с собой делай, а чтобы через час к гостям выйти!.. Богатейшие бакалейщики!.. Мы у них товар берем...

Когда Маша, синяя, стуча зубами, дрожа всем телом, вся в пупырышках гусиной кожи, но уже свежая и бодрая, скоком прибежала из ванной, Федосья Гавриловна подмигнула ей на стол:

– Ну-ка, Господи благослови!

– Что это?

– Финь-шампань, питье просвещенное. На поправку нет его милее. Пей, больная: угощаю! Лучше здоровой станешь.

– Да я коньяку никогда в рот не брала.

– Начать надость. Не махонькая!

– А запьянею?

– Дура! Не знаю я, что ли, сколько поднести? Оживешь, а не очумеешь! Пей!

Глава 17

И так пошли за днями дни, за ночами ночи. Тот же проклятый успех, что у Рюлиной, преследовал Лусьеву и здесь. Только одна «Княжна» оставалась впереди ее по заработку, поступавшему в карманы Прасковьи Семеновны Буластовой. Красота и привлекательность Лусьевой все-таки тушевались за титулом и родословной тощей, подслепой, дурнозубой и скучной женщины, с десятком физических недостатков и, кажется, без единого физического достоинства. Гостиный двор и Калашниковская пристань с ума сходили не по сиятельной кокотке, а по ее сиятельству...

– Ведь от Гостомысла-с!.. Это, сказывают, еще раньше Рюрика-с!.. И вдруг... Ах-ах-ах! Вы прикиньте, извольте вместить, какво это!..

Обращалась Буластова с Лусьевои, по-прежнему, лучше, чем с остальными, но это зависело исключительно от покровительства Федосьи Гавриловны, а за покровительство экономки имели против Маши злой зуб решительно все – и женщины, и предержавшие

власти буластовского дела.

Когда Буластиха или Федосья Гавриловна наказывали или обижали какую-либо женщину, товарки ей сочувствовали, ее утешали, не разбирая, права та была или виновата. Если доставалось Маше, все торжествовали:

– Слыхали, девицы? Нонче уже и дворянок хлещут...

– Свои разодрались!

– Милые бранятся, только тешатся!

– Супружеская сцена!

Дружбы у Маши не сложилось ни с кем в корпусе, кроме «Княжны», а эта последняя почти постоянно бывала в разъездах, – на «гастролях», как угрюмо острила она. В первое время к девушке была внимательна и ласкова певунья Антонина, но именно за ее ласковость ревниво возненавидели Машу обе немки. Да и ласковость Антонины была с противным оттенком, и к самой Антонине Маша чувствовала инстинктивное, физическое отвращение. Когда же Федосья Гавриловна гласно и открыто взяла Лусьеву под свою властную защиту, Антонина озверела против Маши пуще всех и – не проходило дня, чтобы не

делала ей неприятностей.

Девушка чувствовала, что если каким-либо случаем покровительству настанет конец, то ее затравят, замучат, забьют во сто раз ехиднее и с большим зверством, чем всякую другую... на ней выместят все зло ужасного дома, которого она так долго и счастливо не разделяла с другими.

Она жила в постоянном испуге и поневоле, из чувства самосохранения, жалась к той, у которой находила себе опору. «Княжна» была права: Федосье Гавриловне льстило это покорное искажение защиты. Сама она держала свою юную приятельницу в ежовых рукавицах, но против всех других стояла за нее крепко и даже Буластихе поставила прямое условие.

– Вы мне, Прасковья Семеновна, мою Машку не троньте. Ручища у вас тяжелая, а она девушка сложения деликатного: самой вам будет невыгодно, если вы ей отобьете печенки. Вы не беспокойтесь: я вашего интереса не упущу, потакать не мастерица. Если девка что сошкодит, сама отреплю ее, по всей моей доброй совести. Но уж вашей важной ручки,

очень прошу вас, к ней не прикладывайте... Ссориться будем!

– Ну-ну, ладно!., черт с вами!.. «Два друга: колбасник и его супруга»!..

Покровительство Федосьи Гавриловны, если не совершенно избавляло, то значительно защищало Марью Ивановну еще от одного несчастья, не знакомого ей в рюлинской неволе, но слишком обычного и общего пленницам Буластихи.

«Генеральша» выколачивала из своих кабальниц огромные доходы, но сообразно своей аристократической клиентуре, и сама держала себя барыней, и «воспитанницам» своим внушала высокий тон, исключавший всякую возможность интимного соприкосновения с плебейским мирком мясников, зеленщиков, булочников и т. п. поставщиков на хозяйство дома. Адель шикарно забирала у них продукты, шикарно и расплачивалась. Не погашенный чистой наличностью счет в хозяйстве Рюлиной был большой редкостью.

Наоборот, скаредная жулик-баба, Буластиха, поставщикам своим – кому вовсе не платила, кому платила дешево, жила, не до-

плачивала, затягивала кредит вдолгую: ни с единым рублем не расставалась без спора и сделки с очередным кредитором. Поэтому между всем этим народом и ней установилась и прочно держалась полнейшая фамильярность, распространявшаяся, конечно, и на все население ее вертепа. И вот иногда на полный квит по счету, иногда за скидку или подождание долга, Буластиха нисколько не стеснялась, а даже в обыкновение взяла и всякому другому способу расплаты предпочитала – предлагать тела и ласки своих девиц. Конечно, не все кредиторы на то льстились, но в большинстве случаев Прасковья Семеновна торжествовала, и которая-нибудь из невольниц отряжалась погашать долг в порядке натуральной повинности.

Из месяца в месяц так обрабатывался бравый извозчик-лихач, обслуживавший «корпус» выездом рысака-одиночки для показательных катаний барышень по городу. Слаб был парень на женский соблазн. Подает счет на тысячу рублей, – дай Бог, чтобы деньгами получил половину. Зато – хоть прямо с козел, как был, в кафтане и сапожищах, милости про-

сим наверх, выбирай любую свободную из девиц и гуляй с ней, как хочешь и сколько хочешь.

«Кому другому – сам знаешь, Ваня, это многих сотен стоит, а тебе, за службу и дружбу, даром».

Гуляя, лихач, конечно, не хотел ударить лицом в грязь перед барышнями: тоже, мол, и мы ведь не лыком шиты! – пил, форсил, широко угощал. И, глядишь, вечера в два, в три прокучивал, по счетам зоркой и точной Федосьи Гавриловны, не только полученную с Буластихи полутысячу, но и еще сотню-другую из кровных своих зажитков.

Староста артели полотеров, мужик богатейший, но грубый, дикий и темный, как зимняя ночь, – тот прямо выговорил себе привилегию, чтобы, когда он в баню ходит, Буластиха присылала двух девиц его мыть. Повинность эту обыкновенно отправляли певунья Антонина с красавицей Нимфодорой, – и нельзя сказать, чтобы неохотно, потому что мужик был, хотя самодур, ругатель и драчун, но щедрый на подарки и угощал по-царски. Возвращались девицы из этих банных экскур-

сий пьяными до недвижности мертвых тел, а проспавшись, подарками хвастали, но о том, что между дарителем и ими происходило, даже бесстыжая Антонина говорить не любила, а лишь кратко определяла:

– Все мужчины с нашей сестрой свиньи, но уж этот бородатый подлец над всеми свиньями свинья!

Ни затворничество, ни даже хозяйкина жестокость и побои не подчеркивали рабского принижения пленниц с большей оскорбительностью, чем вот такие повинности натурою. У Рюли-ной женщина все-таки знала о себе хоть то малое, что – пусть она живой товар, да дорогостоящий, в высокой твердой цене. Хоть кабальница, да все-таки сколько-нибудь личность и ценность. Здесь – просто, какой-то меневой знак, обезволенная обезличенная живая тряпка, которая сама по себе ровно ничего не стоит, и от прихоти хозяйки-самодурки зависит, продать ее за тысячу рублей или за двугривенный. Дразнили же одну из квартирных барышень Буластихи «Малиною» – вовсе не за красоту или какие-либо особые сладкие прелести, но пото-

му, что однажды, на даче в Парголове, она послужила почтенной Прасковье Семеновне живой монетой для расплаты с разносчиком-ягодником за три фунта малины!

* * *

За широкой спиной Федосьи Гавриловны Марья чувствовала себя почти застрахованной от подобных выходов, в которых, не разобрать было у Буластихи, поскольку они диктовались скаредностью, поскольку глумливым капризом. Соображая все, что могла вспомнить Марья Ивановна о своей второй хозяйке, трудно не прийти к заключению, что эта страшная женщина, при видимом телесном здоровье двуногой буйволицы, при холодном практическом уме расчетливой барышни и ростовщицы, была, однако, аномальна психически. Скрытая, но тем более жестокая, истерия, обостренная привычкой к безудержной власти и разнузданному разврату, владела свирепой бабищей так же крепко и зло, как она своими кабальницами и то и дело прорывалась дикостями, несомненно произвольными. Потому что они самой же Буластихе были в очевидный вред, и она в

них потом не то чтобы раскаивалась, но злилась и сожалела, зачем не стерпела, поддавалась соблазну буйственного черта.

Единственным существом, имевшим некоторое влияние на эту безобразно-хаотическую натуру, искусно спрятанную под маской спокойной наглости, была Федосья Гавриловна. Связанная с Буластовой службой и дружбой чуть не с детских лет, экономка знала свою хозяйку, как собственную ладонь, умела предчувствовать, угадывать и отчасти сдерживать ее неистовства. Тем более, что Буластиха, хотя и здоровеннейшая баба, не могла соперничать с Федосьей Гавриловной в ее совершенно исключительной для женщины силе: из всех «жильцов» лишь двое брали над ней верх в борьбе, да и то с трудом и не скоро. Это качество придавало ей огромное значение – делало ее почти незаменимой в частных и щекотливых треволнениях их бурного и со всячинкой, только что не разбойного, промысла.

Как все злобные истерички, Прасковья Семеновна в глубине натуры, была трусовата: потому и ругалась так много, орала так гром-

ко и дралась так охотно, что вечно подбодряла себя самое, распространяя кругом страх и трепет. Федосья же Гавриловна, – вероятно, с детства своего и вот уже почти до пожилого возраста доживши, – не знала, какие это такие бывают у людей нервы, и, хотя тоже ругалась и дралась походя, но лишь, так сказать, профессионально, в порядке и правилах промысла, нисколько не волнуя себя, с невозмутимым спокойствием машины.

Прасковья Семеновна полагалась на нее едва ли не больше, чем на самое себя, что мешало обеим бабам ежедневно, при сведении счетов по хозяйству, лаяться, будто двум собакам, из-за каждого грошового недоумения. Хотя хозяйка прекрасно знала, что Федосья скорее палец себе отрубит, чем погрешит против нее в едином рубле, а Федосья Гавриловна не менее знала, что хозяйка верит ей безусловно, – и обе только душу отводили, собачась крикливым сквернословием.

Собравшись кутнуть, а в особенности, с игрой в карты, как на той вечеринке у Рюлиной, когда «генеральша» проставила на червонной семерке злополучную Машу Лусьеву,

Прасковья Семеновна непременно требовала, чтобы Федосья ее сопровождала неотлучно, не давая ей зарываться ни в выпивке, ни в азарте, ни в ссорах.

Общее мнение темного мирка было, что только Федосьей Гавриловной и держится Буластихино дело, а без нее давно пошло бы хинью. Это было неверно, потому что Прасковья Семеновна была очень хитра, ловка, изворотлива и оборотиста, превосходная хозяйка и счетчица и держала руль ладьи своей рукой крепкой и грозной. Но, действительно, твердый характер экономки служил весьма полезной уздой как для неистовства, так для скаредности Буластихи, часто тормозивших правильный ход ее дела беспорядочными неожиданностями.

Любопытно, что в молве темного мирка, в заведениях Рюлиной, Перхуновой, Юдифи и др., даже за стенами «корпуса» в деле самой Буластихи, по квартирам, Федосья Гавриловна имела репутацию еще лютее хозяйкиной. Между тем, Марья Ивановна не только на собственном опыте, но и по общей приглядке не замедлила убедиться, что экономка, по суще-

ству, баба совсем не злая, а лишь очень исполнительный и старательный фельдфебель в юбке. Приняла присягу муштровать команду в дисциплине ежовых рукавиц, и уж тут – аминь: не женщина, а какой-то черт безжалостный, вполне способный девять забить, чтобы десятую выдрессировать. Однако и трепетавшие пред ее кулаком и плеткой кабальницы не отказывали ей в обладании некоторой «каторжной совестью». Она была довольно справедлива в разборе жалоб и ссор, не важничала своей неограниченной властью над девицами, держалась с ними на товарищеской ноге, не насчитывала на них лишних долгов, довольствовалась небольшим процентом с денег, которые гости клали под подушку, не отнимала полученных подарков и т. п. А Марье Ивановне, как фаворитке своей, даже и сама то и дело дарила вещи, иногда ценные.

Вообще, в отношениях, которыми обусловилось покровительство Федосьи Гавриловны, Марья Ивановна чувствовала не одну извращенность в угоду гнусной моде, но и нечто вроде влюбленности, пожалуй, даже несколько сантиментальной. Зато очень ско-

ро узнала она и приятность ревности со стороны такой особы.

Словно железным кольцом окружила Федосья Гавриловна Машу, – отделила от всех иных возможных сближений и дружб, допуская некоторое исключение только для «Княжны»: с нею, как и с ее женихом, лакеем Артамоном, экономка и сама дружила. Но всякий другой шаг за роковое кольцо, вольный или невольный, обходился Маше очень дорого – по правилу: «Люблю, как душу, трясусь, как грушу».

За все годы у Рюлиной Маша ни разу не была бита, ни даже крепко ругана. Там вообще хозяйские расправы производились редко и всегда секретно. Ну а здесь в первый же месяц пришлось отведать, как, «если девка что сошкочит», ее треплет «по всей доброй совести» любящая, но ревнивая рука.

Первые побои ошеломили Машу. Она «чуть с ума не сошла». Хотела отравиться, – нет яду, спички в доме только шведские, да и... говорят, мучительная это смерть, живот, как огнем, жжет... страшно! Хотела из окна выброситься, – зима, двойные рамы, да и...

высоко! еще, пожалуй, в самом деле, разобьешься насмерть! Хотела удавиться, – противно! повиснешь, как куль, – багровое лицо, выкатившиеся глаза, высунутый язык... брр!..

Кончились самосмертоубийственные порывы тем, что повалилась Маша на постель свою, носом в подушки, и заревела на голос, благим матом, колотя в стенку кулаками, брыкая ногами. В этом ей не препятствовали, дали выплакаться до конца. А затем та же ревнивая, но любящая рука поставила перед Машей бутылку шампанского и тарелку сладостей. Поругались еще немножко, но уже, от слова к слову, все спокойнее, – глядь, и помирились. Тем легче, что ведь – «дура! кабы я тебя со зла била, а то ведь любя!»

Часа два спустя, Марья Ивановна, полупьяная, размякла до умиления и сама же просила прощения у поколотившего ее друга. А назавтра, проспавшись, ей, хотя стыдно, но и немножко уже смешно было вспомнить, как Федосья Гавриловна ее, двадцатитрехлетнюю женщину, словно маленькую девчонку, согнула, зажала голову в колени и отшлепала ладонью по месту, предназначенному приро-

дой для педагогических внушений. Как видно, бессмертный поручик Пирогов не всегда щеголяет в военном мундире и является украшением сильного пола, но, делая честь полуслабому, способен также облекаться и в юбку!

* * *

Ночуя в одной из лучших квартир, Маша познакомилась с женщиной уже не первой молодости, сильной брюнеткой, прежде, должно быть, замечательной, но уже полуувядшей красоты. Она заговорила с Машей ласково – на хорошем французском языке, но хриплым, рваным, без тембра, громким голосом, который почти безошибочно определяет женщину, давно промышляющую развратом, и почти обязательное появление которого у них, – хотя бы и никогда не болевших дурной болезнью, – составляет физиологическую загадку, имевшую много гипотез, но ни одного решения. Оказалась, она тоже из бывших, но очень давних, рюлинских «крестниц», а когда-то была гувернанткой в одном из самых аристократических домов Петербурга. Звали ее Катериной Харитоновной. Буластова очень дорожила ею, – главным образом, за француз-

ский язык, образование и талант спаивать гостей, – но в корпусе не держала, потому что Катерина Харитоновна пила запоем, а пьяная делалась язвительна, как дьявол.

– Я их, кровопийц, там до белого каления доводила... – улыбаясь, рассказывала она. – В меня сама Прасковья Семеновна однажды запустила горячим утюгом... меньше вершка от виска просвистал!., на комод упал, – мраморная доска вдребезги!.. Я говорю: «Глазомера у тебя, Прасковья, нет... Я пьяная, а лучше бросить могу, да не стоишь ты: в писании сказано, – блажен, иже скоты милует!..» А она, ведьма, как поняла, что чуть было меня не ухлопала, струсила и сейчас же идет от меня вон из комнаты, вся белая, как платок... Понимаешь? Она от злости обыкновенно кровью наливается, как клюква, а тут побелела... ага?! это серьезно! А я за ней следом и шпыняю ее, шпыняю... И вдруг обернулась она, понимаешь, ко мне, глаза – как олово и огромнейшие, – и говорит тихо, с самой лучшей вежливостью: «Катерина Харитоновна...», слышишь? слышишь: уже не Катька-стерва, а Катерина Харитоновна?! «Катерина, – гово-

рит, – Харитоновна! Сделай Божескую милость: отойди от меня!.. Убью я тебя, – и не отвечу... да все же души человеческой жаль! Будь добрая: пожалей и себя, и меня!..» Ну, признаюсь, я оторопела... Шутка ли? Этакого крокодила до молитв довела!..

– Скажите, пожалуйста, – саркастически спрашивала она Машу, что собственно заставляет вас терпеть эту чертову каторгу?

– Что же? повеситься? в воду кинуться?

– Зачем? Взять да просто уйти.

– Легко сказать. А дальше что?

– Ничего страшного. Жизнь и воля.

– Какая же воля? Я у Буластовой вся в лапах...

Катерина Харитоновна пыхала папироской, презрительно улыбаясь, и твердила:

– Предрассудок!

– Да что вы, Катишь? Какой предрассудок? У меня не может быть честного труда, не может быть ни помощи от людей из общества. Мое прошлое станет мне поперек всякой честной дороги...

– Ах вы про это!.. – еще презрительнее протянула Катюша. – Ну, это-то, конечно... Вы

правы: в гувернантки нам с вами возвращаться поздно!.. И – знаете ли? Не только потому, что Прасковья Семеновна и Полина Кондратьевна помешают, а мы уже и сами не пойдем...

– Ох, как бы я пошла, если бы можно было вырваться!.. – искренним криком, с нависшими на глазах слезами возразила Маша.

Катерина Харитоновна затаилась папиросою.

– Не смею спорить. Пойти-то, может быть, вы и пойдете, но не выдержите, сбежите назад. Как-никак, милая девица, все-таки вы уже пятый год носите шелковое белье... Вон – у нас рассказывают, будто вы вся в долгу перед буфетом, потому что не можете заснуть без портера пополам с шампанским!.. Так хорошо отравленной женщине о честных трудах помышлять поздновато. Но какие бесы заставляют вас сидеть в нашем аде? Плюньте вы на этих рабовладелиц, живите сами по себе, зарабатывайте сами на себя...

– Как вы это говорите, Катишь? Срам какой!

– Ну уж, миленькая, срамнее того, что мы с

вами здесь терпим, сам сатана еще ничего не измыслил.

– И при том... они на меня донесут...

– Ну?

– Помилуйте! Ведь меня... запишут! Билет заставят взять...

– Ну?

– Да ведь это уж последний конец... ужас!

Катерина Харитоновна злобно засмеялась.

– Суеверие! Если уж судьба мне гулять по этой поганой дорожке, то я должна, по крайней мере, сохранить выбор, как мне удобнее, приятнее и выгоднее гулять. А с книжкой ли, без книжки ли, с билетом ли, без билета ли, – это наплевать!

– Душечка!.. Право, вы такие несообразности... Подумайте: ведь тогда я буду... проститутка!..

– А теперь вы кто? – резко и грубо бросила ей в лицо вопрос Катерина Харитоновна.

Маша подумала, ничего не ответила... из глаз ее закапали крупные слезы.

– Экая, право, сила – слово? – говорила не без волнения Катерина Харитонова. – Сама – по уши проститутка, а назваться боится!.. И за

страх и стыд назваться готова терпеть муку-мученскую, всю жизнь свою на медленную пытку отдает! За страх слова – торгуют ею, как парною убиною! Тысячи наживают ее телом, а ей за весь труд, стыд и отвращение не оставляют даже и рублей. Ведь вы нищая, дура вы этакая! За страх слова – сидит, словно преступница какая, замурованная наглой бабой, против всяких прав, в четырех стенах! За страх слова терпит, что ее иной раз бьют по роже или лупят мокрым полотенцем, а коли захотят, кураж такой найдет – то отлично и высекут! За страх слова поддается пакостным нежностям лешего в юбке!.. Или – может быть, «стерпится – слюбится»? Изволили уже примириться и привыкнуть?.. Пожалуйста, не глядите такими возмущенными глазами: я тертый калач, меня угнетенной невинностью или поросенком в мешке не проведете... Бывает! все бывает, голубушка! Особенно с такими восковыми: что захотел, то и вылепил.. Мало, что привыкнете, еще и во вкус войдете, – привяжетесь. Да, да, да! Нечего головой трясти и плечами пожимать!.. Вы, дурочка, сами себя не понимаете, а хотите – я докажу

вам, что вы уже увязли, это началось?.. Вон у вас на шейке медальончик болтается: позвольте спросить, чей в нем портретик? а в браслете – другой: чьи в нем волосы?

– Господи Боже мой! – вспыхнула Маша, – каким пустякам вы придаете значение!.. Самые обыкновенные знаки дружбы... Она носит мой портрет и волосы, с моей стороны было бы невежливо не ответить тем же... Что тут особенного? Всюду и всегда бывает между подругами...

– Между подругами! – допекала Катерина Харитоновна, – да какая же, к черту, вам подруга чуть не пятидесятилетняя баба, торговка живым товаром, заплечный мастер в юбке? Что вы от правды-то прячетесь – словно страус головой в песок? Дружба! А свадьбу играть и задолжать Буластихе две тысячи за угощение – это дружба? А сниматься в фотографии парочкой новобрачных, она во фраке, вы в венчальном туалете, это тоже дружба? А заказывать визитные карточки с ее фамилией, – «Марья Ивановна Селезнева, урожденная Лусьева», – тоже дружба?

– Но, Катишь, ведь это же игрушки! Ну...

пусть глупые, нелепые, пошлые, если вам угодно... но не более, как игрушки! Знаете, жизнь так скучна и однообразна, мужчины так отвратительно осточертели, быть и чувствовать себя вещью продажной так ненавистно отошнело, что хочется хоть немножко себе воли дать, попраздновать и позабавиться по-своему...

– Знаю, что игрушки, но согласитесь, что год тому назад вам подобные игрушки не пришли бы в голову, а сейчас они вам очень нравятся, и вон как вы вскинулись на меня в их защиту... Игрушки! Тут, милая моя, в одной квартире есть парочка – армянка с финкою... Так им, в игрушках-то этих, показалось мало свадьбы: что за брак без детей? давай ребенка!.. А как Буластиха им взять на воспитание младенца, конечно, не позволила, то купили эти две дурынды в Гостином дворе огромнейшую куклу-бебе и вот уже третий год растят ее, очень горюя, что не растет и глухонемая. Рядят своего идола – именно уж как куколку, тратятся, празднуют именины и день рождения... Игрушки-то игрушки, а, пожалуй, есть и немножко сумасшествия... idee

fixe...

– Ну уж я-то до подобной глупости никогда не дойду.

– Не ручайтесь за себя, красавица моя, ой, не ручайтесь! Вы по этой наклонной плоскости ужасно быстрые шаги делаете... может быть, именно потому, что вы красавица! Ведь Федосья вертит вами, как перышком, и признайтесь, что вам уже доставляет некоторое удовольствие не иметь своей воли, чувствовать себя в крепкой руке и повиноваться...

– Да если я знаю, что она меня любит, желает мне добра, и я за нею, как за каменной стеною, – никто меня не смеет обидеть? Я не знаю, право, как вы судите, Катя. Тут из одной благодарности можно полюбить и, как вы выражаетесь, привязаться...

– Вот-вот! И замечательно это, право. Сколько подобных вашему романов не наблюдала я в нашем пекле, всегда одна и та же линия: вот этакая грубейшая идолица, рожа, на всех зверей похожа, командует и властвует, а красавица ходит перед ней по ниточке, не знает, чем своему, с позволения сказать, супругу лучше угодить и чрезвычайно своим

дурацким положением довольна... Погодите, Машенька! Теперь вас ревнуют, а придет время – вы будете ревновать... да, да, да! не усмейтесь и не дергайте вашим изящнейшим носиком!.. Страдать будете, плакать, не спать ночей, закатывать истерики, делать сцены, вступать в драки с соперницами, с ножом бросаться... Навидалась я: каждый год примеры... Да и что уж грех таить? Когда-то сама прошла по этой дорожке. Перхуниху видали? знаете? Два года ее рабой была, прежде чем она меня сюда не спустила, к Буластихе в кабалу... И горьким опытом прямо говорю вам, Маша: берегитесь! Из всего, чем опасна наша милая профессия, это, после сифилиса, всего хуже... зыбучий песок невылазный, трясина засасывающая... Да... Тьфу!..

Она плюнула со злобным отвращением, ударила по столу крепким белым кулаком и свирепо заходила по комнате, безжалостно волоча хвоста дорогого шалевого капота по усеянному окурками полу.

Глава 18

— **П**оймите, вы, голова с мозгами! Хуже положения, глубже падения, чем наше с вами, не бывает. Не только проститутка-одиночка, даже проститутки в доме терпимости – свободные птицы сравнительно с нами! Их вон филантропы оберегают, спасать стараются, а нас... нас не то что оберегать, не то что спасать, – к нам подступиться никакой посторонней охране предлога нет! о нас человеческая доброта и догадаться не в состоянии! в колодце мы!.. Вот в каком мы мерзком рабстве сидим! Мы – живые вещи... да еще вдобавок и не купленные, а взятые разбойничьим захватом! От слова-то бегали мы, бегали, береглись, береглись, а в деле-то, в самой вещи, себя вконец погубили... Вот вы огласки боитесь... А между тем, – ну что, что может сделать вам огласка хуже, чем вы терпите сейчас?!

– Стыдно! – вырвалось у Маши.

– Слушайте-ка лучше, как я поступила бы на вашем месте, – зашептала Катерина Харитоновна. – Я бы урвалась как-нибудь из дома

или из квартиры да больше уж и не вернулась бы...

– Паспорт мой у нее...

– Паспорт – ерунда! Паспорт она обязана отдать. Если задержит – на то мировые в Питере сидят, через полицию можете требовать. Паспорта задерживать нельзя. Врешь! Отдашь! До суда доводить не потерпит!.. Ну, конечно, Буластиха вам не спустит, изерамит вас как нельзя лучше... да перед кем? Перед участковым, да агентами, да доктором? Небось, брат! большого шума поднять не посмеет: самой дороже!..

– А то, что я должна ей?

Катерина Харитоновна присвистнула.

– Должна? Нашли о чем говорить. Нынче и регистрированных проституток долгами запугивать не велено, – а ваш долг – какой же долг? Весь дутый и ничего не стоящий!. Вы думаете, она осмелится предъявить ваш документ ко взысканию? Нет, матушка! Говорю вам, – самой дороже! Рискует многим! Хорошо! Она предъявила ко взысканию, а вы объявляете документ выданным безденежно. Выманили, мол! силой взяли! Дело-то перейдет в

уголовный порядок. С вас все равно взятки гладки, потому что вы голы, как церковная мышь, а ей надо доказать, почему это и как она передавала своей лектриссе... ведь вы при ней лектриссой, что ли, числитесь?

– Лектриссой.

– Неважное кушанье!.. Черт знает что! Лектрисса при бабе, которая за всю жизнь свою, конечно, ни в одну книгу не заглянула, да еще вопрос, знает ли она грамоте-то – дальше, чем нацарапать свое имя и фамилию... Хорошо-с. Что такое лектрисса? Горемыка – максимум на тридцать рублей в месяц, чаще на двадцать, на пятнадцать, а то и за комнату и стол... Почему же вы вдруг оказались в глазах госпожи Буластовой такой кредитоспособной особой, что она отвалила вам экую уйму денег взаймы без всякого обеспечения? Помилуйте! Да это самому глупому и близорукому прокуроришке в глаза ткнет, в чем тут суть, – такая ясная видимость... Пойдет ли Прасковья на подобный риск? что вы! Она себя бережет и соблюдает до крайности, чтобы никакой прицепочки-ниточки на себя не дать. Ведь ежели расшевелить наш муравейник,

так ей будет каторги мало. За исключением
векселей этих дурацких, вы чисты пред нею?
уголовщины за вами нет?

– О нет, этого нет!

– Тогда у нее останется именно только та
возможность, что она вас «накатит».

– Как это?

– Пошлет анонимный донос на вас, что вы
тайная проститутка, и доказательства прило-
жит... А вы – возьмите да ее предупредите...
сами заявитесь в полицию! А как книжку по-
лучите, – ваша воля, как тогда с собой распо-
рядиться. Хотите остаться проституткой, оста-
вайтесь; не хотите, – ступайте к приютским
дамам, – я вам, если желаете, дам адрес, – за-
явите, что, мол, желаю на исправление... От-
будете там на испытании срок, сколько у них
полагается, и шабаш: уезжайте из Петербурга
в город, где вас не знают... Бог весть, – может
быть, вы и в самом деле еще не вовсе поте-
рянная... где-нибудь, при хорошей поддержке,
выбьетесь на дорогу!

– Эх, как хорошо бы, если бы так!..

– А хорошо, так и нечего зевать... валяйте!

– Страшно! – прошептала Маша и закрыла

лицо руками.

Катерина Харитоновна окружилась облаком табачного дыма.

– Что говорить? Ампутация не из легких... А только без нее нельзя. Либо гнить, либо жить.

– Так что вы думаете, – после некоторого молчания возвысила голос Маша, – вы думаете... помогло бы?

Катерина Харитоновна пожалала плечами.

– Уверена.

– Были примеры?

Катерина Харитоновна, сквозь дымное облако, кивнула головой.

– Запопала им в лапы, – протяжно начала она, – некая Лиляша, прелюбопытная особа, москвичка родом и не из простых!.. Нас с вами здешняя сволочь дразнит благородными и образованными, а Лиляшу не грех было бы и ученой назвать. И из семьи такой – интеллигентной, профессорской, даже очень известной, – только, как видно, правда, что в семье не без уроды. Как она свертелась и «дошла до жизни такой», это я вам когда-нибудь в другое время расскажу, на досуге, сейчас не в том

дело. Летела, свертевшись, как водится, со ступеньки на ступеньку, – сперва в Москве, а как из Москвы ее выставила полиция, прикомандировала сюда. По барству своему, работала она с факторшей, а факторшей имела свою бывшую горничную, Дросиду Семеновну. Вы ее, конечно, знаете. Теперь она у Буластихи держит квартиру на отчете. Шельма, каких мало. Рассчитывала Лиляша устроиться к Рюлиной – проманулась: Аделька забракотала, что стара. Ну, она – к Буластике. Здесь хозяйка с Федосьей обрядили ее в хомут, – валяй в хвост и в гриву! Долго ли, коротко ли, – не стерпела, взвыла. Улучила случай, что занесло к нам богатенького «понта», который знал ее в приличных барышнях, да, по сговору с ним, – взял он ее к себе на дом, будто на ночевку, – поехала и, ау, не вернулась!., очень просто!..

– Что же, этот «понт» на содержание ее, значит, взял? – перебила Маша.

– Нет, только помог выбратся из нашей ямы.

– Выбратся... А дальше-то, выбравшись, как?

– А дальше, конечно, сперва пришлось Лиляшке туго. Накатила ее Буластиха, и было все по порядку, чего вы, Маша, боитесь: участок, книжка, докторские осмотры, сыщики, – весь жалкий жребий проститутки-одиночки... Погибель! Казалось, нет тебе другого исхода: судьба так и прет тебя рожном кончать жизнь либо в реке, либо в бардаке. И вдруг – случайная встреча тоже со стародавним знакомым... артист оперный Леонид Яковлев... конечно, слыхали?.. Узнал Лиляшу, ахнул, видя, до чего она пала и в какой грязи тонет, и помилосердовал: выдернул увязшую из трясины и поставил на ноги...

* * *

Марья Ивановна с недоверием качнула головою.

– Ну... уж это ей, вашей Лиляше, повезло счастье какое-то необыкновенное! Должно быть, в сорочке родилась.

– Конечно, счастье, – согласилась Катерина Харитоновна, – да ведь счастье-то летучая птица: его надо за хвост ловить тоже на воле, из клетки не поймашь.

– И что же? – допытывалась Марья Иванов-

на, – с легкой руки Яковлева, Лиляша вернулась в честную жизнь и устроилась как порядочная женщина?

Катерина Харитоновна усмехнулась уклончиво, в новых клубах табачного дыма.

– Это – как взглянуть. Во всяком случае, из продажных вышла... Русскую капеллу – хор Елены Венедиктовны Мещовской – слышали? Это – она, Лиляша!

– Вот оно что! – протянула Марья Ивановна с заметным разочарованием.

Но Катерина Харитоновна продолжала одушевленно, одобряя и почти гордясь:

– Перед всеми хорами она – в первую очередь... И состояние имеет, и любовник ее, с которым она живет, человек прекраснейший... Так то-с!.. Ну? что же вы молчите? не соблазняет вас?

– Да, видите ли, – нерешительно откликнулась Маша, – видите ли, Катишь... Сколько тут было благоприятных условий для вашей Лиляши... И все-таки чего же она, наконец-то, достигла? Только что из девиц сама выскочила в хозяйки...

Катерина Харитоновна поправила быстро

и недовольно:

– Да, в хозяйки, но хора, а не черт знает чего!

Но Марья Ивановна не уступила.

– Ах, Катишь, велика ли разница? Знаем мы, что-за штучка ресторанный хор. Хозяйке да старостихе лафа, а певичкам не лучше, чем нам, горемычным...

– Я не спорю, что такие хоры бывают...

– Большинство, если не все! – настаивала Марья Ивановна.

– Только не хор Елены Венедиктовны, – с уверенностью защищала Катерина Харитоновна. – Она и сама своими девушками не торгует, и всякой девушке, на которую проституция закидывает петлю, рада дать приют, совет и помощь... И вот – запомните-ка на всякий случай. Если бы вы в самом деле набрались ума и смелости, чтобы удрать, я могу вас устроить в хор к Елене Венедиктовне – и под ее рукой плевать вам тогда на Буластиху, хотя бы она вам и в самом деле всучила желтый билет. Лиляшка меня помнит и любит, а фокусы хозяйские знает по собственному опыту. Моя рекомендация для нее важнее до-

кумента...

– Спасибо, Катя, но... у меня же голоса нет?!

– И не надо: наружностью возьмете. Ну? что же вы мнетесь? Все-таки не нравится?

– Знаете, Катя...

– Нет, не знаю... Ну?!

– Да вот... скажем, сижу я в ресторане с кавалером, хоры поют, а какая-нибудь из хористок обходит столики с тарелочкою, собирает, кто сколько положит...

– Ну да, и вот на это-то именно и посылают таких, как вы, которые голосом не вышли, а собой хороши.

– Как хотите, Катя, но это ужасно стыдно и оскорбительно!

– Та-ак! А сидеть в ресторане продажной девкой при случайном «понте» – это что же, по-вашему, красивое и гордое положение, что ли?

– Все-таки не она мне, а я ей на тарелочку-то бросаю...

– Ничего вы не бросаете, потому что в кармане у вас дай Бог двугривенному найтись...

– Ну, все равно, попрошу, – кавалер ей бросит... Следовательно...

– В девках лучше? – язвительно обрезала Катерина Харитоновна.

Маша сконфузилась до слез на глазах.

– Ну, зачем вы так грубо, Катя? Не вовсе уж мы такие...

– Нет, миленькая, нет! утешать себя самообманами не извольте! Такие, очень, чрезвычайно, совершенно такие!

– Ну, – обиделась и надулась Маша, – я с вами об этом спорить не стану: это у вас пунктик, вас не переубедишь. Что наше положение ужасное и горькое, я знаю не хуже вас, но все-таки девкой себя не чувствую и никогда не назову...

– Ах! – с гримасой передразнила Катерина Харитоновна, – ах! «Я не кошка, а киска!» – подумаешь, благополучие какое!

Но Маша сердито упорствовала:

– Да уж кошка или киска, а пойти в хор – это, как вам угодно, значит со ступеньки на ступеньку... шаг еще вниз... почти вроде как в прислуги...

Катерина Харитоновна желчно захохотала:

– Черт знает, что такое! – воскликнула она,

заминая гневным толчком большой белой руки окурок своей папиросы в подпрыгнувшей пепельнице. – Неужели вы, несчастная раба, которая, чтобы не быть ежечасно битой от хозяйкиной руки, должна цепляться, как утопающая за спасательный круг, за юбку черта-экономки, неужели вы, Маша, еще имеете наивность вообразить себя на каком-то особом уровне – выше ваших «корпусных» кухарок, горничных, Артамона, Федора и всяких там прочих?., «прислуг»?

– Конечно! – храбро возразила Маша, – если я позвоню или позову, то горничная ли, Артамон ли, Федор ли идут ко мне: что вам угодно, барышня? И, что я велю, они должны сделать, а не то им будет гонка от Федосьи Гавриловны. Вот они служат, они прислуга, а я нет... Я барышня!

Катерина Харитоновна продолжала хохотать.

– Рассудила, как размазала! Вот логика! Ну, Машенька, извините, но, право же, вы гораздо больше дурочка, чем я ожидала... Жалкое вы существо! Да ведь с равным правом королева в хлеву может считать себя барышней и

воображать своей прислугой скотницу, которая к ней приставлена, чтобы держать ее в чистоте и задавать ей корм!..

Она примолкла, закуривая новую папиросу. Потом заговорила, развевая рукой пред лицом дым.

– Но, милая моя, если вы забрали себе в мысли, будто от Буластихи уйти стоит только с перспективой возвыситься в принцессы или герцогини, то дело ваше плохо: тут вам и сгнить... Чудес сказочных у нас не бывает!

– А Женя Мюнхенова? А Юлия Заренко? – напонила Маша.

Катерина Харитоновна язвительно осклабила рот, сверкнув прекрасными зубами, лишь чуть-чуть слишком золотистыми от непрерывного курения – «папироса на папиросу».

– Во-первых, вы, Машенька, хотя девочка очень не дурная собой, но, к несчастью, все же не богиня красоты, как Женя Мюнхенова, и, к счастью, не такая архибестия, как Юлия Заренко, а, напротив, довольно-таки глупенький и трусоватый котенок. Во-вторых, из того, что кто-то когда-то где-то выиграл двести

тысяч по трамвайному билету, не следует надеяться, чтобы подобное счастье повторялось часто. В-третьих, даже и эти-то выигрыши приключились у Рюлиной, а не в нашей по-мойной яме. Здесь вам, чем о великих князьях мечтать, гораздо полезнее будет размышлять о «Княжне», которая, будучи «от Гостомысла», тем не менее почитает за счастье вступить в законное супружество с лаке-ем-ростовщиком Артамоном Печонкиным. Так что, любезная Машенька, вы этих Жень да Юлей выкиньте из головы. А вот – открываю я вам потайную узенькую лазейку, – ну и старайтесь, приспособляйтесь, чтобы поско-рее проскочить в нее, покуда молоды и не схватили поганой болезни, которой рано или поздно и мне, и вам, и всем нам, рабыням, не миновать.

Умолкла и угрюмо утонула в дымных обла-ках.

– Однако послушайте, Катишь, – осмели-лась Маша, – если так можно, почему же вы сами не поступите, как рекомендуете мне?

Катерина Харитоновна отвечала значи-тельно и мрачно:

– Оттого, миленькая, что вы у нас – в чужом вертепе, а я – у себя дома. Мне только здесь и место. Я, Маша, зверь, откровенно вам говорю. И пьяница, и... черт! Отвратительнее моего характера нет на свете. Я только на цепи, в рабстве, под кулаком и могу жить безопасно. Если выпустить меня на волю, – я через месяц буду в предварительном заключении, а через год на Сахалине. Меня бить надо, как скотину бьют, чтобы хозяев понимала и знала... ну, тогда я – ничего, не кусаюсь!.. А то – дикий зверь... Нет для меня воли! Моя воля, говорю вам, – Сенная площадь, Литовский замок, Сахалин!.. Ну, а туда я не хочу... Не-е-ет!.. Как ни подла моя жизнь, а я за нее обеими руками цепляюсь... Ни в каторгу, ни в могилу!.. Не-е-ет...

Ходила, дымно курила, мела подолом. Маша недвижно тосковала, углубленная стройным телом в кресло-розвальни, забравшись в них с ногами и крепко обняв руками свои колена, точно сама себя удерживала от гудящего в ногах непроизвольного позыва – вскочить и бежать прочь, куда глаза глядят...

– Боже мой, Боже мой! – прервала она мол-

чание тяжелым вздохом, – какое горе! сколько тоски!.. Где же, наконец, выход-то, Катя? Неужели так вот и помириться на том надо, что, хочешь не хочешь, а судьба – сгнием?

– Не знаю, как вам посчастливится, – мрачно возразила Катерина Харитоновна, затягиваясь новой папиросой, – но за себя я уверена. Крест поставлен. Крышка. Выхода нет.

Марья Ивановна рассуждала.

– Хорошо, положим даже, – отчасти я с вами согласна, – к так называемому честному труду, в порядочную жизнь нам возвратиться трудно... Но уж хоть бы в этой-то устроиться как-нибудь получше... чтобы не вовсе рабство... чтобы хоть сколько-нибудь человеком, женщиной себя чувствовать, а не самкой на скотном дворе.

– Хуже, моя милая, гораздо хуже. Самок не протитутуют, как нас с вами, изо дня в день. Самка – орудие приплода, а мы с вами закабалены бесплодной похотью. Попробуйте-ка забеременеть, – сейчас же явится почтенный доктор Либесворт устраивать вам аборт. А не захотите, будете упираться, то Буластиха не постеснится и сама распорядиться

кулаками да ножницами...

Марья Ивановна продолжала:

– Меня последнее время часто брал от нее один богатенький студентик, белоподкладочник, как их нынче зовут, но сам он говорит, будто социалист. Так он все удивляется на нас, что нам за охота терпеть над собой хозяек, экономок и прочую дрянь, которая нас обирает и тиранит. Ежели, говорит, вам трудно жить свободными одиночками, не достаёт энергии на конкуренцию в промысле, то соединились бы группами, по пяти, шести, десяти и больше, да и работали бы сами на себя, сами управляясь, сами хозяйствуя... Катерина Харитоновна вынула папиросу изо рта.

– Ага! «ассоциация»?! – осклабилась она. – Скажите вашему студенту, что это старая песня... ничего не выйдет.

– Почему, Катя? Неужели, в самом деле, нельзя однажды так столкнуться, чтобы всем за одну, одной за всех, выбрать из своей среды распорядительницу, которая была бы за хозяйку, экономку, кассиршу...

– Нельзя.

– Почему? Начальство не позволит?

– Нет, что начальство! Начальство – это полиция... А плевать я хотела на то, что полиция не позволит. Буластиха тоже не носит в кармане бумажки, разрешающей усеивать Питер развратными притонами, однако... Были бы деньги, а с полицией счета простые...

– Думаете, нельзя составить капитала?

– И капитал отлично нашелся бы.

– Тогда что же, Катя?

– То, Маша, что дело наше не такое и характеры наши не те, чтобы укладываться в ассоциацию. Ассоциации слагаются свободным соглашением, а наша профессия рабская. И не только потому, что мы хозяйками закабалены. Нет, она по самому существу своему рабская. Потому что мы делаем то, чего ни одна нормальная женщина иначе, как в порабощении, делать не станет. Мы рабыни не только наших эксплуататорш, но прежде всего, – как это красиво называют, – общественного темперамента, то есть, попросту сказать, разврата. Когда женщина принуждена поработиться разврату, это печально, горько, страшно, но! Никогда не оскорбляйте падшую женщину! – общество это понимает и, в значи-

тельной своей доле, жалеет и прощает. Как прощает вора, укравшего с голодухи калач, либо даже убийцу, доведенного преступлением до кровавой мести. Однако, мой друг, жалость жалостью, прощение прощением, но и преступление остается преступлением, а разврат развратом, и никакие софизмы вас не выпустят из этого кольца. И, будучи прости-туткой, никогда вы не скажете себе самой, что занимаетесь хорошим делом. Будь вы даже хоть сто раз Соня Мармеладова с самыми лучшими побуждениями и намерениями – губя себя, спасти ближних своих... Кстати: вот эту неизбежную в наших вопросах Соню Мармеладову вы любите?

– Еще бы!

– Уважаете?

– Очень!

– Так. Мой закал совсем не тот, но все же я Соню Мармеладову понимаю и представляю себе в каждой черточке и в каждой нашей профессиональной, как говорится, ситуации. Достоевский написал ее бланковой одиночкой, – вижу. Запер бы он ее в публичный дом, – вижу. Закрепостил бы сводне или гос-

поже, вроде нашей Буластихи, – вижу. Но вот членом ассоциации, устроившейся для добровольной коммерции своим телом, никак не могу я вообразить Соню Мармеладову... и вы не вообразите!

Мария Ивановна молчала, обдумывая. Катерина Харитоновна продолжала:

– Обманывать-то себя громкими словами легко... кто себя не обманывал, особенно смолоду... Ассоциация, корпорация, кооперация... конечно, красивее звучит, чем дом терпимости. Да дом-то терпимости не может быть ни ассоциацией, ни корпорацией, ни кооперацией, – вот в чем беда. Пекари, портные, сапожники, модистки, прачки, адвокаты, врачи, актеры, извозчики, – это так... почему им не объединиться в ассоциации, кооперации – и как там еще?.. Но когда жулики, шулера, фальшивомонетчики слагаются в «ассоциацию», это называется шайкою, бандой, преступным сообществом...

– Что же вы так приравниваете? – обиделась Маша. – Мы-то разве жулики или шулера, что ли?

– Нет, зачем... Я только хочу вам указать,

что ассоциации определяются не устройством своим, но целью, которую они преследуют, существом профессии... Ассоциации предполагают союз людей, уважающих свой труд, уважаемый и обществом. Как нас общество уважает, что уж говорить! А о собственном уважении... ведь вот и вы же сейчас прелестно обмолвились, что нам поздно возвращаться к честному труду. Значит, хотя за сравнение с жуликами обиделись, однако сами-то считаете свой труд бесчестным. И прямо вам скажу: тридцать восьмой год живу на свете, девятнадцатый гуляю, всякие чудеса видала, но такого, чтобы проститутка уважала свой труд, – нет, не видывала... и не увижу! Есть, пожалуй, тупицы, бессознательно, животной довольные своим положением, есть бахвалки, хвастуны, есть холодные хищницы, которым промысел – по Сеньке шапка, но уважающих его и себя в нем нет... Самая оголтелая, самая бесстыжая, самая убежденная торговка собою, которой природа не отпустила ни грана сердца и совести, – и те, все одинаково, знают, что они не по закону природы женской, но грехом человечьим живут... Ну, а со-

общество для эксплуатации человеческого греха, конечно, не «ассоциация», но шайка такая же, как компания шулеров или фальшивомонетчиков!.. А если оно, такое порочное со-общество, не хочет быть шайкою, но, обманывая себя, упорствует рядиться в «ассоциации», то быстро погибает в ко-медии, которая была бы смешна, если бы не сокрушались в ней души и жизни женские... Ведь это, Машенька, ваш студент не новость вам проповедует, пробованное дело.

И за границую, в Германии и Австрии, немочки пытались, и у нас в Петербурге было... Про «Феникс» слыхали? Имя Аграфены Панфиловны Веселкиной вам известно?

– Да... но какое же отношение? Ее «Феникс» обыкновенный, только очень шикарный, открытый публичный дом с билетными девицами.

– Совершенно верно, но вырос он именно из такой вот «ассоциации», которая вам мерещится... Я эту историю могу вам рассказать в безошибочной подробности, потому что сама принимала в ней участие, да, слава Богу, вовремя убралась...

Глава 19

Была в Питере, лет пятнадцать тому назад, некая Анна Михайловна Р., по кличке Нинишь Брюнетка. Девушка средней красоты. Острили о ней, что у Нинишки глаза убийственные молнии, да, на счастье, нос громоотвод: на двоих рос, одной достался. Была образованная, из свертевшихся институток, – значит, даже неплохой фамилии. Публика понтовая у нее тоже бывала, все больше интеллигентная, – литераторы, университет. И вот какой-то из них красноречивый шут гороховый вбил Нинишке в голову идею – об ассоциации.

А характера эта черномазая Нинишка была такого, что, ежели ей что захотелось, то – хоть звезду с неба – вынь да положь. Страстная, кипучая, сущий самовар. Мать-то ее была француженка или итальянка какая-то; должно быть, от нее и дочке достался южный темперамент, – замечательно, какая была непоседа, затейщица, хлопотунья и устроительница. А так как Нинишь была закадычная приятельница с Толстой Зизи и Анетой Блондин-

кой, – тоже тогда в гору шли, – то, вот, значит, зерно «ассоциации» уже и составилось.

И принялись они втроем пропагандировать, да так удачно, что вскоре сбили в свою компанию самых что ни есть лучших петербургских одиночек. Ида Карловна, Марья Францевна, Нинишь Брюнетка, Толстая Зизи, Анета Блондинка, Нюта Ямочка, Берта Жидовка, Дунечка Макарова, Анна Румяная, Арина Кормилица, Юлька Рифмачка и Катька Злодей, то есть я, ваша покорнейшая слуга, тогда еще совсем молоденькая: три года, как свихнулась, второй год, как гулять пошла. Всех – ровно дюжина. Бывал у нас писатель один, строчил стихи в «Стрекозе» да «Осколках», – так он прозвал нас: «Ассоциация двенадцати неспящих дев».

Удивительно, право, как всех нас тогда захватила эта затея! Ну добро бы девчонок, как я, Нюта Ямочка и Дунечка Макарова, либо простушек, как Анна с Аришей, которые в газетах разбирали только крупные заголовки, да и то по складам, а писать умели только свое имя, фамилию, да и то каракулями. Нет, увлеклись и такие опытные, прожженные,

можно сказать, особы, как Ида Карловна и Марья Францевна: обе еврейки, обеим уже под сорок, обе лет по двадцати в работе и прошли в ней огонь и воду, и медные трубы... Словно поветрием каким-то дурманило, – право!

Заинтересовали богатеньких «понтов». Добыли денег. Базилевский, известный филантроп, десять тысяч дал. По горному департаменту, через Толстую Зизи, столько же достали от тамошних тузов, Кокрова, Скковского. Адвокат К-нин Анете Блондинке пять тысяч отсыпал. Сами мы все жертвовали, не жалели. Нинишь свои брильянты продала, Зизи коляску, я часы и браслет... все – кто сколько в состоянии. Сколотили очень порядочную сумму и решили ставить дело на широкую ногу, шикарно.

Наняли на Офицерской чудесную квартиру, полуособняк, меблировали ее на славу самоновейшим модерном. Швейцар, два лакея, белая кухарка, кухарка просто, судомойка, три горничные, из них одна – та самая Грунька, которую теперь величают Аграфеной Панфиловной Веселкиной и считают в миллионе.

И вот возник наш ассоциационный старый «Феникс». Новшеством благородных напридумали и ввели – страсть! Все Нинишка старалась, из книжек вычитывала. Для врачебных осмотров пригласили женщину-врача, – неглупая была бабенка, Марьей Николаевной звали, – и просили ее, чтобы все у нас в «Фениксе» было по последнему слову гигиены. Влетало-таки в копеечку. Две фельдшерицы всегда налицо: одна дежурит днем, другая – ночью. Гостей принимать условились только по рекомендации, с ручательством и – на волю барышни: хочет – принимает, не хочет – не идет. Между собой – чтобы самое вежливое обращение, никакой похабщины и, прежде всего, долой все профессиональные клички! Нет больше Катек Злодеев, Нинишек Брюнеток и Анок Румяных, а есть Катерина Харитоновна, Анна Андреевна... Как-то случайно у нас много Анн подобралось; на двенадцать – четыре!..

Это правило нам особенно нравилось. Как-то больше чувствуешь себя человеком, когда зовут тебя по имени и отчеству. Вспоминаешь, что и ты отцовская дочь, в семье девоч-

кой родилась, а не в собачьей конуре щенком-сучонкой, которой дали кличку по приметам да так с ней и пустили навек гулять по свету... За гигиенические меры тоже можно было сказать спасибо Нинишке с Марьей Николаевной. Благодаря им у нас в «Фениксе» за все время «ассоциации» не было ни одного случая «сифа».

Интерес в «веселящемся Петербурге» мы возбудили очень большой. Повалила к нам самая шикарная мужская публика – балетные первые ряды, иностранные коммерсанты, министерские виверы. Хозяйки тайных притонов и открытых домов всполошились. Очень натравливали на нас полицию, что мы затеваем чуть не революцию. Но нашу руку крепко держал полицеймейстер Е., постоянный Нинишкин гость, человек веселый и добрый. Наш опыт он находил очень забавным, дразнил нас своими социалистками и раза два, а то и три в неделю уж обязательно кончал свой вечер у нас в «Фениксе», что обходилось нам – на шампанском, коньяке и сигарах – не дешево, но зато сидели мы за спиной Е., как за каменной стеной. А у самого градоначаль-

ника, знаменитого генерала Грессера, имели мы руку в одной театральной антрепренерше, которая этого старого черта молодила какими-то таинственными снадобьями, а потому имела над ним власть, почти что безотказную.

Эти протекции, конечно, стоили больших денег. Особенно антрепренерша. У полицеймейстера, хотя тоже не дурак был взять, но больше Нинишка натурой отдувалась, а эта театральная шельма была бессовестно жадная ненасыть, настоящая пиявка.

За старшую в «Фениксе» мы выбрали и посадили Иду Карловну Л. Во-первых, потому, что она была всех нас старше годами и имела большую представительность; во-вторых, распустили:

– Ты, Ида, еврейка, ваша еврейская нация практическая, значит, тебе и хозяйствовать в деле, – бери ключи и командуй!

Однако Ида, хотя еврейка, оказалась самой бесхарактерной рохлей и размазней и, по беспечному своему добродушию, повела «Феникс» на таких слабых вожжах, что он сразу врозь полез, и уже через месяц мы едва не

прогорели.

Вот тут-то, Маша, и сказалось, что нашему поганому делу женщина может служить аккуратно и усердно только из-под палки, неотступно над ней висящей, а вольной волею, если она сыта, одета, обута и имеет кров над головою, черт ли ее заставит скверниться?

Никому не стало в охоту «работать». Днем валяемся по постелям, играем в шестьдесят шесть, рамс, стуколку, вечером разбегаемся по театрам, циркам, кафешантанам либо к любовникам. Гости придут, – принять некому. Счастливый случай, если из двенадцати три-четыре в работе. Той нет дома, эта в «обстоятельствах»: «выкинула красный флаг». Которая пьяна до положения риз, которая амуруется с собственным душенькой, которая просто не в духе и рычит сквозь запертую дверь:

– А пойдите вы от меня все к черту!..

Любовники у всех днюют и ночуют, словно в собственных квартирах, спивают, объедают, – ревность, ссоры, шум и даже до драк. Иду никто в грош не ставил. Да надо правду сказать, она, толстая распустеха, и сама во

многом подавала плохой пример, потому что была ужасно нежного сердца и вздыхала едва ли не по всем провизорам в петербургских аптеках. Прислуга совершенно от рук отбивалась. Мужчины пьяны двадцать четыре часа в сутки, воруют, грубят Иде, грубят гостям, нагличают с нами, лезут в спальни. Женщин, за исключением Груньки, которая всегда была на месте, никогда не дозваться ни за какой нуждой; живут себе, сложа руки, барынями, дерзят, огрызаются волчицами на каждое замечание, и тоже каждая тащит все, что плохо лежит. А когда же и что же у нашей сестры лежит хорошо?

В хозяйстве Ида уже ровно ничего не понимала, а по кухне хранила только слабое воспоминание о фаршированной щуке, которой лакомилась лет тридцать тому назад, в своем невинном шполянском или уманском детстве. Поэтому наша пресловутая белая кухарка питала нас отвратительно, а счета закатывала, словно она готовила на целую кавалерийскую дивизию...

Да и вообще по всем статьям хозяйства расходы ужасные. А доходов почти никаких...

Ой, не выдержать, – лопнем!..

Испугались. Решили воскресить порядок, завести дисциплину. Иду, к великому ее удовольствию, сместили. Марья Францевна в старшие ни за что не пошла. И умница: она характером была еще мягче своей кузины Иды, а бессребреница прямо-таки до неумения считать, – только ленивый не запускал лапу в ее дырявый карман... Надумались пригласить старшую со стороны.

Как раз в то время Эстер Лаус, немолодая девица из бойкого заведения у Банковского моста, задумала остепениться. Сдала книжку, взяла паспорт и вышла из разряда. По подпольям нашего темного мирка, она имела громкую репутацию особы энергической и изучившей свою среду до несравненного совершенства. Едва ли, дескать, найдется в Питере другая, которая так обстоятельно знает и так тонко понимает нашу сестру, и умеет с ней обращаться. Выписалась из разряда Эстер в расчете остаться экономкой в том же самом заведении, где она несколько лет работала барышней. Хозяйка заведения охотно брала ее в экономки, но Эстер требовала, чтобы хозяйка

приняла ее в компанию, на что та, боясь ее хитрого и дерзкого нрава, никак не соглашалась. Таким образом, Эстер неожиданно осталась не у дел... Что же? попробуем, призовем ее владеть и править нами!

Тоже была еврейка, но уже совсем другого закала. Вышла у нас в лицах басня о лягушках, просивших царя. Толстуха Ида была чурбан бездеятельный, а в красноносой Эстерке обрели мы сущего журавля. Здорово нас скрутила.

Старую прислугу всю повыгнала, только Груньку отстояла наша главная звезда и приманка, Нюта Ямочка, заявив, что если ее Грушу вон, то и она уйдет. А новую прислугу Эстер поставила на такую ногу, что перед ней эти люди ходили по струнке, но для нас сделались вроде сторожей или надзирателей. Бывало, оденешься на прогулку, – ан, в прихожей дверь на лестницу заперта.

– Швейцар, отвори!

– А вы, барышня, имеете от Эсфири Александровны записку на выход?

– Какую записку? С ума ты сошел?

– Тогда извольте возвратиться, без записки

не могу вас выпустить, строго запрещено, могу лишиться места...

Летишь к Эстер объясняться, – сделайте одолжение! спорить и собачиться большей охотницы не найти, но отменить, что она однажды постановила, это – нет, не надейся... Ну погорячишься, покричишь, а в конце концов плюнешь:

– Черт с тобой, давай твою дурацкую записку!..

За словами и бранью она не гналась, – на вороту не висло, – лишь бы всегда выходило по ее на деле.

По хозяйству Эстер ругалась и орала целыми днями, без малейшей жалости к своему горлу и нашим ушам. А по ланитам горничных плюхodelствовала так усердно, что даже и мы, барышни, вчуже возымели некоторый страх и очень изумлялась, почему эти расправы так легко сходят Эстер с рук и побитые женщины не тянут ее к мировому. Но когда мы ей выражали свое недоумение и просили ее все-таки быть осторожнее, Эстер презрительно усмехалась: дескать, ученую учить только портить, – оставьте, я знаю, с кем

имею дело! И, действительно, Груньку, например, она мало что никогда пальцем не тронула, но и малейшее замечание ей делала самым осторожным и ласковым тоном.

Наблюдать террористическое хозяйство Эстер было довольно отвратительно, но, увы, результаты ее оправдывали: расходы сократились, доходы выросли, дело оживилось. Тем не менее довольны ей мы не были. Многие, – и первая Нинишь, – стали поговаривать, что под рукой Эстер чем же собственно наша «ассоциация» отличается от любого «заведения» в когтях строгой хозяйки?

На свободное товарищеское предприятие, действительно, мало походило. С правилами нашими Эстер считалась очень небрежно, выдерживая зато бурные сцены от Нинишь, Толстой Зизи и Анеты Блондинки, сочинительниц нашего статута. Консервативная воспитанница публичного дома, Эстер клялась, что мы сделали все, чтобы связать себе руки для торговли, и каждый отказ барышни принять гостя служил ей поводом к жесточайшей перепалке как с виновною, так и с «уставщиками», которые отстаивали свободу приема

как краугольный камень «ассоциации».

Несмотря на разногласия, возможно, что Эстер удалось бы поставить «Феникс» на ноги, если бы не ее ужасный характер, подозрительный до мании преследования. Ей все чудилось, будто мы посмеиваемся над ее наружностью. Она пришла к нам уже очень увядшею, далеко за тридцать лет. Смолоду она была очень даже замечательно красива, с единственным недостатком излишней румяности лица. Какой-то шарлатан присоветовал ей приставить на сутки пиявки к носу. Румянец, действительно, поблек, зато нос принял цвет и форму спелого баклажана. И сколько потом Эстер ни старалась исправить благоприобретенное безобразие, успела добиться только возвращения носа к первоначальной орлиной форме, да сизая окраска его выцвела в пунцовую, которая упорно светила, как фонарь, сквозь самые густые белила.

Женщина мечтательная и амбициозная, Эстер ждала от своей красоты больших успехов в жизни. Проклятый нос разбил мечты и наполнил душу Эстер ядом, которого избыток она щедро расплескивала на ближних своих,

не разбирая правого от виноватого. Обманутая, все из-за носа, любимым женихом, она прониклась ненавистью ко всей мужской половине человечества и чересчур уж нежно возлюбила нашу, женскую. И в «Фениксе» у нее тоже не замедлила появиться фаворитка, робкая и смиренная тихоня, Дунечка Макарова, слывшая между нами писательницей, потому что она каждую свободную минуту строчила что-то в свой дневник, который вела с педантической аккуратностью и никому не показывала. Эстер ее решительно ко всем ревновала без толка, смысла и соображения, наполняя дом бешеными, до мучительства, сценами.

Особенно, когда Эстер, злобно остря сама над собою, что должна же она оправдывать красную вывеску своего носа, поддавалась запою и принималась глушить свой излюбленный коньяк Мартель три звездочки. Евреи трезвый народ, а в особенности, еврейки. Пьющие из них даже в нашей среде редки. Но уж если еврейка пьяница, это страшное, обреченное существо. Либо тихая идиотка, быстро идущая на дно животной невменяемости, ли-

бо черт во плоти, как Эстер. Любопытно, что пьянство ей, точно капитану какого-нибудь китобоя или пиратского корабля, нисколько не препятствовало держать руль крепкой рукою. Взглянуть, – еле на ногах держится, а в счетах замечает каждую копеечную ошибку, на мебели новое пятнышко величиной с булавочную головку, в туалетах малейшую небрежность. И сию же минуту – жесточайший скандал.

С каждым днем ее дикий характер обнаруживался все свирепее. Свою безответную фаворитку, Дунечку Макарову, она колотила проходя, пощечины так и трещали; а заметно было, что сильно чешутся у нее ладони добаться до ланит и прочих барышень ассоциации, не связанных с ней узами всевыносящей дружбы. Между прочим, и у меня с Эстер чуть не вышло драки из-за жалобы одного скота-гостя, что я плюнула в его стакан с шампанским... Положим, эту штуку я действительно отмочила, потому что мерзавец вел себя свинья свиньей и говорил мне нестерпимые гадости, но все-таки бить меня, Катюку Злодея, какой-нибудь красноносой Эстерке –

врешь! Руки коротки!

Ну-с, недовольство накоплялось да накоплялось... Наконец, Эстер и впрямь осмелилась прибить по щекам двух наших товарок из простеньких – Анку Румяную и Аришу Кормилицу, которая бросилась их разнимать, так толкнула с лестницы, что девушка пересчитала телом все ступеньки и получила растяжение сухожилия на правой ноге.

Терпение лопнуло, последовал взрыв. Мы заявили Эстер, что не каторжные ей достались, этакое рабства, как она нам устроила, и под хозяйками не бывает, и – убирайся ты от нас ко всем чертям!..

К нашему изумлению, она сложила с себя бремя правления без малейшего протеста и даже как бы с радостью. Распростились честь честью, без всякой злобы, словно никогда и не бранились. Но все обратили внимание на ту странность, что с горничной Грунькой Эстер простилась особенно сердечно и даже как бы искательно.

Вместе с Эстер, вопреки нашим просьбам и убеждениям, ушла из ассоциации Дунечка Макарова. Но свято место пусто не бывает.

Ушли две, пришли три и между ними – писаная красавица, царевна из русской сказки и набитая дура, – Аня Фартовая, на которую тогда оглядывался весь Павловск, до чего великолепно хороша. Недаром прозвали Фартовой! Ожидали: ах, новая Женя Мюнхенова, да еще и не красивей ли? То-то карьеру должна сделать! Но оказалось так невыносимо глупа и тупа, такое бессмысленное и бесстрастное ходячее мясо, что при всей ее царь-девичьей красоте гости с ней скучали, к ней не приживались, и выше обыкновенного случайного форта в розницу – от сторублевки к сторублевке – она не пошла... Другие две, немочка Каролина и евреечка Лия, не представляли собой ничего особенного, кроме необычайно дисциплинированной аккуратности в работе. В наступившем после ухода Эстер хаосе «Феникса» эти новые пришельцы, втроем, одни оказались столпами порядка и субординации.

Постановили мы общим решением, что довольно, больше у нас старших не будет, а все мы, по очереди, будем старшить – каждая две недели. Ну уж из этого вышла такая каша, что совестно вспомнить.

Ни у одной из нас не нашлось хотя бы капли административного таланта. В недели барышень из простых – Анки Румяной, Ариши Кормилицы, Каролины, Лии – мы, по крайней мере, ели хорошо, потому что они понимали кухню и умели присмотреть за кухаркой. Лучшими неделями были недели Нюты Ямочки, в чем, однако, эта Недвига-царевна, по целым дням не сходявшая с мягкой кушетки, была несколько не повинна: за нее распоряжалась ее доверенная расторопная умница-горничная Грунька. Но при «аристократках», как Нишишь, Толстая Зизи, Берта Жидовка либо я многогрешная, бывало, обед – хоть выброси за окно и посылай за другим в греческую кухмистерскую. Опять все пошли вразброд, опять никогда никого нет дома вовремя, опять шлянье по любовникам и любовников к нам, опять общее отлынивание от «работы».

Юлька Рифмачка связалась с тапером, оказалась в положении, ушла делать аборт и не вернулась, уехала в Москву, в открытый дом. Анка Румяная и Ариша Кормилица, гуляя, черт знает с кем, на стороне, схватили болезнь – еще две из поля вон! Новеньких появ-

лялось много, но все уже второй и третий сорт, далеко до нас, которые начинали. Саша Заячья Губка, Дорочка Козьявка, Манька Змееныш, Эмилька Сажень... по прозвищам слышите, что неважно, Невским пахнет...

Нинишь, когда пропагандировала ассоциацию, проповедовала, что чрез нее мы облагородим свою несчастную среду. Поди-ка, облагородь ее, когда в компанию врывается Манька Змееныш – женщина с двенадцати лет и проститутка с четырнадцати: в послужном списке – исправительный приют, трижды бланка, дважды Калининская больница, однажды лишение столицы, то есть высылка из столицы на родину, и судимость по подозрению о краже часов у гостя. Девушка эта умирает со смеха, когда Нинишь пыталась звать ее Марьей Филипповной, и не умела связать десяти слов без матерщины. И когда ей говорили, что так нельзя, это противно и у нас запрещено, – возражала:

– Вот на! Что же вы хотите, чтобы я всех своих гостей растеряла? Чай, мне за мою словесность любители деньги платят?

– Да, это часто бывает, – заметила Лусье-

ва. – Но зачем же вы такую отчаянную уличную к себе пустили?

Катерина Харитоновна усмехнулась, покуривая.

– В порядке ассоциации, душенька, по баллотировке... Добры мы очень. Когда она нам предложила, все были против, – чтобы не пускать эту язву в дом. А подали записки, – здравствуйте! только два голоса – минус, да две воздержались... Вот оно, как умно голосовать умеем!.. Ну, а раз приняли даже такое сокровище, как Манька, то за что же было проваливать других, которые, в сравнении с ней, сама тишина и скромность?

Нам очень приятно было привлечь в ассоциацию Дорочку Козявку, маленькую евреечку, которая, не будучи нисколько красива, почему-то ужасно как нравилась солидным гостям из средних, вроде бухгалтеров банков, биржевых маклеров, нотариусов. Но она не шла без своей неразрывной приятельницы Саши Заячьей Губки. Пришлось взять и Сашу, хотя эта бывшая «филаретка» была уже почти урод, имела репутацию интриганки, а гостей к ней факторши приманивали молвой, что

она безотказна на всякое свинство.

Эмилька Сажень, добрая, глупая девка из русских немок, в самом деле чуть не трех аршин ростом и соответственной толщины, прямо заявила нам, что правила, ограничивающие пьянство, для нее неисполнимы, так как ее гости, по преимуществу царскосельское офицерство, посещают ее не столько для марьяжных целей, сколько – чтобы любоваться, «как Эмилька льет в свою бездонную бочку всякие жидкие напитки».

Идейную сторону ассоциации эти госпожи упорно не воспринимали, сколько ни старались им втолковать ее Нинишь, Зизи и Анета Блондинка. Но им нравилось, что ассоциация отчисляет у них всего 10 процентов заработка, тогда как, работая при сводне или хозяйке, дай Бог удержат 10 процентов для самой себя. Нравилось прекрасное рыночное место, выбранное для «Феникса» близ театров и сада Неметти. Нравилась почти полная безопасность от полиции под крылом благодетеля Е. «Облагораживающих» же правил решительно не понимали, считали их дурацкой фанатерией в убыток делу и нарушали их еже-

дневно.

Вообще... глупо прозвучит это о месте, предназначенном для разврата, но вместе с новенькими ворвался к нам ужасный разврат. Именно тот разврат, от которого мы воображали забронироваться в условное приличие: разврат Невского, бань, открытых заведений.

«Феникс» теперь как бы раскололся надвое. Новенькие семь барышень – Аня Фартова, Лия, Каролина, Манька, Саша, Дорочка и Эмилька – образовали сплоченную группу, так сказать, «реакционерок». Мы, основные, имели против них только один лишний голос и, стало быть, при малейшем среди нас несогласии, – а несогласия бывали часто, – они брали верх над нами с величайшей легкостью. Да нельзя было не считаться и с тем, что новенькие значительно освежили гостевую публику «Феникса» в опасное время, когда наша, если можно так пышно выразиться, клиентура сильно пошатнулась из-за нашего хаоса и капризов.

Как вы знаете, наша профессия не может обходиться без посредничества и подспудной

рекламы – без ходебщиц, факторш, маклерш, сводней: они заменяют нам газетные объявления и приманивают публику. В начале «Феникса», при Иде, а тем больше при Эстер, эти промышленницы очень интересовались нами и хорошо для нас старались. А теперь отвернулись и махнули рукой:

– У вас, – говорят, – не дело, а сумасшедшая палата, с вами только собственную деловую репутацию погубишь и растеряешь хороших клиентов.

И, действительно, Маша, в самом непродолжительном времени остались мы, правда, на полной своей воле – что хочу, то и делаю, но зато и при гостях почти что парамурного десятка. Офицерики, студенты, газетные со-труднички, приказчики... Публика, которая мало что платит плохо, если вообще платит, но иной, при случае, еще у тебя же норовит перехватить десятку займы без отдачи. Один помощник присяжного поверенного у меня шелковое трико спер... только я его и видела! Должно быть, законной супруге в день ангела поднес, мерзавец!..

Любовей со всей этой шантрапой разве-

лось у нас – туча! Ну, а понимаете, какая уж марьяжная коммерция, когда нашей сестре вступает в сердце любовная мечта? Тут только дай Бог нашатырю не хвататься да выдержать характер – не уйти к любовнику-голоштаннику на взаимную голодовку. Либо не попасть в лапы «коту», который потом с тебя век будет шкуру драть и кровь твою пить...

Так вот-с. Живем, как ошалелые, без всякого марьяжа и дохода, только друг у дружки пятерки занимаем, чтобы покупать для своих «обже» галстухи и запонки. Перезаложились все до ниточки. Одна Нюта Ямочка осталась вне этой дурацкой эпидемии. Но на то была особая причина. И именно она-то, Нюта Ямочка, все-таки в конце концов и погубила ассоциацию.

Вы знаете, Маша, что я бабенка не из ласковых и не очень-то лестного мнения о людях вообще, а уж о глупом стаде наших с вами подруг по профессии – в особенности. Но эта Нюта Ямочка была прелестное существо.

Ямочкой ее прозвали за прелестную ямочку, которая играла у нее на правой щеке, когда она улыбалась. Хорошенький русский хе-

рувим, живая розочка, маленькая, кругленькая, изященькая женщина-игрушка. Купеческая дочка из-под Москвы, завертелась из дома родительского с актером, а тот, как водится, поиграл да и бросил. Не из образованных, но и не из дикарок:хватила несколько классов гимназии. А главное, имела самый очаровательный – мягкий, милый, нежный – характер и была несравненно привлекательна в обращении. Тогда первой красавицей по Петербургу слыла и действительно была эта, знаете, великокняжеская Женя Мюнхенова.

Конечно, по наружности Нюта перед Женей была не более, как смазливенькая мещаночка перед Венерой Милосской. Но, в общем, так мила, что многие, представьте, предпочитали ее божественной Жене.

Притом... знаете, когда нашу сестру хвалят, что она скромная, стыдливая и т. п., это звучит двусмысленно до глупости. Черт ли в скромности и стыдливости, если самая профессия бесстыдна? Ну, а вот к Нюте, в виде исключения, эти аттестации удивительно как шли. Было в ее простоте что-то этакое... неистребимо, вечно целомудренное. Я, например,

уверена, что она в жизнь свою не произнесла ни одного похабного слова. А когда вокруг нее начинались похабные разговоры, она, улучив удобную минутку, тихо незаметно вставала и уходила, с какими бы важными и выгодными гостями ни была. Мужчины с нами не церемонятся. В своей плачевной опытности я видала неопишуемые свинства со стороны даже таких мужчин, которые в своем обществе слынут и держат себя рыцарями человечности и порядочности. Бывает даже так, что, чем они в свете лучше, тем с «девкой» хуже. И однако, Маша, уверяю вас, я не умею вообразить такую двуногую свинью, которая позволила бы себе с Ньютой те мерзости и похабства, каких эти господа уверенно требуют от других, хотя бы и от нас с вами.

А между тем, если хотите, она была проститутка больше, чем мы обе, больше, чем все, которых вы знаете у Буластихи. Потому что мы считаем свой проституционный жребий несправедливым проклятием судьбы, злимся, негодуем, протестуем. Ньюта же относилась к своей профессии с покорностью, простодушной до наивности, не прикрываясь ни

от людей, ни от себя никакими масками и псевдонимами. Совершенно искренно говорила:

– Что же делать, если меня Бог обидел? Уродилась дурочкой, кругом бездарною, а собой недурна. Работать ленива, ничего не умею и терпеть не могу, а жить люблю хорошо. Значит, кроме как в проститутки, я ни на что не гожусь.

Дурочкой она не была, напротив, рассуждала обыкновенно очень неглупо, обнаруживая прочный запас мещанского здравого смысла, но, действительно, не обладала даже тенью каких-либо талантов... совершенная тупица! Рукоделья – и те ей не давались. В карты – куда уж до винта, в стуколку не выучилась.

Замуж бы ей самое подходящее дело, и женихов сколько угодно. И влюбленных, и смышленных практиков, соображавших, что с такой женой в Питере карьеру сделать – как стакан вина выпить, даром что она из «ассоциации». Так нет, ни за что. Говорила:

– За первого встречного или афериста какого-нибудь я не пойду, потому что совсем не

хочу закабалить себя на авось, а уж тем более подозрительному субъекту. Дрянных мужчин я и теперь довольно вижу. Бедняк мне не годится, я балованная, а хороших богатых мало. А главное – за хорошего, даже если бы полюбила, как я пойду после такой моей жизни? Это – себя обманом потешить, его обманом загубить... А обманы – ах как недолго держатся! Никогда этого, – что жена была проституткой, – ни муж не забудет совершенно, если он в самом деле чистый человек, ни сама жена не выкинет из памяти-совести... Радость ли, Катя, век виноватой жить?.. Сначала-то, в первом пламени, пожалуй ничего, не помнится, не чувствуется, но, когда страсть поутихнет, любовь позавянет, вот тебе, вместо супружества, вековечное страдание двух жертв неповинных...

Что ж? Была права, рассуждала не глупо. Подобных браков – и гражданских, и церковных, – перевидала я не один десяток, а не помню, чтобы который-нибудь долго продержался и хорошо кончился. И даже так скажу, что, чем оба лучше и честнее, тем скорее оба утомятся, не вытерпят своей тайной лжи. И либо

разойдутся, либо – нашатырь, револьвер, корсетный шнурок одним концом на шею, другим на гвоздик... Покорно благодарю!.. Меня ведь, Машенька, тоже спасали, испробовала это счастье... Ха-ха-ха!

Катерина Харитоновна швырнула докуренную папироску в угол, хотела закурить другую, но не нашла ее в опустошенной коробочке «Гадалки». Маша с кресла бросила приятельнице свою папиросницу.

– Спасибо... Однако, Маша, при всем моем скептицизме на этот счет, должна вам признаться, что бывают в этих спасательствах случаи такого увлекательного самообмана, встречаются люди такой пылкой веры в человека, таких благородных намерений, так уважающие и себя, и тебя... ну, и, конечно, так влюбленно-красноречивые, что надо иметь вот этакий рыбий темперамент, как у Нютки, чтобы не поддаваться соблазну... устоять... За исключением того первого любовника, актера, который взял ее врасплох, с перепуга, почти что силою, у нее не было потом уже ни единого дружка. Слушая и видя наши бесчисленные романы, она только плечами пожми-

мала – удивлялась, неужели мужчины нам еще не отошнели!..

Вдобавок ко всем своим достоинствам, Нюта была еще. ужасная домоседка. Все свободное от гостей время проводила в том, что, лежа на кушетке, читала страшные переводные романы Понсон дю Террайля, Ксавье де Монтепена, Габорио. Лежит и жует конфеты. А горничная Грунька, нынешняя Аграфена Панфиловна Веселкина, если не занята по дому, обязательно сидит подле, шьет, вяжет или штопает что-нибудь и с величайшим интересом слушает, как барышня Нюта, воспаляясь похождениями демонического виконта Андрэ или белокурой грешницы Баккара, принимается вычитывать вслух самые боевые страницы...

До нашего «Феникса» Нюта работала на Марью Алексеевну. Была, теперь забастовала, такая благопристойная сводня с маленькой, но самой солидной клиентурой: коммерсанты иностранных фирм, министерские чиновники на доходных постах, вдовое духовенство... публика, которая любит, чтобы о ее похождениях держали крепко язык за зубами и

за тайну хорошо платит. Грунька проживала у Марьи Алексеевны при кухне, без места, при сестре-кухарке. Нюта заприметила ее, что девушка работающая, расторопная и неглупая, и, переходя в «Феникс», рекомендовала Груньку нам. У нас же Грунька сразу замечательно как привилась и полюбилась.

Была толковая, вежливая, всегда веселая, исполнительная и преуслужливая. Мы ее, скорее за подружку почитали, чем за горничную. Тем более, что сложилось как-то так, что и служила-то она, главным образом, только Нюте Ямочке, которую боготворила и величала «своей барышней», а остальным – лишь между прочим, как бы из любезности.

Когда начались и потянулись полосы нашего оскудения, Грунька оказалась совсем золотым человеком. Находила каких-то великодушных закладчиц, которые давали под вещи вдвое больше, чем ссудные кассы. Правда, и при вдвое большем проценте, да ведь наша сестра за этим не стоит, а лишь бы сейчас наличность в руки. Выгодно продавала старые платья и белье где-то на Александровском рынке. Наконец, и сама она имела кое-какие

деньжонки и охотно снабжала ими по мелочам всех нас, кто попросит, без всяких процентов, только с распиской для памяти. Если же требовалась сумма побольше, то Грунька бегала по городу, изыскивая согласного ростовщика или ростовщицу, и обязательно находила. Но тогда уже требовался вексель с поручительством и проценты взимались жестокие. Чаще всего кредиторшей оказывалась сестра Груньки, служившая в кухарках у Марьи Алексеевны, баба, о которой сама Грунька выражалась, что Дарью черт себе на смех выдумал: ни к чему-то, кроме денег, она ни вкуса, ни смысла не имеет и суцая живодерка.

Уплаты долгов по распискам Грунька никогда не требовала: «У вас, барышня, целее будут!» А векселя ее ростовщики и ростовщицы переписывали с величайшей легкостью, причем, однако, задолжение – ой, как выросло!

Дружа с Грунькою, мы не раз убеждали ее, полусерьезно, переменить участь: перейти из горничных к нам в товарки, включиться в ассоциацию. Но она упорно отшучи-

вас, что «рылом не вышла»... Между тем... Да вы, Маша, видали когда-нибудь Аграфену Панфиловну Веселкину?

– Нет, Катя, не случилось.

– Теперь, к пятому десятку, ее уж очень разнесло, – расплылась, расползлась, жирная туша, как все наши почтенные хозяйюшки, – но все еще король-баба. А тогда, если бы не один смешной недостаток, была бы девица хоть куда, в этакое русское хороводное вкусе. Рослая, статная, белая, румяная, быстроглазая, очи с поволокой, чудесные русые волосы, губы малина, белозубая, грудастая, широкобедрая, спина, как плита. Но, подобно как Эстер, природа тоже обидела Груньку носом. Только у Эстер он был длинный и светил пламенем, а Грунька, напротив, имела на месте переносицы гладкое поле, а пониже – какую-то шарообразную белую пуговицу с двумя черными дырочками, астрономически устремленными к небу. Прямо пародия какая-то на нос, свиной пяточок, масляничная маска. Эстер имела, по крайней мере, то утешение, что на фотографии выходила красавицей, а Груньку и фотография оставляла кари-

катурой. Однако, в отличие от Эстер, несчастный нос Груньку не ожесточил, и она первая предобродушно острила над своим «пыптиком».

Уж не знаю, «пыптик» ли был причиной или иное что, почему Грунька засиделась в девках до тридцати лет. Конечно, девица она была только по паспорту, однако, – Бог ее ведает, – что осталось у нее в прошлом, но положительно утверждаю, что, обслуживая нашу грешную ассоциацию, сама Грунька вела жизнь воздержанную и одна из всей женской прислуги не имела ни жениха, ни любовника.

Чтобы закончить портрет этой госпожи, не умолчу еще об одном недостатке Груньки, для меня гораздо более несносном, чем ее комический нос: у нее, – уж извините за подробность, – препротивно пахло от ног, трудно было долго оставаться с ней близко. Она этот недостаток свой знала, и принимала против него всякие аптечные меры, и духами заливалась, но – на чей другой нос, а на мой, например, казалось – выходило еще хуже. Мы все удивлялись на Нюту, как она выдерживает, что Грунька сидит в ее комнате по целым

дням. Но Нюта уверяла, что мы преувеличиваем и ничего особенного она от Груши (так она всегда звала Груньку) не слышит.

Хорошо-с. Нюта лежит, жует сласти и читает своих Рокамблей и Генрихов Четвертых. Груша сидит подле и шьет. А потом Нюта стала держать свою комнату на ключе, чтобы к ней не входили, не постучавшись. А потом однажды пожаловалась, что ее комната, окном во двор, тесна и темна, и попросила, чтобы ей уступили другую, большую, двумя окнами на улицу. Когда-то, в медовый месяц ассоциации, Нинишь предполагала устроить в этой комнате библиотеку и читальню. Но дни розовых мечтаний давно миновали: теперь, кроме «Петербургского листка» да «Петербургской газеты», кажется, уже и Нинишь ничего не читала, не говоря о прочих.

Когда Нюта перебралась в читальню, то и Грунька перенесла туда же из девичьей свою кровать и пожитки. А затем все мы получили, написанный прекрасным почерком Нюты, золотообрезный билетик с голубками и незабудками, которым Аграфена Панфиловна и Анна Николаевна приглашали нас на шоко-

лад по случаю их общего новоселья.

В положении Груньки все это приключение вызвало лишь ту перемену, что теперь она говорила Нюте «ты», очень ею командовала и порой на нее ласково покрикивала. По отношению к нам она осталась такой же услужливой и исполнительной, как была, и сделалась еще тароватее на кредит. Еще бы! Нюта вверилась ей совершенно, а наша бережливая домоседка Ямочка имела-таки запасные деньжонки на черный день. Ими-то, как потом выяснилось, и принялась теперь орудовать Грунька.

Мы, безалаберные расейские простыни, продолжали хватать у нее десятки, четвертные и сотенные, не думая об отдаче. Но еврейки считать умеют. Однажды Дорочка Козявка озадачила меня вопросом, знаю ли я, сколько должна Груньке.

– Нет, не знаю... пожалуй, наберется рублей пятьсот...

– Только? – удивилась она, округлив черненькие глазки-маслилки. – Гм... а мне казалось, не две ли тысячи? Вы бы, Катя, все-таки поосторожнее...

Я обеспокоилась, попросила Груньку выяснить мой счет. Но получила беспечный ответ:

– Ох, барышня, валяются где-то эти бумажонки, я о них и думать забыла. Да что вы вдруг встревожились? Разбогатеете, – отдадите. За вами не пропадет.

Но, если мы закрывали глаза на свои частные долги, то не могли не видеть общей суммы вексельных обязательств по ассоциации. Они возросли до тридцати тысяч рублей. Сроки близились, и на этот раз, когда поднимался вопрос о переписке векселей, Грунька как-то сомнительно отмалчивалась, загадочно поджимала губы да покачивала головой. Либо жаловалась на неурожайный год, что в Петербурге ни у кого нет денег, и никто не хочет открывать новых кредитов, а все норовят по старым!..

Нинишь, Зизи и Анета Блондинка, на имя которых писались все долговые документы ассоциации, были в ужасе. Касса наша, опустошенная безвозвратными ссудами, была – хоть шаром покати.

А тут вдруг гром с ясного неба. В один прескверный день Нинишь вызывает к себе наш

приятель, полицеймейстер Е., и объявляет ей уже без малейшей любезности:

– Ну-с, милейшая социалистка, «кончен базар»! Побаловались, – и баста! Больше мы терпеть вашу, с позволения сказать, ассоциацию не можем. Доведались о вас такие сферы, с которыми шутить плохо. Даю вам на ликвидацию неделю срока. Не успеете, прошу не прогневаться: всех на бланку! Либо, на выбор, вон из столицы по месту родины.

Никаких просьб, доказательств, объяснений и слушать не стал.

– Нет, – говорит, – слух дошел до августейших ушей ее величества государыни императрицы, и она ужасно возмущена, что в столице такая безнравственность. Благодарите Бога и за то, что я выпросил для вас у генерала недельный срок. Он хотел выслать в двадцать четыре часа.

Бросились мы к антрепренерше. Говорит:

– Да, слышала, есть. Мой генерал рвет и мечет. Насчет императрицы не знаю, а у Ольденбургских ему, действительно, кто-то сделал неприятный намек. Да на это наплевать! Кладите пятьдесят тысяч на стол, – улажу.

Спасибо! В тот день, хоть всех нас наизнанку выверни, мы и пятисот рублей не набрали бы.

Устроили общее собрание. И Груньку пригласили: совещательный голос! За председательницу была Марья Францевна, а я секретарь. Доложила Нинишь необходимость спешной ликвидации. Новенькие приняли равнодушно. Нас, основных, словно громом пришибло.

Странное, право, дело, Машенька! Никакой пользы-выгоды мы от своей ассоциации не видали, а, как пришлось нам ее прикрывать, стала нам она вдруг так мила, так мила, – так ее жаль, – ну прямо навзрыд плачем, слезами обливаемся... Прощай, наша свободушка! Попировали сами себе госпожами и будет!

Но вдруг Грунька поднимает голос:

– Позвольте, барышни. Не рано ли заплакали? По-моему, все это еще очень можно уладить. И никаких пятидесяти тысяч. Без грошика.

Мы встрепенулись.

– Что ты говоришь, Груня? Как?

А Нюта с места мямлит, тянет своим сонным голосом:

– Да, Груша имеет очень остроумный план, который и я одобряю... Говори, Груша.

– Что же, – говорит Груша, – вы так оробели, хотя бы и бланка, которой пугает вас этот старый пес полицеймейстер? Книжка ли, бланка ли, страшны, когда вы одиночкой марьяжите либо должны обязаться к случайной хозяйке, в незнакомое заведение. Но ежели вы не разойдетесь и сохраните свое сожительство в неприкосновенности, то на всю ихнюю полицейскую реестрацию – наплевать вам с высокого дуба, да и весь сказ... В открытую-то играть, пожалуй, еще спокойнее.

Возражаем:

– Но ведь нам же велят именно «Феникс» закрыть, ассоциацию уничтожить и разойтись?

– А на кой ляд вам дразнить начальство вашей ассоциацией? Вы друг дружке верите?

– Верим.

– Все?

– Все.

– Так выбирайте промежду себя – которой

доверяете больше всех, да чтобы была посolidнее... Марью Францевну... Иду Карловну... И пусть она выправит на свое имя патент на самое обыкновенное заведение первого разряда. А вы, остальные, поступите к ней в дом девицами, законтрактовавшись на общем положении. Тогда снаружи к вам не может быть никакой прицепки, а как вы устроитесь у себя внутри, это уже ваше дело. Раз есть налицо хозяйка с торговыми правами, то все в порядке. А какая там у вас в изнанке под спудом ассоциация, чужому носу и глазу, хотя бы и полицейскому, туда не досунуться... Только бы согласно стояли все друг за дружку, – вотрем очки в лучшем виде!

Действительно, ларчик просто отпирался! Обрадовались мы, словно Америку открыли. И кинулись в яму, словно овцы за передовым козлом.

Нинишка полетела депутаткой к Е. Выслушал с совершенной благосклонностью:

– Давно бы так!

Однако предупредил, что ни одна из нас разрешения не получит, нужно постороннее лицо. А также – что «Феникс» должен быть

перенесен с Офицерской в окраинный переулок его же, Е., района, где вообще ютятся подобные дома.

Опять тупик! Шутка ли доверить свою свободу какому-то «постороннему лицу» – чужой, никаким прошлым с тобой не связанной женщине? Легкое ли дело в неделю перевести и водворить на новое место дом – пятнадцать жилищек-барышень да прислуги восемь душ, имущества на многие тысячи?..

Но все-таки больше всего смуцало «постороннее лицо». Кого-кого только ни перебрали мы в памяти из женщин, связанных с нашим промыслом, но в нем не числящихся. И Марию Алексеевну просить собирались, и даже зашла было речь об изгнанной Эстер...

Но тут попросила слова Нюта Ямочка и внесла предложение, что «посторонним лицом» может и должна быть не кто иная, как... ее Груша!

– Мы все ее знаем и любим, она всех нас знает и любит; с «Фениксом» она свыклась, ассоциация дорога ей столько же, сколько и нам. Не доверять ей мы не имеем никакого основания: девушка простая, бесхитростная и

прекрасного характера. А она свое доверие и расположение достаточно доказывает уже тем, что почти все мы ей должны большие деньги, а она терпит, не требует, хотя видит нас в трудных обстоятельствах и, значит, очень малонадежными плательщицами.

– А сверх того, – заключила Нюта, – за себя лично я должна откровенно предупредить, что, кроме Груши, я ни под чью другую руку не пойду, и если Груша не примет хозяйства, то считайте меня выбывшей.

Это уже было маленькое давление на общественный приговор. Все понимали, что без Нюты нам нельзя: наша примадонна, дива, слава!.. Последовавшие дебаты излагать излишне. Предложение Нюты восторжествовало десятью голосами против пяти. Новенькие все голосовали за Груньку. Из основных, конечно, Нюта Ямочка да обе «старухи» – Марья Францевна и Ида Карловна. Наша пятерка, – я, Берта Жидовка, Зизи, Нинишь и Анета Блондинка, – осталась в обидном меньшинстве.

Грунька ломалась, кривлялась, отнекивалась, отмахивалась.

– Да что вы вздумали? Да смею ли я? Да как я могу? Что ты, Нютка, полоумная, в какую беду меня тянешь? Нашли управительницу! Что я вам, барышни, на смех далась? Какая я хозяйка? И грамоте-то знаю самоучкою, с грехом пополам. Да вы, образованные, мне голову свернете, я от одних ваших насмешек стыдом пропаду...

Но, покуда она причитала, а мы перекорялись вдруг – дзиннь! звонок и повестка от нотариуса Анне Михайловне Р.: поступил, мол, ко мне ваш неоплаченный вексель на восемь тысяч рублей и, если завтра до двенадцати часов не будет внесена валюта, то документ будет опротестован...

Нинишка покатила в истерике, а мы, юристки великие, перепуганные до полусмерти, словно этот нотариус грозил с нас головы посягать, насели на Груньку, что называется, вплотную и теперь уже единогласно:

– Ты, Грунечка, одна можешь спасти нас... выручай!

Тогда она, будто бы нехотя, согласилась. И тут же, на скорую руку, было составлено обязательство, которое нам, сторяча и в волне-

нии страстей, показалось очень легким, а на самом-то деле закабалило нас Груньке в крепкую зависимость.

Грунька брала на себя уплату всех долгов нашей ассоциации, а также все расходы по устройству «Феникса» в новом помещении, как скоро оно найдется. За это мы, кроме себя самих, передавали ей в собственность всю обстановку нашего «Феникса» до последней ложки и плошки, что она великодушно принимала в трети общего задолжания. Остальные две трети раскладывались на пятнадцать частей, по числу барышень ассоциации, соответственно времени, сколько каждая в ней работала, с погашением половиной будущих заработков в новом «Фениксе». Каждая должна была затем, когда Грунька получит разрешение от полиции, заключить с ней отдельное личное обязательство, со включением в него уже и своего частного ей долга по распискам!.. Если же ко-торая-нибудь не захочет заключить такого обязательства и пожелает выйти из ассоциации, то должна заплатить сразу все, сколько за ней числится. Выходило как будто немного, особенно для недавних но-

веньких, которые поэтому первые, вслед за Ньютой, и подписали обязательство. На мою долю упало 1875 рублей, что, вместе с моим частным долгом Груньке, составило кругленькую сумму до 4000 рублей.

Дело в руках Груньки закипело со сказочной быстротой. Разрешение она получила так легко, что и слепой разглядел бы тут фортель, давно уже условленный с хорошо подкупленной полицией. Возможно, что разрешение уже лежало у нее в кармане, когда она с нами торговалась.

Еще прозрачнее вышло с помещением. Едва наше обязательство улеглось в Грунькиной шкатулке, как желанный дом отыскался, словно по щучьему велению, и Грунька немедленно, на другой же день, начала перевозить туда нашу мебель. Нинишь, Берта Жидовка и Дорочка Козявка отправились заглянуть на будущую нашу берлогу и возвратились очень изумленные, так как нашли совершенно заново отделанный, с трактирным шиком, особняк, в котором еще недавно помещался один из самых бойких публичных домов Петербурга, закрытый за смертью вла-

делицы. Таким образом, мы перебирались на «наезженное место», что, конечно, не могло быть случайностью, и обделано было не наспех, в роковую неделю нашего разгрома, а, по крайней мере, за два, за три месяца раньше, как показывал солидный и специально на «заведение» рассчитанный ремонт.

Непостижимо было, откуда Грунька, в конце же концов, только горничная в веселом доме, доставала средства на подготовку и осуществление своего, очевидно, давно задуманного и исподволь, втихомолку обработанного захвата. Это выяснилось только в далеком последствии, когда открылось, что за спиной нашей нищей и легкомысленной ассоциации незримо выросла и таилась другая «ассоциация», состоятельная и хищная, в которой Грунькин жульнический гений нашел и кредит широчайший, и властную поддержку. Когда «Феникс» превратился в шикарное «заведение», пайщиками в нем оказались и сводня Марья Алексеевна, и Грунькина сестра-кухарка, и Эстер Лаус, и какой-то меняла с Невского, и покровительствуемая Трассером антрепренерша, и несколько крупных полицей-

ских чинов.

Не решусь утверждать, чтобы между ними был Е., но – что он оказался со всей Грунькиной компанией в теснейшей дружбе, состоял у нее на жалованье и помог ей нас обработать, в том нет ни малейшего сомнения. Сам же потом в глаза Нинишке смеялся над тем, как напугал нас императрицей:

– Дуры! неужели ни у одной из вас не хватило мозгов сообразить, что если бы не то что императрица, а самая последняя ее камер-юнгфера моргнула мне на вас глазом, то я бы в ту же самую минуту вас законопатил в такие тартарары, где вы и света белого не увидели бы больше – так бы и передохли впотьмах?!

И, наконец, к числу бессознательных соучастниц надо отнести и нашу милейшую Нюту Ямочку, которой капитальцем Грунька распорядилась, как своим собственным, пока вовсе его не зацапала.

Что говорить – умная пройдоха! Удивления достойно, как полуграмотная девка обвела вокруг своего пальца и заставила плясать по своей дудке столько разнообразнейших

людей и все таких, которым тоже пальца в рот не клади. Всех заставила на нее работать и всех, в конце концов, обставила и, обставив, выставила. Уж на что шельма была антрепренерша, однако прогорела в каких-то аферах и умерла, разоренная, в очень тугих обстоятельствах. А Аграфена Панфиловна Веселкина в миллионе, и никаких пайщиков у нее в деле давным-давно нет. Всех слопала, даже полицейских. Е. она мало-помалу так запутала, какими-то такими документами на него раздобылась, что старик под конец жизни боялся ее больше, чем самого грозного начальства. Пикнуть не смел против Аграфены, хоть она там у себя в «Фениксе» с живого человека кожу сдери.

Общее наше обязательство формально недорого стоило, а книжки еще не были взяты и личные обязательства, за исключением Нюты Ямочки, немки Каролины да долговязой Эмильки Сажени, еще не подписаны. Многие призадумались пред последним решительным шагом.

В том числе и я, неожиданно оказавшись заодно с моим врагом, этой уличной безобраз-

ницей, Манькой Змеенышем.

Она теперь громко вопила, что подала за Груньку голос впопыхах, не разобрав дела, «как дура оголтелая», но скорее пойдет шляться по Сенной с полтинничными и ночевать в Вяземской Лавре, чем даст себя оседлать «безносой горняшке». Третьей присоединилась к нам еврейка Лия. Заколебались и наши «старухи», Марья Францевна с Идой Карловной.

Правду сказать, за исключением меня, которая считалась в ассоциации козырем, Грунька несогласными не очень дорожила. А от Марьи Францевны с Идой Карловной была прямо-таки рада отделаться: особы заслуженные, но насмешники из гостей уверяли, будто Ида та самая еврейка, для которой Пушкин сочинил «Гавриилиаду», а Марья Францевна помнит, как на Сенатской площади бунтовали декабристы. Обе и сами понимали, что им пора на покой. К тому же и сбережения маленькие имели, так что работали больше по привычке, жалея признать свою разлуку с молодостью. Грунька разошлась с ними как-то очень ловко – вежливо и по чести, благо лич-

но ей они ничего не были должны, а долг по ассоциации она им великодушно простила.

В переходные дни Грунька, хотя и нареченная хозяйка, была по-прежнему мила, любезна и разыгрывала смиренницу. Даже костюма не переменяла: продолжала ходить горничной в передниках, величала нас барышнями и конфузилась, что мы начали говорить ей «вы». Но я уже раскусила эту птаху.

А тут еще как раз повстречалась в Гостином дворе с Перхунихой, хозяйкой дома свиданий на Большой Морской, и она мне порассказала много о закулисных Грунькиных махинациях, которые только мы, слепые, вблизи не замечали, а конкурентки издали давно их видели и предсказывали результат. Стала Перхуниха сманивать меня к себе. Раз, два, три и покончили. Она платит за меня долг и дает тысячу рублей на разживу, а я забабляюсь к ней на работу экстерной сроком на три года, если раньше сама не выгонит. Грунька никак этого не ожидала, очень ее передернуло, когда я выложила перед ней четыре тысячи, однако расстались мы любезно и дружелюбно. Собственно говоря, глупость я

сделала, следовало бы поторговаться. Манька Змееньш и Лия отделались много дешевле. В Перхунихе я, по пословице, променяла кукушку на ястреба, но все-таки была довольна, что поставила на своем, не обрядилась в Грунькину узду, как прочие десять...

Господи! уж и платили они, платили Груньке этот свой долг дурацкий – по ассоциации-то и новому устройству. Я думаю, каждая раз десять его выплатила, прежде чем ее либо смерть взяла, либо Грунька выкинула за дверь, как старую, изношенную тряпку... Теперь в «Фениксе» первого состава уже никого не осталось, кроме Нинишки, да и та уже лет пять, как не в барышнях, а в экономках.

И вот подите же, Машенька, как меняются характеры. Барышней Нинишь была бунтовщица, кипела протестом, мы ее социалисткой почитали, да и сама она воображала себя таковой. А экономкой оказалась прелютая: за всякую мелочь – штраф, штраф и штраф, и плетки не жалеет, и по щекам лупит. Хозяйкина правая рука, Веселкина ею не нахвалится...

– А Нюта Ямочка?

– С Нютой Грунька, не стану хаять, вела себя, насколько была способна, корректно и очень постоянно. Ограбить ее, конечно, ограбила, но лет семь тянули канитель, не расставались. И все время Грунька ее, как фарфоровую, в вате держала, на самой легкой работе, для отборных гостей. Но года три или четыре тому назад Нюта, в гололедицу, оступилась на тротуаре и сломала себе ногу, да так неудачно, что пришлось ампутировать. Теперь ковыляет калекою, где-то за городом. Говорят, будто ударилась в божественное, живет с каким-то заштатным попом, и оба они сочинили какую-то секту. Веселкина платит ей маленькую пенсию. Жаль Нютку. Хотя и немало зла она нам сделала своей слепой доверчивостью к Груньке, но, в сущности, была премилая женщина...

– Ну, а на новом-то месте, Катя, что же – так сразу и рухнула ассоциация?

Катерина Харитоновна окружилась облаком дыма, из глубины которого треском раскатился саркастический хохот.

– Ассоциация-то? О нет, не сразу. Правда, при переезде в новый «Феникс», барышни

старого «Феникса» были очень изумлены, когда Грунька неожиданно представила им четырех незнакомых девиц, объясняя, что, так как, мол, из нашего состава выбыло пять барышень, то вот она пополнила, взяла этих...

– Позвольте, однако, Груня, как же вы могли это сделать, не обсудивши с нами? Вы права не имели!..

Удивилась:

– Разве? Ах я окаянная! Ну, вперед не буду, а на этот раз уж простите меня, дуру непокрытую, примите их в свою компанию. Девушки бедные, приезжие, куда им деваться? Вон из четырех только одна и по-русски-то тямит... Да и я, признаться, маленько оплошала с ними: много аванцу дала... Не пропадать же деньгам, пуццей отрабатывают.

Одна из Грунькиных девиц – с языком – была балтийская немка, рижанка; остальные три, бессловесные, – шведка, финка и... негрятянка, черная, как уголь, и с зубами, как клавиши фортепиано!.. Эту прелесть она выписала, тоже через одного рижского поставщика, из Гамбурга.

Ну что же, в самом деле? Свершившийся

факт! Не гнать же, в самом деле, несчастных на улицу!.. Пожали плечами, поворчали, что так нельзя, и примирились...

Однако покуда шло устройство, отлаживались формальности, получались книжки, составлялись и подписывались контракты, Грунька все еще была ангел. Упорно изображала из себя приказчицу на отчете, отмахивалась от слов «хозяюшка» и «мадам», откликнулась барышням на «Груню» и всячески лебезила, стараясь показать, что она помнит в себе вчерашнюю горничную и знает свое место. Только прислугу муштровала, зычно и сурово, что, впрочем, барышни очень одобряли. Потому что распущенную прислугу старого «Феникса» Грунька уволила, а новая, набранная ею, показалась барышням страшноватой. Мужчины – вышибального типа, каждый, того гляди, в семи душах повинится. Горничные – любую в тюремные надзирательницы либо сиделкой в дом умалишенных на бешеное отделение...

Когда Нинишь и Зизи сделали Груньке замечание, что ее люди уж очень зверовидны, она отговорила, что иначе в этом переулке

нельзя: соседство опасное, кругом публичные дома, могут быть скандалы от шляющихся гостей-шлематонов, да и прямые нападения со стороны вышибал конкурирующих заведений и хулиганов, «котов» тамошних девиц.

– А теперь пусть-ка сунутся на моих верзил. Ишь, какие черти. Тумбы из мостовой выворачивают, ремни, словно гнилые нитки, рвут.

Однако и сама от них пришла, наконец, в ужас и однажды объявляет:

– Как хотите, барышни, а одной мне с этим архаровским народом не справиться. У меня на них все время уходит, некогда за домом присмотреть. Вы опять будете меня попрекать, что я своевольничаю, а все-таки извините, я взяла – хотите, назовите помощницу, хотите – экономку... Не бойтесь, не чужая, старая знакомая, – прошу любить да жаловать...

И вводит – кого бы вы думали? Красноносую Эстер!.. А за ней по пятам, робко выступая, потупив головку, плетется неизменная и неразлучная Дунечка Макарова, со своим драгоценным дневничком в кожаной сумочке.

Барышни онемели, переглядываются, не

знают, что сказать, как начать. А Грунька поет:

– Вот как, право, хорошо! Теперь мы совсем по-старому, в нашем любезном канплехте!

И опять, конечно, как всегда, Нютка предала. Моргнула ей Грунька, – она встала с места и пошла навстречу.

– Здравствуй, Дунечка! Здравствуйте, Эстер Александровна! сердечно рада вас видеть...

Понимаете? Сразу тон дала: подружке-барышне «ты», экономке, как начальнице, «вы»... И расцеловалась... За нею, понятно, все потянулись овцы овцами... Ни одна словечка не возразила...

Наконец все было оформлено, закреплено, то есть правильнее сказать будет, закрепощено. До того времени новый «Феникс» торговал мало, исподволь, под сурдинку. Теперь Грунька предложила устроить торжественное открытие с балом, оркестром, гостями по приглашению. Барышням затея очень понравилась. Но вот тут-то и разыгрался знаменитый Грунькин скандал с Бертой Жидовкой. Штучка, которая запомнилась на десять лет!

Берта, – еврейка, как вы слышите из прозвища, – была из хорошей одесской семьи, а погибла в довольно обыкновенном для евреек порядке: выдали ее по шестнадцатому году замуж за проезжего фрайера, который слыл спичечным фабрикантом, а на деле вышел самозванцем, жуликом, агентом по живому товару. Прелестный супруг увез Берту в свадебное путешествие и в Константинополе продал ее в публичный дом.

К счастью, на первой же неделе ее там пребывания среди гостей оказались русские моряки, выкупили бедняжку из неволи. Один влюбился, взял Берту на содержание. Когда его лодка ушла, Берта перешла к атташе какого-то иностранного посольства. Этот вскоре получил назначение в Петербург и Берту перевез с собою. Как еврейка, Берта проживать в столице не могла. Но, воображая, что ее дипломат рано или поздно на ней женится, она, в этом расчете, сделала величайшую для еврейки глупость, – выкрестилась. Право жительства приобрела, родную семью потеряла.

Из Одессы ей приказали позабыть, что у нее были отец, мать, братья и сестры. Позабы-

ла. С дипломатом же у нее пошли нелады, и, когда его перевели еще куда-то, чуть ли не в Рио-Жанейро, он Берту с собой не взял, и любовники расстались без всякого удовольствия. Берта осталась на бобах, поселилась в мебелирашках и начала работать на маленький полуфранцузский дом свиданий в Эртелевом переулке. Здесь она познакомилась с Нинишь Брюнеткой и с Толстой Зизи и, когда они затеяли «Феникс», вошла в ассоциацию одной из первых.

Берта была настоящая библейская красавица, но характерец – ой-ой-ой! Гордячка ужасная и вспыльчивая, как порох, а в горячности себя не помнит. Вот в вечер открытия, одевая Берту к балу, одна из этих тюремных морд, которых Грунька набрала в горничные, что-то уж очень грубо сневежничала. А Берта, вспыхнув, с сердцов, возьми да и ткни ее булавкой в грудь. Девка завопила, что пойдет жаловаться хозяйке. А Берта закусила удила – хохочет:

– Это Груньке-то? Напугала! Ужасно как страшна мне твоя безноса Грунька! Плевать я хотела на Груньку!

И вдруг перед ней вырастает, как из-под земли, сама Грунька. Но уже не горничной в передничке, а в полном хозяйском параде и величии: зеленое бархатное платье декольте и с треном, на голове ток, в ушах брильянты, на шее жемчужное кольцо, между грудями фермуар болтается, руки чуть не до локтя в браслетах: живая выставка наших заложенных и просроченных вещей! А за ней Эстер и другая тюремная морда-горничная. И не успела Берта опомниться, как Грунька со всего размаха хватить ее по щеке. Берта – с ног долой. А Грунька приказывает:

– Взять эту тварь, раздеть до рубахи и посадить до утра в темный чулан.

Берта вскочила было, – и сама на нее с кулаками:

– Грунька! да ты что? пьяна или сбесилась?

А та опять ее – рраз!

– Это, – говорит, – тебе затем, чтобы ты запомнила раз навсегда, что никаких Грунек тут нет, а есть твоя хозяйка Аграфена Панфиловна, мадам Веселкина, которая вольна тебя заставить ей ноги мыть и эту воду пить. А за

то, что ты смела в моем доме буйнить и мою прислугу изувечила, получишь еще и еще... Дайте-ка ей, девушки, хорошего раза!

И избили тут горничные Берту до того, что она чувства потеряла и в обморок впала. А Грунька с Эстер стояли и смотрели. А потом Берту раздели, отнесли в чулан и заперли. В чулане, впрочем, пробыла она недолго. Нюта Ямочка узнала – расплакалась, стала перед Грунькой на колени, руки целовала, умолила выпустить. И вовремя, потому что Берта уже рубаху на себе разорвала и полоски в веревку вила, чтобы удавиться.

Конечно, барышни пришли в волнение, возмутились, – бунтовать! бунтовать! Но время было уже позднее, пришел оркестр, начали съезжаться гости, заработали спальни и буфет. Не портить же было открытия забастовкой или общим скандалом. Отложили объяснение с хозяйкой на завтра, а куда только – бойкот молчат. Работать исправно, будто ни в чем не бывало, но ни с Грзияисою, ни с Эстер – ни одного слова иначе, как по делу, – чтобы чувствовали надвигающуюся грозу. Но тем, само собой разумеется, бойкот их –

как с гуся вода.

Да и не выдержали. Нютка наотрез отказалась:

– Чтобы я с Грушей поссорилась? Да ни за какие миллионы!

Дунечка Макарова при одной мысли прогневать Эстер позеленела и затряслась, как осиновый лист. Финка, шведка и негритянка, ничего не понимая, только глазами ворочали. А рижская немка находила, что барышни напрасно волнуются, не случилось ничего особенного: хозяйка в своем праве, – я, дескать, в третьем заведении живу... так ли еще бьют! Аня Фартовая и Эмилька Сажень, две дылды, как столбы верстовые, обещались и – струсили. А Саша Заячья Губка и Дорочка Козьявка, кажется, и пошептались немножко в задней комнатке, если не с самой Аграфеной Панфиловой, то с Эстер Александровной, понаушничали малую толику...

Открытие удалось на славу, а ужин барышням Грунька закатила такой благодатный, с устрицами, с шампанским, что очень значительная доля их негодования потонула в бокалах и в стерляжьей ухе.

Назавтра, однако, попробовали, как Ни-
нишь настаивала, «разобраться в инциденте
и отстоять поруганные права».

Сперва налетели на Эстер. Но та только по-
жимает плечами да делает изумленные гла-
за:

– Позвольте, барышни, я-то при чем? Хо-
зяйка я здесь, что ли? Я женщина служащая.
Что мне Аграфена Панфиловна велит, то я
обязана исполнить, потому что получаю от
нее жалованье и проценты. Велела посадить
Берту в чулан, – я посадила. Велела выпу-
стить, – я выпустила. И всегда так будет. А
вам я решительно никаким отчетом не обяза-
на. Говорите с хозяйкой.

Окружили хозяйку.

– Что это вы себе позволили с Бертой? Мы
не позволим, это тиранство! так нельзя!

А Грунька оглядела их королевой и гово-
рит:

– А какое вам дело до Берты? Берта моя де-
вушка, она мне обязанная, я ей хозяйка. Стало
быть, и наши с ней счета – между нами двоим,
а третьего игрока под стол. Вы вот суетесь
в воду, не спросясь броду, а не знаете того, что

Берта-то умнее вас. Она у меня прощения просила, и мы с ней помирились, и я ей хороший подарок сделала. Смотрите-ка лучше каждая за собою, чтобы не шкодить и не вводить меня в сердце. Сейчас я с вами обращаюсь по всей деликатности, как с барышнями, а вздумаете шебаршить и лезть, куда не спрашивают, узнаете, как трахтуют девок. Вы все мне обязанные, а кто попробует меня не слушать и заводить в моем доме беспорядок, получит хуже Берты. А ежели, вы еще раз позволите себе этак напирать на меня скопом, то на кухне у меня сидит сыщик от полиции, а на улице перед домом ходит городской. Позвоню по телефону в участок, что вы не повинуетесь хозяйке и республику заводите, – тогда учить вас будет уже не моя прислуга, а придут городские с резиною... Поняли? Ну и марш по своим комнатам, и чтобы больше никаких разговоров! Я знаю, что делаю, попусту никого не обижу, а за вину, – уж не взыщите, – спуска не дам. Ежели чем недовольны, харчами ли, одежою, обувью, прислугою, друг с дружкой ли нелады, жалуйтесь Эстер Александровне: она на то и поставлена, чтобы держать дом в по-

рядке. Но сходок и сговоров – ни-ни-ни! В особенности, ты, Нинишка, смотри у меня! Книжек начиталась, со студентами язык навострила, социалистку из себя кривляешь, – берегись! А ты, Нютка, плакса, тоже не изволь приставать ко мне заступницей... Адвокат какой выискался! Самой ушонки оборву!

– Вот дьявол! – вырвалось у Марьи Ивановны.

Катерина Харитоновна, в дымном облаке, пожала плечами.

– Да, не ангел... Хотя все относительно в подлунном мире... Например, в сравнении с нашей Буластикой...

Марья Ивановна содрогающимся движением ужаса и отвращения прикрыла глаза пальцами обеих рук.

– Ну, уж об этой что же... Буластикой не женщина, а гиена на задних лапах...

– Правильно сказано. А вот – смотрите – разница. Буластикой гиенствует изо дня в день, из часа в час, годы и годы, но в деле у нее нет ни порядка, ни дисциплины. Есть только хаос панического страха пред взбалмошной бабой, способной ни с того ни с сего

вызвериться, как бешеная собака. Посмотрели бы вы, какая поголовная шкода начинается у вас в корпусе, когда в отлучке строгий Федосьин глаз! К плюхам-то притерпелись, а глупое тиранство дразнить – лестная забава. Риск – благородное дело: конечно, если попадусь, то ты, ведьма, с меня шкуру сдерешь, но попадусь ли, нет ли, это бабушка надвое говорила, а уж штучку-то тебе назло я отмочу, голубушка, отмочу!.. Вот я вам рассказывала, как довела Буластиху до того, что она меня мало-мало утюгом не убила, – и ничего... При Федосье я так не посмела бы, да и не захотела бы... И с Веселкиной тоже... У нее, кроме того истязания, которое я вам рассказала, мне известны за десять лет еще только два случая действительно жестокого бойла... И надо признать правду, что в обоих случаях барышни были безобразно виноваты... А между тем заведение Веселкиной идет, как безупречно выверенная машина... И уж что она приказала, не беспокойтесь, будет исполнено точка в точку, потому что боятся ее гораздо больше, чем мы Буластихи, даром что у этой чуть не каждодневные расправы, каких у той выпада-

ет одна в пять лет...

– Почему, Катя?

– Потому что... Как бы вам сказать?.. Там, где с одной стороны – тиранство, а с другой стороны – рабы, важно не то, чтобы тиран, в самом деле, был свиреп, но чтобы рабы знали и помнили, как он может быть свирепым, если захочет... Ну и, зная и помня, старались бы, чтобы не захотел...

– Рабы... – тяжело вздохнула Лусьева. – Этокое же проклятое слово, клеймящее... Прилипло к нам, и не отлепить...

– Ныне, и присно, и во веки веков, – холодно согласилась Катерина Харитоновна.

– И все-таки, Катя, как хотите, а я вам завидую, что вы были в оппозиции «Феникса»... Как никак, а попробовали, хотя бы и в протестуции, свободно быть хозяйкой своего тела и сама себе госпожой... Жаль, что так плохо кончилось...

Катерина Харитоновна села перед ней на стол, превратила вокруг себя дымное облако в густую тучу и изрекла, подобно пифии с треножника:

– А разве могло кончиться иначе?.. Ассоци-

ация, корпорация, кооперация, организация... не для нас, русской бестолочи, Маша!.. Слышали вы сказку, как зверушки поселились общежитием в лошадиной голове?

– Не помню... а что?

– Да... прилетел комар-пискун, прилетела муха-горюха, приполз жук-тропотун, прибежала мышка-норушка, прискакал зайчик-косоглазик, набралась зверья полная лошадиная голова... Живут и блаженствуют. И вдруг – тук-тук! вопрос басом: «А кто в терему, а кто в высоком?» – «Я комар-пискун, я муха-горюха, я жук-топотун, я мышка-норушка, я зайчик-косоглазик... а ты кто?» – «А я Мишка-медведь, всех вас давишь!..» Сел толстым задом на лошадиную голову... и от звериного общежития осталось только мокрое пятно!

– Невеселая сказка, Катя!

– Но, увы, Маша, к сожалению, вечная... неизбывная русская сказка, Маша!

Глава 20

Дружбы между Лусьевой и Катериной Харитоновной не упрочилось. Кто-то из женщин или из прислуги нашептал что-то Федосье Гавриловне, и она остервенилась против новой Машиной приятельницы, как лесной зверь. Целую неделю выслушивала Маша от бушующей покровительницы попреки неблагодарностью, претерпевала жестокие сцены, а когда дерзала огрызаться, бывала и бита... Зато слова и советы Катерины Харитоновны крепко запали в душу девушки. Долго размышляя, взвешивая свое настоящее положение и возможное будущее, она пришла к убеждению, что Катерина Харитоновна права.

– Хуже, чем я живу, не бывает. А если пройдет моя красота или схвачу я болезнь, мне отсюда все равно одна дорога: на панель либо в публичный дом... Если уж загублена я и не видать мне порядочной жизни, так хоть вырваться бы на свою волю...

– Катерина, наверное, сбивала тебя на волю? – пыталась Лусьева под дружеским секре-

том «Княжна».

– Да, говорила... – нерешительно подтвердила Маша.

– Уж, конечно... Это она всем проповедует, к которым чувствует симпатию. Сама увязла, как свая, вбитая в болото, а других спасать охота. Что же? Советы ее неглупые. Права.

– Ты находишь?

– А ты – нет?

– Я не знаю... теряюсь... Если ей поверить, то выходит, что самое страшное совсем не так страшно... Но тогда уж очень досада и горе берут: зачем же, как же мы из-за этого страха всю жизнь-то свою изломали?

– Судьба, милый друг! – вздохнула «Княжна». – Все судьба. Играет она людьми-то. А Катерина права!.. Ах, если бы не кандалы мои, я и сама бы бежала!..

– Что ты называешь кандалами?

– Титул мой, дружочек!.. Как там не прикладывай, а нельзя княжне жить и на докторские осмотры являться... скандал всероссийский... родные... однофамильцы... Мне жить не дадут в Петербурге!.. Нигде в России!.. За травят... А, пожалуй, даже еще и отравят, что-

бы освободить родословное дерево от червивого яблока!.. Поддержать, когда я поневоле с голода в грязь катилась, никто из них меня не поддержал, а когда я в грязи, всякий, кто про грязь мою знает, меня в нее еще глубже топчет!.. Кроме того, мы и сами скоро уйдем из жизни, – я и Артамон. Мы и теперь ушли бы, да у Артамона еще не добран капитал, по его расчету. Года через полтора, – он предполагает, – мы можем жениться, купим дом в Харькове и откроем аукционный зал... Ну, а сейчас надо еще работать – добирать капитал.

– Но почему же работать непременно у Буластихи, которая отбирает почти все деньги в свою пользу?..

– Нет, у нас особый уговор: я в трети, помимо подарков.

– Все-таки!

– Говорю же тебе: меня, бедную «Княжну», на своей воле сейчас же затравят. А то еще упрячут в желтый дом. Помочь родне, когда крайняя нужда, – у нас нет денег, мы не хотим «злоупотреблять влиянием»; но чтобы поместить в дом сумасшедших «позор семьи» и платить за содержание «позора», лишь бы

не выплыл на свежую воду, на это и протекция, и капитал сразу найдутся...

– А ты не откладывай, выходи замуж за Артамона теперь же: вот и перестанешь быть «Княжною», а когда ты потеряешь фамилию, твоей родне уже не может быть до тебя никакого дела...

Мертвое рыбье лицо «Княжны» слегка оживилось и покраснело.

– Ты Марья Ивановна, не понимаешь, что говоришь.

Неужели ты воображаешь, что когда я выйду замуж, то позволю себе продаваться как сейчас? Нет, милый друг мой: я свое прошлое перед церковью оставляю... из-под венца выйду чистенькою, – Господи, благослови в новую жизнь! – чтобы о былом сраме не было и помина. Так у нас уговорено и с Артамоном, а то – зачем бы и замуж идти? Он ведь очень солидный и справедливый человек, Артамон, хотя и любит деньги до страсти... Разве ему по таким должностям служить?.. А затем...

«Княжна» широко и стыдливо улыбнулась, обнажая больные зубы и белые десны.

– Ты думаешь, я не вижу себя в зеркале? Я,

дружочек, прелестями своими не обольщаюсь и очень хорошо знаю: в тот день, когда я перестану быть княжной Ловать-Гостомысловой и сделаюсь просто госпожой Печонкиною, цена мне – рубль серебра в глухие сумерки... Этак, пожалуй, никогда капитала не доберешь. Нет уж, – покуда что, пускай сиятельность проценты приносит: острижем с нее купоны, тогда и выбросим ее за окно... А что я нехороша собою, представь себе, мой друг: как много я плакала о том, когда была молоденькой девушкою, так сейчас очень рада. По крайней мере – гарантия, что уж назад в эту жизнь мне хода нету, какие бы ни приказывали нужды... И сама не пойду, и мужу искушения нет – заставить, чтобы шла. Не гожусь! Знаешь ли? Это совсем особое наслаждение: сознавать, что не годишься для пакости... Этим я много счастливее вас, красавиц. Вы – живой товар целиком, сами по себе, а во мне товару – только титул!

Мысль о бегстве назойливо тревожила Машу несколько недель, но в этот срок, разозленная сплетнями о Катерине Харитоновне, Федосья Гавриловна сторожила девушку, как

ревнивый дракон, а там, – впечатление сгладилось, улеглось, пассивная натура Лусьевой опять вошла в колею рабства. К тому же в скором времени ей стало гораздо веселее, потому что женский состав «корпуса» значительно изменился, и кроме грубой, противной, бесстыжей Антонины, глупой Нимфодоры и скучных немок, новыми подругами Лусьевой оказались бывшие «рюлинские» приятельницы, Жозя и Люция.

Появлению их в буластовском доме предшествовал утренний визит к Прасковье Семеновне Адели, которую Маша не видала уже два года. О приезде ее шепнула Лусьевой горничная. Маша, в радости, сорвалась с постели, как бешеная, и ринулась искать старую знакомую по всем комнатам. Но Адель была хозяйки, а на половину Прасковьи Семеновны, как в некое святая святых, женщины, которыми она торговала, не допускались строжайше. Грозная дама так хорошо знала окружающую ее всеобщую ненависть рабынь и прислуги, что даже горничными лично при себе держала двух своих племянниц, слепо преданных ей, безобразных, но страшно силь-

ных физически, девок с Белого озера. Одна из них на ночь ложилась, как верная собака, у порога спальни, другая – на ковре подле кровати, – только тогда Прасковья Семеновна почитала свой опочив безопасным и спала, не робея, что которая-нибудь из благородных «воспитанниц» перережет ей, сонной, горло...

Свидание Адели с Буластовой продолжалось очень долго, часа три. Наконец Маша подстерегла Адель, уходящую, в большом зале, и, хотя гостью с почтением провожала сама Буластова, девушка не вытерпела, – забыла всю субординацию, так и бросилась:

– Адель! Милая! Вас ли я вижу? Как я счастлива!

Адель за два года переменилась неузнаваемо: совсем другой человек, величественная матрона какая-то...

– Здравствуйте, Marie... – благосклонно и свысока, как принцесса, изрекла она, протягивая Лусьевой руку, затянутую в черную перчатку. – Я тоже очень рада вас видеть.

– Ах, Адель!.. – восклицала Маша, хотя и несколько смущенная слишком сдержанной встречей.

Адель чуть-чуть улыбнулась строгим лицом.

– Не зовите меня так, Marie. Адели больше нет на свете. Есть Александра Степановна; сегодня еще Степанова, завтра Монтраше!..

– Вы выходите замуж? за вашего Этьена, не правда ли? Ах, поздравляю вас! Ах, как это хорошо!

На вопросы и восклицания Маши Адель важно и снисходительно кивала головою.

– Вы, дорогая Прасковья Семеновна, – обратилась она к Буластовой, – позвольте мне поговорить с Марьей Ивановной несколько минут?

Та, начинавшая было уже поглядывать на Лусьеву зверем, мгновенно расплылась в масляную улыбку.

– Ах, душечка, Александра Степановна! Да хоть целый день! Разве я моих барышень стесняю? Для такой-то дорогой гостьи...

И она павой уплыла в свои апартаменты.

– А ты, Люлюшка, – сразу переменяла тон Адель, проводив Буластову взглядом, – умнее не стала... Дисциплины не понимаешь! Разве можно было так бросаться ко мне? Хозяйки –

народ ревнивый... этого не любят! Если бросаешься на шею к старой хозяйке, значит, у новой жить нехорошо... Смотри! Она тебе припомнит!..

– Ну их всех тут совсем! Пускай! Притерпевшись!.. Уж очень я вам обрадовалась! Да дайте же поцеловать вас... гордая какая стала!.. Ведь я никого с тех пор не видала из наших... понимаете, никого!

– Скоро многих увидишь, – утешала Адель, благосклонно расцеловавшись с Лусьевой. – К Прасковье Семеновне переходит значительная часть дела покойной Полины Кондратьевны...

– Ка-ак вы сказали? – охнула Маша. – Покойной? Полина Кондратьевна умерла?

– Скончалась... Разве ты не видишь, что я еще в трауре? Да, Marie! Не стало нашей благодетельницы!

* * *

Маша была так поражена, что пропустила мимо ушей титул благодетельницы, не слышавши, в отношении ее, подходивший к старой «генеральше». Адель продолжала:

– И, представь, как странно она умерла: от

радости. Она сорвала банк в Монте-Карло... Умница старуха! Такая оказалась на этот раз благоразумная: перевела выигрыш в Петербург... И тотчас же телеграфировала мне: «Встречай, завтра выезжаю». А дня через три пришла полицейская телеграмма из Берлина: «Ваша родственница, Полина Рюлина, постигнутая в вагоне курьерского поезда апоплексическим ударом, помещена нами в Моабитский приют, положение безнадежное». Конечно, я сейчас же собралась и помчалась в Берлин. Застала уже при последнем издыхании... Да! Сколько неудач перенесла, а вот удачи не выдержала!.. Очень грустно, конечно. Но всем надо умереть, а она была уже близка к семидесяти.

– Вы теперь богачиха, Адель! – поздравила Маша.

– Да, этот выигрыш и ликвидация дела дают мне недурные средства, – спокойно согласилась Адель. – Мы сейчас покончили с Прасковьей Семеновной относительно обстановки и прочего... Эх, Люлю, бедняжка! Если бы ты оставалась еще у нас! Теперь была бы свободна!.. Все насмарку! Понимаешь? Все!

– Бывает счастье, да, видно, не для нас! – пробормотала бледная, с мучительно сжавшимся сердцем Маша.

Адель оглянулась, не подслушивает ли кто, и, выразительно глядя в глаза Лусьевой, сказала тихо, но внятно:

– У вас тут есть одна... Катерина Харитоновна... Знаешь? Ты с ней посоветуйся... рекомендую!

Маша встрепенулась и насторожилась.

– Я уже говорила...

– Тем лучше. Баба умная, слова на ветер не скажет, когда не пьяна. Жаль, что это с ней редко бывает... Ну, а теперь – до свиданья или, правильнее будет, прощай! В Монпелье ты вряд ли попадешь; а я в Петербург не скоро... пожалуй, что и никогда. Ну его к черту!

– Постойте... подождите... минуточку!.. – цеплялась за нее Маша. – Ну, – а Ольга – что? Как она поживает?

Адель слегка поморщилась.

– Ты о какой Ольге? О Брусаковой, что ли? Об Эвелине? Ну да, конечно! Я забыла! Ведь вы друзья были, как два попугая... Неразлучные... inseparables... Ну, с ней плохо!.. Пакет ее

я, конечно, уничтожила, но ей оттого не легче. Она в Швеции, в лечебнице для алкоголиков...

– Боже мой!.. – ахнула Маша.

– Безобразно пить стала... – брезгливо говорила Адель. – Две белых горячки в зиму. Фоббель был деликатен: отправил ее в лечебницу на свой счет... Конечно, очень благородно с его стороны... А впрочем, кто же и споил ее, как не он? Вместе в охотничьем домике чертей по стенам ловили... «Студент» отравился. Слышала? В газетах писали.

– Нет... Совсем, значит, с ума сошел?

– Кто знает? Он в «Аквариуме» был с Ремешкою... Вдруг подходит к ним какой-то господин. Смотрит на «Студента» в упор и говорит: «Так вот ты где? Ловко!..» «Студент» побледнел, а господина – как не бывало: пропал в публике. «Студент» говорит Ремешке: «Ты – как хочешь, а мне здесь оставаться больше нельзя...» И уехал в город. Вернулся Ремешко поутру домой, а «Студент» лежит под письменным столом, уже холодный: «Жить надоело. В смерти моей прошу никого не винить...»

– Поди, хлопот-то, хлопот вам было?

– Нет, ничего... Конечно, неприятно, но – могло быть хуже. Если бы его проследили, тогда – действительно – история была бы. А тут – что же? Жил был титулярный советник и дворянин Иван Лазаревич Войков, и пришла ему фантазия покончить свое существование посредством цианистого кали... Свалили на несчастную любовь. Жозька перед следователем трагедию распустила, будто из-за нее... Ну и квит. Только паспорт погас.

– Кто он был, Адель?

– Ну, душенька, об этом я и сама не все знаю, а – что знаю, постараюсь хорошо позабывать.

– Я думала, что теперь, когда мертвый, можно...

– Есть, Люлю моя милейшая, такие сокровища, что и мертвецам опасны. Полина Кондратьевна отчаянная была, что «Студенту» пристанище давала... Рано или поздно из-за него всем нам крышка была бы. Долго еще этот страх мне мерещиться будет. Молодчина «Студент», что отравился! Жил свиньей, но умер хорошо.

– Господин-то в «Аквариуме» кто же – сы-

щик, что ли, был?

– А черт его знает! Нет, – если бы сыщик, то на месте арестовал бы... Скорее, не из товарищей ли старых? От этой публики, если клещом прицепится, можно схватиться за цианистый кали пуще, чем от сыщика.

– А «Графчик»?

– Его в ту пору, к счастью, уже не было в Петербурге. С ним нам давно расстаться пришлось: очень обнаружился... из провинции слухи доходить стали... Теперь он в Египте живет, в Порт-Саиде «дом» держит... Воображаю этот вертеп!

– Так что вы дотягивали дело с одним Ремешкою?

– Да, с твоим Ремешкою. Ну, этот в огне не горит, в воде не тонет, и, конечно, везет каналье. Обрел в Мариенбаде набобшу какую-то... рожа – на всех зверей похожа, но деньжищ куча... Женится и навсегда в Австралию перебраться намерен.

– Господи! Куда только таких людей не бросает!

– Да. Супруга ему титул покупает у португальских графов каких-то... Мы с ним разо-

шлись по чести, приятелями. Этьен даже парфюмерию свою жене его поставлять будет...

Марья Ивановна вспомнила, как покойная Рюлина не соглашалась отпустить Ремешку из крепостной зависимости документам ее даже за пятьсот тысяч, и повторила:

– Но какая же вы теперь должны быть капиталистка, Адель!

Адель пропустила ее восклицание мимо ушей, видимо, не желая разговора о средствах своих, и продолжала:

– А граф Иринский умер. Уже давно. И – как скверно, старый подлец! Представь: у него нашлась какая-то бедная кузина, а у той дочь, девчонка лет одиннадцати, – херувим вербный. Старикан увидел и обомлел, а кузина сообразила накрыть нашего достопочетного хорошим шантажом. Поторговались они, сколько прилично, сперва обиняками, потом начисто. Наконец кузина соглашается, назначает: приезжайте в шесть часов вечера... я уйду ко всеобщей и прислугу ушлю... Тот, глупая мумия, в восторге, прикатил, ног под собой не чувствует...

А кузина – в чулан засела, свидетелей при-

пасла. Ну... слышит небольшая, но честная компания: визжит девчонка не своим голосом, благим матом... Бегут, торжествуют: вот сейчас накроем! А та, знай, вопит из своей комнаты. И слышно по голосу, что не притворяется, как велено, а уже в самом деле. Дверь заперта... Сломали дверь... Граф-голубчик сидит на стуле, зубы вставные ощерил, буркалы белые выпучил и дыхания в нем – ни на мертвого кота! А девчонка в угол прижалась, тоже вся синяя стала, волосы дыбом, заревелась от страха... Кузину эту потом из города выслали, однако сорвать успела; говорят, наследникам стоило тридцать тысяч, чтобы не разглашала скандала. Полине Кондратьевне, по завещанию, граф ни копейки не оставил, только фарфоровые часы старинные: Дафнис и Хлоя... или что-то еще нежнее! Чувствительный старичок! Да черт с ним! Мы были рады и тому, что он протянул ноги не у нас в доме. Ведь этого давно надо было ожидать. Он, знаешь, все молодился, средства принимал различные... Это даром не проходит! Ну, прощай! Не поминай лихом!

– Прощайте, Адель, милая!.. Будьте счаст-

ливы... Дай Бог вам и Этьену!.. Прощайте!.. – печально твердила девушка, провожая ее на лестницу.

Она бы и вниз, на подъезд, за Аделью пошла, но сильная рука придержала ее сзади за локоть.

– Ну уж это, девушка, тпру... Нельзя! Самим нужна! – смеясь, непустила ее Федосья Гавриловна.

Внизу тяжело хлопнула дверь... Адель навсегда исчезла из жизни Марьи Лусьевой. Почему девушке было грустно, она сама и не знала: кроме нравственной гибели, закабаления, предательства, бессовестной эксплуатации и суровой силы, она от Адели ничего не видала... Однако, к всеобщему и собственному изумлению, вздыхала, хмурилась, хандрила и чуть не плакала несколько дней. Должно быть, всегда неприятно, когда вместе с человеком отходит от нас целый период прожитой жизни – жаль терять свидетеля молодости, лучшей, чем текущие дни, будь свидетель этот даже бывший враг... В другое время Маше сильно досталось бы за ее «мехлюдию», но Буластиха и Федосья Гавриловна бы-

ли уж очень в духе: они обстряпали с Аделью выгодное дельце.

Адель сообщила Маше неполную правду об уничтожении «пакетов». Решив ликвидировать опротивевшее дело, она просто предложила всем данницам Рюлиной единовременный дешевый выкуп. Те, которые были в состоянии заплатить назначенные суммы или обеспечить их надежными векселями, действительно, получили свободу. Несостоятельных она полуосвободила, оставив у себя их «пакеты» – до выплаты уговоренных сумм, а до тех пор закабалив их в распоряжение Перхуновой и Юдифи. Буластова осталась верна своей антипатии к «пакетам» и в эту операцию больше не вступала, зато она дешево скупала мнимые «долги» тех женщин, которые работали при Рюлиной добровольно и, со смертью своей повелительницы, не собирались отстать от промысла тайной проституцией. В том числе оказались Жозя и Люция.

Глава 21

Маша была рада старым подругам, нимало не претендуя, что очень скоро новенькие для буластовской клиентуры, шикарные «рюлинские» немного оттеснили ее на задний план. Мас-коттой корпуса сделалась Жозя, разжиревшая за два года, как гаремная одалиска, и обнаглевшая до хамства. Калашниковская пристань и Гостиный двор заболели поголовной влюбленностью к веселой и разбитной особе, – она слыла за приезжую польскую графиню! – и прониклись чрезвычайным уважением к Люции, с ее классической способностью наливать себя спиртными напитками в совершенно оголтелом количестве, по востребованию. Величавой русской красоты своей Люция, хотя и порядком обрюзгшая, езде не утратила, но голос уже сорвала и день свой начинала лафитным стаканчиком водки натошак. Из нее вырабатывался тот тип русской алкоголички, что – хотя море выпьет, вдребезги пьяна не будет, зато и совершенно трезвой никогда не бывает, словно проспаться времени нет. Оглупела она

страшно, курила, как солдат, походя ругалась и со дня на день опускалась в циническое неряшество.

– Права была Рюлина, душка! – шептала Маше Жозя, – не следовало бы Люции из черного тела выходить... Какая она была очаровательная там, когда горничною: платьице бордо, фартук белоснежный... А теперь в грязных капотах этих, в туфлях на босу ногу... халда халдою!..

– Спойл Фоббель, швед проклятый!.. – жаловалась сама Люция в минуты посветлее. – Что Эвелину, что меня. Ту ума решил, а мне нутро испортил.

– Разве у тебя болит что-нибудь?

– Ничего не болит, а разбитая я вся... Ногой, рукой двинуть лень... И – ровно камни во мне накладены...

– Ненадежная девка! – по секрету, в ночи, объясняла Маше Федосья Гавриловна. – Ты не смотри, что она буйвол с фигуры и рожа треснуть хочет. Это ее печонка вздувает, как опару, – печень жиром прорастает... Слышишь, – одышка-то у нее? Что твой паровоз. И – вот подует ее этак годика полтора, а потом одна-

жды пойдет у нее кровь носом, пойдет кровь горлом... Ну, и – аунюшки-Дунюшки! Это уж, стало быть, жир задушил: через месяц пожалуйте в Смоленскую вотчину, в Волково имение, к старосте Митрофанию... Наша-то уже сообразила, что покупка не прочна. Оттого и пуцает ее и в хвост и в гриву: отдыха не дает, – торопится выжать, что больше...

Действительно, Буластиха заставляла Люцию «работать», как обреченную на убой, – без жалости, без совести, давая ей отдых разве лишь тогда только, когда не бывало вовсе никакого спроса на товар.

Обыкновенно в заведениях Буластихи женщины быстро обзаводились постоянной клиентурой посетителей, в цепь которой случайный гость врывался сравнительно редко и являлся в ней не слишком желательным не только для женщины, но даже для самой корыстолюбивой хозяйки. Дескать, – дохода от таких метеоров на сто рублей, а хлопот с ними на тысячу. Да еще, не ровен час, подсунется, под видом «понта», доносчик, газетный корреспондент либо какой-нибудь ретивый спасатель, с возможностью скандальной

огласки.

Собственно говоря, Буластиха мало таилась своей профессией, совершенно ее не конфузилась и скандала, как препятствия к дальнейшей торговле, не особенно боялась, чтобы не сказать: не боялась вовсе. С полицией она была в наилучших отношениях, расплачивалась с блюстителем и натурою, т. е. телом закабаленных рабынь. Годовой оборот Буластихи надо было считать во многие сотни тысяч, но добрую треть огромных сумм этих, а то и больше, отстригало полицейское мздоимство. Конечно, Буластиха была уверена, что полиция никогда не захочет потерять в лице ее курицу, непрерывно несущую золотые яйца, а потому, что бы ни случилось, сумеет не выдать ее ни суду, ни печати, ни даже собственному начальству – высшей администрации, будто в ней найдется такой Аристид, что сам не берет.

Но каждый гласный скандал обходился Прасковье Семеновне безумно дорого и хлопотно, как почти непосильная экстрa: надо было сыпать деньгами, угощать, устраивать бесплатно дорогие вечеринки и оргии, тер-

петь, не в очередь, и без того унижительную зависимость и безграничное полицейское хамство. Рюлина, защищенная аристократической титулованной клиентурой, платила полиции очень крупные и тонкие взятки, которые застревали где-то на верхах, но «плевать хотела» на мелкую полицейскую сошку. Когда она проезжала своей улицей, околоточные вытягивались во фронт, участковый пристав почтительнейше козырял. Сунуться с вымогательством в доме, где рискуешь налететь – хорошо еще если только на графа Иринского, а то, не ровен час, и на такую высокопоставленную особу, что и сам-то граф Иринский не смеет при ней сесть без приглашения, – было для форменного серого пальто с светлыми пуговицами предприятием дерзости наглой, почти невозможной. Но к гостинодворской Буластихе и ее подручным «хозяйкам» ломился запросто каждый полицейский чиновник, которому приходила фантазия выпить на даровщину бутылку портера либо рюмку другую коньяку и безотказно позабавиться с девицами. Дорогой разврат, обыкновенному гостю обходившийся в десят-

ки, а то и в сотни рублей, полиции доставался не только даром, но еще и с приплатами.

В корпусе было сравнительно лучше, потому что у Буластихи бывал как свой человек и частенько загуливал с приятелями местный частный пристав: присутствие такой большой акулы не давало широкого хода в воды ее мелким щукам и головлям. И, тем не менее, решительно все женщины корпуса к числу своих постоянных платных гостей должны были волей-неволей приписать еще какого-либо постоянного же, бесплатного полицейского. Эта повинность была настолько неизбежна, что – дабы избавить свою фаворитку от худших притязаний и поползновений – Федосья Гавриловна сама поторопилась свести Марью Ивановну с помощником участкового пристава, молодым и относительно приличным человеком, который любил читать переводные романы, а потому уже не находил ни удовольствия, ни шика в том, чтобы ни с того ни с сего бить женщину по лицу, пока не потечет кровь, поливать ее из ночного горшка либо тушить на грудях ее тлеющую папиросу. К «хозяйкам» же без це-

ремонию влезал в квартиры любой загулявший околоточный и – «моему ндраву не препятствуй!».

Все эти зверские и плутовские бабы, свирепые со своими воспитанницами, наглые с гостями, бесстрашные даже перед убийственными кулаками всегда готовых к преступлению жильцов, терялись в присутствии полицейского мундира до паники и расстилались перед ним, как трава под ветром, трепетные, трусливые, жалкие. И – Боже сохрани, если какая-нибудь строптивая или непривычная рабыня не умела достаточно угодить его благородию. Били ее потом смертным боем. «Полиция – выше всего!» было твердым убеждением и правилом в деле Буластихи. Уважь, ублажи полицию, – и тогда ничего не бойся. Идти против капризов и прихотей полиции считалось в аду этом дерзновением столько же невообразимым и преступным, как для какого-нибудь благочестивца-дервиша – отрицать судьбу и волю Аллаха.

Конечно, тайная общая ненависть к полиции во всех вертепах была беспредельна, равняясь только ужасу пред нею же, как пред

спрутом, – всеобъемлющим, чтобы высасывать соки из всего, что плывет навстречу. Нажить дело, способное еще увеличить органическую зависимость от полицейской паутины, почиталось величайшим бедствием и горем. Подвести дом под вмешательство полиции считали непорядочным даже самые буйные и своевольные женщины, даже такие сознательные и злобные ненавистницы своих хозяек, как Катерина Харитоновна.

* * *

Опаска ненасытных полицейских appetitов была главной причиной осторожности Буластихи к случайным гостям. Она не столько стремилась расширять свою клиентуру, сколько упрочивать имеющуюся. Собственно говоря, все ее женщины очень скоро превращались в особый вид заточенных содержанок, тянущих в пользу хозяйки своей деньги с пяти-шести мужчин, их посещающих более или менее периодически и постоянно. Ничего подобного Марья Ивановна не знала у Рюлиной, где все дело строилось, как азартная игра, расчетами на огромные куши, на богатую многотысячную авантюру.

Красавицы Рюлиной часто целыми неделями отдыхали без всякого спроса, и это ни Полину Кондратьевну, ни Адель не смущало и не тревожило нисколько. Потом вдруг, подобно оргийному шквалу, налетал какой-нибудь стальной король из Пруссии, знатный бразильянец с брильянтами в ногу величиною, султан из Малой Азии или индийский принц, и в два-три дня касса Адели переполнялась тысячными кушами, сторицей вознаграждаемая за долгое отсутствие торговли. Дело Буластовой работало по-мещански, изо дня в день, не ожидая шальных срывов, не зная заминок и пауз. В деле Рюлиной женщина, по натуре своей не охочая истязать себя муками стыда и совести, могла, благодаря антрактам этим и метеорическому характеру заработков, сохранить с грехом пополам некоторую иллюзию, будто она еще не вся — только продажное тело, не совсем профессиональная проститутка.

В деле Буластовой об этом напоминал и в этом убеждал решительно каждый день.

Рынок пестрел и колебался для новенькой недолго. Не пробыла Марья Ивановна в «кор-

пусе» Буластихи еще и двух месяцев, а уже время для нее переложилось в своеобразный календарь, где понедельник обозначал каких-нибудь Митю Большого, Колю Химику, Карлушу Длинные Усы, вторник – Митю Среднего и Адама Семь Пуд и т. д. Все гости имели свои прозвища, и некоторые так к ним призывали, что уносили их с собой – конечно, приятельскими стараниями – даже и во внешнюю жизнь. Уже очень вскоре Марья Ивановна знала по календарю этому, что 1-го и 15-го числа, аккуратно в 7 часов вечера, будет к ней гость-англичанин, управляющий крупной мануфактурой в Твери, повезет ее и Федосью Гавриловну в кафешантан, накормит отличным ужином, а затем в Биржевой гостинице будет до шести часов утра учить ее танцевать, в голем виде, жигу и петь похабные матросские песни. Знала, что 20-е число надо сохранять для вице-директора одного из виднейших департаментов, который имеет обыкновение пропивать в «корпусе» свое месячное жалованье до последней копейки, а поутру берет у Буластихи сто рублей займа до будущего визита и – уж Бог его знает, как

он потом изворачивается. Знала, что в октябре, по последней сибирской навигации, прикатит из Енисейска Степан Широких, и уж тут всякий календарь придется недели на две пустить побоку, потому что засыплет Буластиху деньгами, зальет женщин шампанским, а напоследок непременно изобьет и «Княжну», и Машу, и Фраскиту, «чтобы помнили».

Машина разврата работала холодно, мерно, точно и скучно, с программами спроса, предвиденного, как сезонный сбыт в магазине. Буластиха была жадна, но расчетлива. Она высчитала, что Маша должна приносить ей не менее двух тысяч рублей в месяц, и выколачивала из нее сумму эту развратом десяти-двенадцати мужчин, приходящих кто раз, кто два в неделю, кто реже. По понятиям рынка, торгующего живым товаром, это – легкая работа. В Марье Ивановне видели товар ценный и работоспособный надолго, ее берегли.

Но в бедной спившейся Люции, как в кляче, везущей из последних сил, старались только как можно полнее использовать остатки энергии, вскоре – всем заведомо – долж-

ной погаснуть. Точно отрезок драгоценного бархата, ее продавали в розницу, по мелочам, – по техническому выражению вертепов – «на время». Остывшая от алкоголя, полусонная и безразличная машина механического разврата, она теперь только и делала день-деньской, что переезжала в сопровождении той или другой дуэньи, в карете или на извозчике, от одной хозяйки к другой – с одного свиданья на другое либо из ресторана в ресторан – с одной попойки на другую. Нередко случалось, что она бывала жестоко пьяна по три раза на день. Ослабевает в компании одного «понта», а где-нибудь ждет уже другой. Дуэнья вливает несчастной девке в рот рюмку воды с десятью каплями нашатырного спирта и – полувыветрезвленную, качающуюся, дремлющую, бормочущую – везет в объятия нового потребителя. В иные дни бойкого сезонного спроса Люция свершала подобных переездов пять, шесть и более...

От необходимости заглушать в дыхании своем запах перегорающего спирта, Люция выучилась жевать жженый кофе и вскоре стала есть его чуть не горстями, наживая при-

вычку нового самоотравления. Принимать нормальную пищу она почти вовсе перестала. Когда она успевала спать, – все тому удивлялись. Женщин своих Буластиха расценивала дорого, в многих десятках, а то и в сотнях рублей, и, обыкновенно, держала цены крепко. Но Люцию, в спехе выколотить из нее капитал до последнего дна, почтенная промышленница пустила, что называется, на дешевку – алчную и беспощадную, создающую вокруг товара жадный и дикий толкучий рынок.

– Того недостает, чтобы на Невский гулять выгоняла! – шептались втихомолку запуганные рабыни, с тайным ужасом следя, как на глазах их убивали медленно, но откровенно и наверняка, больного, отравленного человека. А Буластиха равнодушно запирала в шкатулку свои убийственные двадца типятирублевки... Бывало не редко, что число их достигало десяти в сутки...

Все знали, что Люция обречена на смерть, и никто не смел заговорить с ней о том. Понимала ли она сама свое положение, – кто ее знает. Бессонница, пьянство и утомление сде-

лали ее будто полоумной. Если она не «работала», то – спать не спала, но дремала, ходя, сидя, стоя, лежа, поминутно забываясь в коротких беспокойных грезах – часто даже до того, что вдруг храпела и свистала носом среди обращенного к ней разговора... И так же внезапно просыпалась и долго потом не могла прийти в себя от сонной одури, хлопая глазами, как идиотка, трудно соображая, где она, почему, зачем.

Коньяк и водка поднимали ее, встряхивали, но иногда, хватив стакан-другой на бесконечно запасенные «старые дрожжи», Люция сразу ошалевала, впадала в бешенство и скандалила, – буйно, дико, грязно и непроизвольно: точно не сама бушевала, но кто-то другой, чужой, сидящий в ней, злорадный, бесовский, ужасный. Тогда Люцию вязали и потом били – жестоко и долго, по всем мякотям тела, мокрыми жгутами, чулками с песком, резиною. Она выла, пока не засыпала, а часов пять-шесть спустя – проснувшись, едва живая, вся разбитая, – наскоро опохмелялась полбутылкой водки и, воскресшая, как ни в чем не бывало, опять шла на «работу» – пьян-

ствовать и отдаваться...

Опытная Федосья Гавриловна смотрела на разрушение Люции с большой тревогой.

– Увидите, Прасковья Семеновна, – убеждала она хозяйку, – устроит вам Люська уголовщину в доме.

– Каркай, ворона!

– Не обопьется, так удавится, а то с ума сойдет, квартиру подожжет... Чертиков-то она уже ловила на прошлой масляной. Либесвортишка еле отходил.

– Здорова корова! Еще на три белых горячки хватит.

– Да ведь это – как вино позволит, а оно – на этот счет самое капризное. Может десять лет ждать, а захочет – завтра в гроб уложит... Будет вам жадничать-то, взяли свой профит, попользовались, пора ее с рук спустить...

Буластова и сама все это понимала, но уж больно жаль было собственными руками погасить такую богатую доходную статью – и все ждала, откладывала да авоськала...

Лусьева, как давняя приятельница Люции, страшно волновалась и беспокоилась ее грядущею, близко наступающей судьбой, в кото-

рой как будто смутным предостережением звучала отдаленная угроза ей самой. Марья Ивановна пила вино еще не слишком много, не до отравления организма в хроническую привычку, но ей уже частенько-таки случилось «ошибаться» то коньяком, то шампанским, то портером... временами уже чувствовалась гнетущая, тоскливая потребность в алкоголе, и без вина за столом кусок уже не шел в горло. Она боязливо спрашивала то «Княжну», то Федосью Гавриловну:

– Если Прасковья Семеновна не захочет больше держать Люцию, куда же она денется? Ведь у нее ничего нет, и она совсем больная?

Обе, хоть и врозь, отвечали, точно спелись:

– Как куда? Теперь ей самое настоящее место – в открытом заведении. Там такой работнице цены нет. В открытое заведение хозяйка и сплавит ее...

«Княжна» прибавляла:

– На убой. Маша пугалась:

– Что ты, Лидия? Словно про скотину.

– Ну, конечно, надорвался призовой рыбак, – кончат ему жизнь на живодерне. Изно-

силась до времени красавица-кококотка, – куда же ее девать, как не в публичный дом? Жизнь Люции там – много-много, если на полгода... У нас из нее выжали, а там кожу сдерут и жилы вытянут – в пятирублевом-то обороте!

– Да помилуй! Возможно ли ей еще работать? как же Она едва жива от одышки. Ей бы в больницу надо лечь, полечиться бы...

Федосья Гавриловна возражала со смехом:

– Ах, скажите, какие нежности. Подумаешь, барыня! А долг ее Прасковья Семеновна тем временем с тебя что ли получать будет?

– Помилуйте, Федосья Гавриловна, какой же может быть еще долг за Люцией? Она работает на хозяйку больше всех нас...

Экономка подмигивала:

– Это само собой разумеется, что заправского долга никакого нет, – откуда ему взяться? Что Адельке заплачено, что вещами забрано, Люська давно вдсятеро покрыла. Только в деле принято так говорить, будто долг... По-правильному же сказать будет – отступное. Потому что хозяйка должна соблюсти свой профит до конца... Без пяти тысяч на выход ей с Люськой расстаться – значит себя

обидеть.

– Ну! Кто же решится дать? Всякому сразу видно, что Люся – уже совсем больная. У нее ноги пухнут. У нее под глазами за ночь такие мешки натекают, что она едва веки разлепить может...

– Эвона! Только кликни клич! По нашему делу – больна, в тираж выходит, а по-ихнему – золотой клад. Люськина работа не одному Петербургу известна. Три-то тысячи за нее уже сейчас дают: в Москву ее, к Стоецкой торгуют. Но хозяйка уперлась на пяти, меньше – ни-ни. Да и права: ежели Люська переживет лето, то пять-то тысяч она покроет одной Нижегородской ярмаркой...

– Говорю же тебе, – желчно прибавляла «Княжна», – на бегах конь оплошал, на завод не годится, а на живодерне еще себя оправдает... хоть куда!

Глава 22

Машу Буластиха перевела в новый род эксплуатации: как раньше «Княжну», ее начали рассылать по городам. Сперва она «гастролировала» под неизменным присмотром Федосьи Гавриловны. Но вот – однажды звероподобную экономку угораздило оступиться в «корпусе» на лестнице и, пересчитав тяжелым телом своим ступени двух этажей, улечься в третьем со сломанной ногою. Федосью Гавриловну пришлось отвезти в больницу.

Для Маши настали тяжелые, безрадостные дни, полные опасностей и оскорблений. Как только ее покровительницу вывезли из «корпуса», все его женское население, за исключением «Княжны» и бывших рюлинских, набросилось на Машу, как на обессиленную, лишенную защиты фаворитку, подобно стае разозленных ос.

Даже лупоглазая, белотелая Нимфодора – и та злорадно напрягала свой тусклый деревенский умишко, чтобы напакостить ненавистной «барышне» как можно обиднее и гнуснее. Уже и раньше того, однажды Федосья Гаври-

ловна застала эту убогую красавицу за прелестным занятием: дура провертела буравом дыру в перегородке, у которой стояла постель Марьи Ивановны, вставила в дыру соломинку и перепускала сквозь нее собранных в пилюльную коробочку вшей. Конечно, за остроумие игры этой Нимфодоре пришлось жестоко поплатиться. Но она только хихикала, да шмыгала носом, да твердила:

– Хи-хи-хи! Нешто! Пущай Машку заедят. Хи-хи-хи! Пущай Машку заедят!

– Откуда ты, проклятая, набрала этой пако-сти? – изумлялась на нее экономка. – Кажись, у нас в доме не водится?!

Оказалось, в течение целой недели соби-рала коллекцию, добывая насекомых от одной из горничных, которая приносила их отку-да-то с воли, по пятаку за двадцать штук...

– У нас в деревне, – хихикала Нимфодора, – когда две девушки друг дружку невлюбят, всегда – так.

Пред этим озорным упорством тупой бес-причинной ненависти Машу брала оторопь.

– Что я тебе сделала? За что ты против ме-ня?

Нимфодора и сама не знала. Но, не зная, все-таки ненавидела. Дулась, как клоп, и молчала, косясь на Марью Ивановну совершенно искренне злыми, опасными глазами сердитой идиотки.

– Дура ты, сука, идиотка окаянная! – в свою очередь ругала репоглазую волжанку экономка, – ну, а я? Обо мне-то ты умишком своим пришибленным не сообразила, что мы с Машкой в одной комнате живем, на одной постели спим? Стало быть, ты и меня хочешь наградить этим гнусом?

– Не... вас воши не тронут...

– Почему это?

– Они на Машку наговоренные.

– А, что с тобой толковать! Бог тебя убил, так людям и подавно бить надо!

Посыпались пощечины, загуляла плетка. Нимфодора взвыла. Марья Ивановна прислушивалась издали не без злорадного удовольствия. В этом аду злости, трусости и рабской униженности она сама ожесточилась сердцем и опустилась нравственно, мало-помалу теряя природную мягкость и добродушие, так долго помогавшие ей переплывать грязную

лужу своего позора, не погружаясь в нее совершенно.

Раз все ее товарищеские попытки отвергнуты и ведут только к глумлению и обидам, – так черт же с ними, с этими злыми дурами и негодяйками! Она тоже пойдет против них – примкнет к силе, пред которой они трепещут.

До сих пор она нисколько не злоупотребляла своим положением «экономкиной душеньки», теперь стала давать его чувствовать всем, кто показывал ей когти. Наушничала и даже клеветала, навлекая натоварок-врагинь ругань и побои Федосьи Гавриловны, которая со дня на день все больше души не чаяла в своей «Машке» и верила ей безусловно. Самой Буластихе Марья Ивановна тоже старалась угодить, чем только могла и умела: безбожно ей льстила в глаза и за глаза, при всяком удобном случае благоговейно прикладывалась к ее мясничьим ручищам и перебивалась у горничных возможности услужить хозяйке – «подай, убери, принеси». Повелительницам это очень нравилось, но барышень возмущало, и даже «Княжна» стала относиться к Марье Ивановне холодновато. Антонина

же громко говорила, что Машка не только «экономкина душенька», но и хозяйкин «дух», т. е. шпионка и доносчица, и, лишь бы случай вышел, а давно пора с ней расправиться без жалости.

– Нимфодора глупа-глупа, – наущала она, – а на счет вшей не худо придумала. Только Машке не простых бы, а в пузырьречке из больницы – тифозных...

* * *

С удалением Федосьи Гавриловны для мстительных проделок открылось широчайшее поле, а времени – двадцать четыре часа в сутки. На решительные, т. е. убийственные или калечащие мерзости не дерзали посягать, памятуя, что «Машка» – дорогой товар, за порчу которого Буластиха с виновных шкуру сдерет. Но делали все, чтобы отравлять «Машке» существование изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту.

Сегодня Марье Ивановне обливали жавелевой кислотой дорогое бархатное платье, которое, по буластовской расценке, стоило горемычной кабальнице, по крайней мере, месяца «работы». Завтра – пропадали у нее из за-

пертого комода часы или деньги, – жалкие крохи, которые удавалось ей сберечь из подачек «на булавки», – единственное, что доставалось на ее долю от огромного ее заработка. Стоило Марье Ивановне, уходя из своей комнаты, оставить дверь не замкнутой на ключ, чтобы, возвратясь, она уже непременно нашла либо постель свою испачканной какою-нибудь гадостью, либо омерзительный рисунок на стене, либо безграмотную записку с руганью и угрозами. Фраскита, из зависти, втянула Лусьеву в ссору и жестоко подбила ей глаз – аккуратно накануне приезда одного богатого и щедрого «понта», большого поклонника Марьи Ивановны.

На квартирах – у хозяек – жильцы, до сих пор льстивые, подбострастные, сделались наглы, грубили, а женщины подстрекали их – показать Машке-дворянке, что не велика она фря и не честнее других. Еще – к большому счастью Марьи Ивановны, как-то выпала ей такая удачная полоса, что «работать» приходилось больше в «корпусе» либо в той квартире, где проживала и влиятельна была дружеская Катерина Харитоновна: ее буйного

права все побаивались, не исключая даже самых дерзких и сильных жильцов. Но в другие квартиры Маша ехала – каждый раз – полумертвая от страха, что не сегодня-завтра какой-нибудь Александр Мясник либо Ванька Кривуля изнасилует ее и обратит в то невыносимо позорное, полное побоев и вымогательства рабство, под игом которого жили и изнемогали почти все квартирные женщины.

К дополнению бедствий, на время, покуда Федосья Гавриловна будет лежать в больнице, Буластиха поручила быть за экономку певунье Антонине. Эта особа теперь, чувствуя себя силою, нестерпимо лезла к Маше со своей противной влюбленностью и, не встречая взаимности, неистовствовала, устраивала подлейшие скандалы и каверзы и поминутно подводила Машу под хозяйкин гнев. Уже не раз бедной девушке пришлось изведать горьким опытом, что тяжеловесные ладони Прасковьи Семеновны – ни чета Федосьиным, которые били редко и жалеючи.

Антонина преследовала Машу из-за отвергнутой влюбленности, немки – по озлобленной ревности. Задыхаясь во враждебной,

напряженной атмосфере ненависти, Маша жила в постоянном трепете, что ей прыснут в лицо серной кислотой; хитро подведут ей заведомо больного «понта», подсунут зараженную ложку, полотенце, простыню; угостят ее папиросой с опиумом или морфием; вдунут ей во время сна через ноздри гусара с серой и нюхательным табаком, от чего самые надежные легкие повреждаются и получают чахотку; либо наконец, просто отравят мышьяком или уксусной эссенцией.

Буластихе Маша не смела жаловаться, — это в «домах» не принято, как злейшее нарушение товарищества, влекущее за собой беспощадную месть. Да и — знала Маша — без поддержки и настояния со стороны Федосьи Гавриловны — Буластиха, жестокая, глумливая, цинически-распутная по натуре, не защитит ее, но еще сама надругается каким-нибудь гадким, рабовладельческим издевательством. Вроде того, как заставила она проворовавшуюся Фиаметту съесть с голых ног ее два фунта зернистой икры.

«Княжна», которой было жаль Маши, проговорила услаивать освирепевших товаров,

стращала:

– Сумасшедшие! В чью вы голову бьете? Ведь Федосья не навек легла в больницу. Встанет, – худо вам будет: рассчитается за Марью сторицей, соком из вас Марьины слезы выйдут...

Но озлобление было слишком велико, спорт мучительства слишком заманчив. Возражали:

– Еще когда встанет, а мы до того времени из Машки твоей юшку повыдавим!

Впрочем, принимали меры, чтобы по возможности обезопасить себя и против этой угрозы. Бегали к Федосье Гавриловне в больницу и наушничали ей на Машу всевозможные сплетни и клеветы. И, когда Маша, в свою очередь, приходила проведать свою покровительницу, больная экономка встречала ее градом ревнивой, подозрительной ругани, попрекала ее мнимыми шашнями с жильцами, с полицейским, которого сама же ей навязала, с некоторыми из гостей посимпатичнее и почеловечнее, дружбой с Катериной Харитоновной, ухаживаниями Антонины, обвиняла в разврате, предательстве, неблагодарно-

сти. Маша пугалась, плакала в три ручья, разубеждала, божилась...

Расставались помирившись, но ссоры были утомительно тяжелы, полны обидных унижений, обвинений, неповторяемых слов, от которых стены краснели. Уходя из больницы, Маша сознавала себя предметом общих насмешек и презрения, будто оплеванная взглядами больных женщин, сиделок, фельдшерниц, врачей. А главное, чувствовала раз от разу внушительнее, что клеветы действуют, дружба трещит, и дорогой ценой купленная, позорнейшим угодничеством обусловленная последняя опора ее уже не прочна, – почва колеблется под ногами. Маша с ужасом предвидела: а вдруг настанет день, когда Федосья Гавриловна вовсе взбеленится и станет не за нее, но против нее?

– Тогда – хоть прямо в петлю голову!

* * *

А болезнь экономки, как нарочно, затягивалась. На почве скверной, давно отравленной крови определилось какое-то серьезное осложнение. Врачи решили сделать ампутацию ноги выше колена. Значит, возвращение

Федосьи Гавриловны в корпус опять не только затянулось надолго, но и вообще стало вопро-
сным. Как-то она вынесет операцию? Да
когда-то она оправится и привыкнет к искус-
ственной ноге – настолько, чтобы распоряди-
тельствовать сетью огромного дела, безжа-
лостно торгового и насквозь преступного,
полного опасных рисков, требующего силы,
энергии, подвижности изворотливой и бес-
страшной готовности на какой угодно скан-
дал и приключение, охраняемого лишь ужа-
сом к могучему кулаку, незнако-мому ни с
жалостью, ни с удержем совести?

Женщины Буластихи знали, что Федосья
Гавриловна связана с делом слишком боль-
шим количеством важных секретов и вовсе
удалить ее от себя хозяйка не в состоянии, да-
же если бы захотела. Но найдется ли у нее,
ослабевшей за болезнь, сразу постаревшей
лет на десять, хромоногой, ковыляющей на
деревяшке, достаточно воли и прямо-таки фи-
зической силы, чтобы воскресить престиж
прежней своей необходимости и остаться в
деле первой после самой Буластихи?

Ведь с одною-то ногой не очень-то подсту-

пишьяся унимать и карать не то что хамское грубиянство «жильца», вроде Александра Мясника или Ваньки Кривули, но даже буйство спьяну Люции либо Катерины Харитоновны. Один хороший пинок ногой в деревяшку, – и шлепнется Федосья всем гигантским телищем своим навзничь на паркет. Женщины злорадно предвкушали прелесть будущих столкновений и неумоимо точили ядовитые зубы насчет «кра-соточки-экономочки на деревяшке».

Да и сама Прасковья Семеновна была заметно озадачена возможностью столь странного украшения для зал «корпуса», которые, благодаря ее приобретениям из ликвидированной Аделью рюлинской обстановки, приняли весьма шикарный вид.

От старинной мебели Буластиха отказалась: не для ее публики. Гостиный двор и Калашниковская пристань любят, чтобы блесло, – подавай «модерн» да самый свежий, под лаком, прямо из мастерской. Зато скупила огулом картины, мрамор, бронзу, ковры, предметы «искусства», – и Марья Ивановна с Жозей и Люцией помогли хозяйке устроить в

«корпусе» два-три рюлинских уголка. В том числе и подобие пресловутой гобеленовой комнаты для живых картин.

Задумалась было Буластиха, не воскресить ли ей у себя эту забаву «мышинных жеребчиков», гордость и славу рюлинской фирмы, угасшую со смертью Полины Кондратьевны и отъездом Адели. Но и сама она была слишком невежественна и дика и в служебном своем персонале не имела никого, способного руководить постановкою, требующей все-таки некоторого художественного вкуса и эстетического соображения. Поклониться же о том своим кабальницам из образованных баб за-прещало самолюбие. Казалось ей, что поступишь она этак своим хозяйским авторитетом, то «Машка», «Жозька», «Княжна», «Катерина» зазнаются: мы-де режиссерши! заведующие! – и перестанут слушаться, если не ее (этого Прасковья Семеновна, соображая энергию оплеух своих, даже и предполагать не хотела), то хозяек и экономок.

К тому же, охочая до живых картин, аристократическая клиентура Рюлиной не последовала за ее обстановкой: преемницей Поли-

ны Кондратьевны оказалась, на новом месте, в самом бойком центре города, франко-русская еврейка мадам Юдифь. Под маской огромного и шикарного модного магазина, который своей работой и кредитом обслуживал весь петербургский полусвет и немалую часть света настоящего, хитроумная парижанка из Бердичева преобразовала свой дом свиданий в «уголок Монмартра» и, по новинке, заторговала пуще Рюлиной. «Мышинные жеребчики», золотые аксельбанты и прочее, как выражалась Федосья Гавриловна, «графье, князьё да баронье» хлынули под новую гостеприимную сень.

Таким образом, теперь со стен «корпуса» опять глядели на Машу Леды, Пасифаи, Данаи и Ио, свидетельницы первых шагов ее «просвещения» и падения. Как ни странно, но, бродя среди них, теперь даже не прикрываемых сукном, по комнатам, как бы одушевленным лаской цинической, но хорошей живописи, Маша чувствовала какую-то унылую отраду. Хоть и поганая, а все-таки молодость, — осколок чего-то, все же лучшего, чем нынешняя грязная неволя!

Пресловутый портрет Жени Мюнхеновой тоже перекочевал к Буластихе. Очевидно, культ «красавицы из красавиц» угас вместе с торговым домом генеральши, и будущая мадам Монтраше почла для себя неприличным сохранять реликвию, столь драгоценную, бывшую для мещанской девицы Александры Степановой, она же Адель.

Марья Ивановна созерцала давно не любимый ею портрет не без тайного, – пусть неумного, ребяческого, но непобедимого, – злорадства:

– Ага, Женечка! Хоть и на полотне, а пожаловали-таки к нам? Не можете выбраться из помойной ямы, как и мы, горемыки, и тоже не вверх плывете, а на дно тонете? Что наши «понты» пропишут тебе, голубушка!

И, точно, не прошло и недели, как король питерских безобразников, миллионер-мучник и пряничник Корлов, истыкал злополучное полотно лже-Маковского зонтиком в самых неподобных местах. Приблизительно на половине второй бутылки финь-шампань, он пришел к убеждению, что он совсем не Корлов, но цареубийца Желябов, а потому обязан

произвести террористический акт. И, за неимением лучшего объекта, обрушился на безглагольное и недвижимое изображение Жени Мюнхеновой:

– А, шкура, великокняжеская наложница! Ты нашу русскую кровь пить? лопать народные деньги, добытые трудовым потом мозолистых рабочих рук? Врешь! Не допущу! Сокрушу! Вот тебе, польская стерва, – получай в брюхо! От сына своего отечества, – получай в сиськи! От внука верноподданных крестьян, освобожденных манием великодушного монарха от крепостной зависимости по манифесту 19 февраля, – получай во все места! Тапер! Жарь «Боже, царя храни!» А вы, девки, все – плакать!!!

За испорченный портрет заплатил пять тысяч. Артамону за то, что принес зонтик из передней, бросил сто рублей. Маше послал воздушный поцелуй и показал кукиш. Федосье Гавриловне, с щедрым видом, сунул в руку «на чай»... двугривенный!.. Хитрая баба приняла с благодарностью, словно Корлов ее озолотил. А потом привесила этот двугривенный брелоком на браслет и давай хвастать

всем гостям из именитого купечества.

– Не думайте-де о моем двугривенном пло-
хо: это – корловское пожалованье!

Присрамился пряничник, приехал выку-
пить язвительный брелок. Влетел купцу дву-
гривенный в копеечку!

Глава 23

Общее мнение было, что Федосье теперь, оставшись об одной ноге, никак не управится, и министерству ее конец. Самое большое, если хозяйка отдаст ей, как заслуженному инвалиду, под самостоятельный начал, одну из хороших, заработных квартир где-нибудь на окраинах поглуше.

Марья Ивановна обмирала, когда слышала эти толки. Она знала, что Федосья Гавриловна в таком случае не захочет с ней расстаться и сумеет оставить ее за собою, а перспектива найти себе тюрьму в каком-нибудь вертепе Васильевского острова или Большого проспекта, под властью искалеченной, дикой, ревнивой, бешено-вспыльчивой, драчливой старухи приводила ее в отчаяние. Антонина же щеголяла белым фартуком и звонила по дому ключами все с большей и большей уверенностью, благосклонность хозяйки к ней возрастала, и было уже почти несомненно, что весьма скоро она заменит Федосью Гавриловну не временно, но постоянно. И в злобном взгляде будущей экономки Марья Ива-

новна читала, что, как ни скверно было ей в последнее время, но это еще – цветочки, а ягодки ждут впереди, и удовольствие по-настоящему-то с нее «шкуру спустить» Антонина с компанией еще только предвкушают.

Поэтому Марья Ивановна очень обрадовалась, когда хозяйка внезапно разрушила скопившиеся вокруг нее мрак и ужас неожиданным приказанием ехать в К. Федосья Гавриловна зарычала было на Машин отъезд раненой медведицей, но, прикованная к больничному одру, ничего не могла сделать против решительной хозяйкиной воли и только устроила Маше на прощанье ужасную сцену. Сиделки и больные – которые хохотали, которые негодовали и отплевывались, а Маша, уходя в слезах, дала себе слово, что не придет больше навещать свирепую приятельницу, разве что та уже заведомо умирать будет.

Вышло так, что это, действительно, было их последнее свидание. Неделю спустя, Федосья Гавриловна, превосходно выдержав удачно сделанную ампутацию и, по мнению врачей, уже вступив на путь выздоровления, вдруг с чего-то залихорадила-залихорадила и

В два дня умерла от заражения крови. Но Маша Лусьева тогда была уже далеко и ничего о том не знала.

В поездке злополучная девушка очутилась под присмотром постоянной устроительницы поездок «Княжны», по имени Анна Тихонова. Эта женщина почему-то невлюбила Машу чуть ли не с первого же ее появления в буластовском хозяйстве и оставалась упорным врагом ее до настоящего дня, когда «гастроли» в К. завершились скандальным появлением Лусьевой в участке.

В другое время Маша пришла бы в ужас и великую скорбь, что придется ей путешествовать под суровым началом такой лютой ведьмы. Но сейчас уж слишком солона стала ей жизнь в корпусе: рада хоть в ад, да – лишь бы отсюда. Лусьева объясняла:

– Впрочем, я вообще и раньше тоже предпочитала ездить по городам, чем трепаться по петербургским квартирам. Я уже рассказывала вам, какое это удовольствие. Да еще, между квартирами этими, когда потом я с ними со всеми познакомилась, оказались такие, что страшно стало бывать... На одну, близ Ни-

колаевского вокзала, девушки, которые по-суевернее, наотрез отказывались ехать: «Хоть бейте, хоть до смерти убейте, – не могу... боюсь...»

– Что же там? Черти, что ли? Или привидения ходят? – усмехаясь в усы, опросил полицеймейстер.

– Нет, видеть – никто ничего страшного не видал...

– Стуки?

– Н-н-н-нет... А впрочем, все мы были так настроены, что – в стене ли щелкнет, мебель ли треснет, в печке ли загудит – всякий звук странный, в этой квартире уже мерещился нам за чертовщину. Видите ли: я не знаю, что... но, бывало, едва войдешь, и вдруг тебе как-то совсем дышать нечем, и тоска нападет страшная, и все чего-то ждешь, ждешь... самого жуткого и скверного!.. До ужаса, аж дрожать начинаешь... Вот-вот кто-то опасный войдет, вот-вот что-то роковое случится... Говорят, будто на этой квартире, – дело было давно, еще до Буластихи, – «жильцы» уходили кулачищами купца, а как и куда потом его убрали, осталось неизвестно: все дело кануло

в воду, и следствия не было... Ну вот – наши трусихи, разумеется, и верили, будто вся эта тягость от купца убитого: что он живет и душил...

– Зачем же, – спросил Матьё Прекрасный, – Буластиха все-таки удерживала за собой такую странную квартиру?

– Место истари насиженное. В ее профессии этим условием очень дорожат. На новые квартиры многие неохотно едут...

– А «гости» не жаловались?

– Гости ничего... Что же? Они были непредубежденные... заранее не приготавлились к страхам этим, как мы все несчастные... А потом, – кто их знает, покойников? Может быть, он гостей не трогал... Ведь гости ему ничего не сделали дурного, он сам был тоже гость, когда его убили... А нам, прочим, которые при том же самом деле, он мстил, показывал свою власть... Понимаете?

– Эге! Да вы, кажется, тоже из суеверных? – поддразнил Матьё.

– Нет, не очень... Но, конечно, все-таки неприятно. Вот другой квартиры, в Измайловском полку, где наша девушка удавилась, –

этой я, сознаюсь, очень не любила... Все боялась, что увижу, как она висит на отдушнике...

«Гастрольные» поездки устраивались всегда в одинаковом порядке. Выбиралась из квартирных хозяек или нанималась со стороны какая-нибудь приличного вида и звания дуэнья, вроде баронессы Ландио. Маша объявлялась ее племянницею, а Федосья Гавриловна или Анна Тихоновна – домоправительницей, экономкой, няней, пожилою, искони в фамилии, горничною. Ездили по частным приглашениям какой-либо провинциальной факторши или, непосредственно, искателя красивых женщин: многим провинциальным ловцам по этой части Буластова служила постоянной поставщицей, – и так именно попала Лусьева теперь в К. Еще чаще ездили прямо наудачу – в сборные места богатого люда с бешеными деньгами, которые поют в кармане петухами, просясь на волю: в Нижний, Ирбит, Харьков – на ярмарки, в Киев – на Контракты, на Кавказские минеральные воды, в Баку, в Москву на «Дерби»...

– Насчет ярмарок у нас в корпусе даже пе-

сенку особую пели. Антонина на смех сложила. А, впрочем, может быть, и врала, что она... чужое старое за свое новое выдавала.

Поехала хозяйюшка
В Ирбити торговать,
А с ней четыре барышни —
Попить да погулять.
Приехала хозяйюшка
С Ирбитя с барышом,
А все четыре барышни —
Чуть-чуть не нагишом.

– Бывало и так, что Буластихе просто доносят: в таком-то городе или местечке люди страшно заскучали, развлечений никаких нет, а шальные деньги водятся. Она, после того как наведет обстоятельные справки, командирует сейчас же какую-нибудь госпожу разыгрывать комедию: будто имение под городом тем торговать для приобретения, либо придумает другую аферу в таком роде, – глядя по городу, какие там могут быть дела и за что люди уважают. Если город богат и тароват, поездка взятяжку идет. Нанимается хорошая квартира, выписываются из Питера, по очереди, «племянницы», «крестницы», «воспитан-

ницы», «лектриссы»... я, Жозя, «Княжна», другие там... и пошло веселое житье, балы, пикники, вечеринки, покуда Федосья и Анна Тихоновна не повыжмут бумажники у многоземельного дворянства и богатого купечества! Мы на шахтах две недели прожили – золотые вернулись! Тоже, когда нефть была в моде... на новый фонтан один раз ездили... На постройку железных дорог, покуда у инженеров доходы шальные. Жозька была специалистка насчет этой публики. Огонь! Выматывала инженерские бумажники, точно фокусник ленты изо рта. В Челябинске два месяца прогостили, всю строительную комиссию до гроша вычистили. Кути да радуйся, покуда люди не разорятся либо мы не провремся в чем-нибудь уж очень прозрачно – общество начнет сомневаться и коситься, а полиция струсит и устанет нас покрывать. Либо уж такими поборами обложит, что оставаться дальше окажется самым дороже. Ну, тогда, конечно, лови момент, чтобы вовремя наострить лыжи.

И, разумеется, это правда, что Антонина пела: хозяйка наживалась толсто, а мы, в самом деле, прокучивались чуть не до нагиша.

Одна «Княжна» могла похвалиться, что выдержку имеет, – вещи берегла, капитал сколачивала. Меня, например, каждая поездка только в новые долги вводила. А все-таки поездки я, ничего, любила: хоть повеселишься, попрыгаешь... считают тебя все-таки за порядочную, ухаживают, флиртуют... опять чувствуешь себя барышней, а не девкой... А там, в Петербурге, в корпусе, по квартирам – острог! могила!

* * *

Встречаясь с Катериной Харитоновною, Марья Лусьева неизменно получала от нее саркастические запросы:

– Ну-с? Когда же мы бежим? Или охота прошла? Стерпится-слюбится?

– Да ведь я теперь, Катерина Харитоновна, все в разъездах.

– В разъездах-то, милейшая моя, и удирать. Здесь у Буластихи и полиция своя; в каждом участке найдутся дружки, чрез которых она вас притиснет. А вот, я слышала, вы едете в К. С тамошней полицией, – это я доподлинно знаю, – хозяйка связей еще не успела установить. Стало быть, прямоком против вас дей-

ствовать она не посмеет. Не такое у нее дельце, знаете, чтобы перед незнакомыми светлыми пуговицами так вот сразу взять да все карты открыть. Потому что в неберущую полицию Буластиха, конечно, как и мы с вами, не верит. Но если сунуться наобум в воду, не спросясь броду, то недолго налететь и на такого покровителя, который сообразит, что дельце-то пахнет карьерою. Ну и подобный барин ей уже не в тысячу, а в десятки тысяч обойдется... Не посмеет она в К. рисковать, куда полиция не подкуплена. А это сразу не делается. Это – как хроническая отравка. Для больших взяток тоже нужно накопить отношения взаимного доверия, поруку осторожности, связаться временем в общности позора... К. во всех этих отношениях для Буластихи город еще новый: вот и бегите из К.

– Если бы, – признавалась Марья Ивановна, – со мной была Федосья Гавриловна, у меня, вероятно, все-таки не хватило бы энергии поступить, как сейчас... Потому что я ужасно боялась ее, а, кроме того, она всегда обращалась со мной очень хорошо... то есть, по-своему хорошо, конечно: если я получала подар-

ки, она не накладывала лапы на мои вещи, – напротив, случилось, что еще сама дарила... Ну, а я уж такая: если человек меня не угнетает, то я против него бессильна, никогда не пойду резко ему наперекор. Меня до бешенства довести надо, – вот, как Анна Тихоновна ухитрилась, – только тогда я гожусь на смелое... А то тряпка! Полы мной можно мыть! Пыль вытирать!

С Анной Тихоновной в течение поездки в К. они грызлись, начиная от самого Петербурга. Суровый, придирчивый надзор в поездке и во время недельной остановки для «работы» в Москве и общая система Анны Тихоновны держать Машу без гроша денег выводили девушку из себя. Она принялась грубить своей мучительнице, а та ее бить.

В К. они направлялись по очень таинственному вызову. Здесь Лусьеву должен был встретить богатейший южный помещик, страстный любитель женщин, занимающий в своих родных местах слишком крупное и видное положение, чтобы развратничать открыто; к тому же он очень стыдится своего физического безобразия и боится родственни-

ков, которые зорко следят за ним, так как шибко охочи подвести старого эротомана под опеку. Поэтому, когда он затевает пожуировать жизнью в свое удовольствие, то пробирается incognito в чужой город, где его меньше знают. На этот раз он выбрал К., куда, по его заказу, должна была доставлена быть Марья Ивановна.

– Как фамилия этого господина? – спросил полицеймейстер.

Лусьева пожала плечами.

– Не знаю, впрочем, если бы и знала, то не сказала бы... Он ничего дурного мне не сделал... За что я буду его компрометировать?

Полицеймейстер с чиновником особых поручений переглянулись.

– Ну что же? конечно, вы правы... – протянул Матьё Прекрасный, – мы вам сейчас не допрос какой-нибудь чиним... беседуем неофициально... пока его фамилия нам не нужна...

Лусьева продолжала:

– Мне было велено звать его Хрисанфом Ивановичем... Он одноглазый и лыс, как бильярдный шар...

– Нет у нас такого... – проворчал полицей-
мейстер. – Спрошу по команде, кто из приез-
жих... должны знать!..

Женщины прибыли в К. раньше, чем Хри-
санф Иванович. Он телеграфировал, что за-
держан на несколько дней делами, и просил
ждать, с расходами за его счет. Вот почему
Марья Ивановна зажилась в городе и, появля-
ясь с баронессой Ландио в общественных ме-
стах, успела завязать несколько знакомств.

– Так вот я и вас встретила.

Матьё Прекрасный галантно поклонился.

Знакомствам Анна Тихоновна, понимает-
ся, не препятствовала, рассчитывая, что, по
отъезде Хрисанфа Ивановича, пустит Лусьеву
в городе по рукам. Но ссоры и грызня с девуш-
кой не прекращались.

– Особенно она меня «Княжною» допекала:
понимаете, что я ей меньше доходна, чем
«Княжна», не стоит со мной и ездить, никто
мной не интересуется, не умею я деньги до-
бывать... Слушаешь, слушаешь это пиленье
день-деньской, ну и не сдержишься... взорвет
наконец!.. Согласитесь: есть же и у меня свое
самолюбие!.. Всякая подлая тварь в лицо ха-

ять станет!.. И еще обысками она меня измучила. Откуда бы мы с баронессой ни возвратились в номер, сейчас же начинает шарить по карманам, в чулки заглянет, корсет снять велит... это, понимаете ли, все проверяет, не работаю ли я стороной на самое себя, да не прячу ли подарки либо денег!.. Прямо вам говорю: белые огни зажигались у меня в глазах от этих обысков мерзких! Кабы нож близко, так бы ихватила по горлу либо ее, либо себя!.. Никогда никто такой подлости надо мной себе не позволял!.. Уж не говорю про рюлинское время, никто... ни Федосья Гавриловна, ни сама Буластиха... никто! И ведь надобности никакой нет, и уверена она во мне очень хорошо, и знаю, что это она нарочно, со зла, чтобы оскорбить меня лишний раз, власть свою надо мной показать!.. В Петербурге пальцем тронуть не смеет, так зато в поездке измывается. Вот-де – твоей заступницы здесь нету, так я с тебя спесь-то собью: что хочу, то с тобою и делаю!.. Они с Федосьей-то Гавриловной соперничают, кто сильнее у Буластихи, и, как водится, на ножах... Ну, если так, то тут уж и я на нее вызверилась. Ты делаешь со

мною, что хочешь, так и я сделаю, что хочу!.. И уже окончательно решила бежать здесь, как Катерина Харитоновна, «Княжна» и Адель советовали... бежать непременно...

– Погодите-ка, а то забуду спросить, – перебил полицеймейстер, – как вы паспорт добыли из конторы? Там никто не помнит, когда вы его получили.

Марья Лусьева вспыхнула, потупилась. Потом подняла голову с наглым вызовом.

– Очень просто: для меня его выкрал номерной... Васильем звать. Красивый малый...

– Вы его просили?

– Да, просила.

– Не удивился он, что вы так таинственны?

– Я заплатила ему...

– Позвольте. Да вы же только что сейчас жаловались, что у вас ни копейки денег не было?

Марья Лусьева взглянула на полицеймейстера страшно мрачно и упавшим вялым голосом произнесла:

– Будто только деньгами платят...

– Гм...

– Зачем, однако, вам так понадобился ваш

паспорт? – вмешался Mathieu. – Ведь вы, действительно, могли, когда угодно, вытребовать его через полицию.

– Я боялась, что они с ним сделают что-нибудь такое, что полиция должна будет принять их сторону... Или просто уничтожат документ, а потом скажут, что я – не я, и я останусь без вида, как бродяга...

– Так-с. Далее?

Хрисанф Иванович приехал. Назначено было, что он встретится с Лусьевой в театре, а затем увезет ее к себе. Все так и сделалось. Блудливый Крез остановился не в гостинице, но у какой-то своей знакомой дамы, на частной квартире. Фамилию Лусьева опять не могла сказать, а местность определила глухо.

– Я города не знаю... Ночь... Очень недурное помещение...

– Недурные помещения у нас наперечет... – пожав плечами, подивился полицеймейстер. – Странно! Ну-с... для нас вот эта часть вашей истории интереснее всего...

– Ночью я пила много вина, а когда пью, делаюсь злая. На прощанье утром Хрисанф Иванович подарил мне лично двести рублей.

Я спрятала их за перчатку, на левую руку. Еду домой, в голове шумит, но веселая: радуюсь, как это ловко подошло, – если убегу, то даже и деньги есть перебиться на первое время!.. Но, едва я вошла в номер, Анна Тихоновна так и прыгнула ко мне, как кошка...

– Показывай, сколько!

– Чего вам? У меня ничего нет...

– Что-о-о-о? Врешь, голубка! Не надуешь!

Других морочь: от Хрисанфа-то Ивановича без подарка? Щедрее барина в России нету. Честью тебе говорю: вынимай, сколько?

– Ничего не дал, ни гроша...

– Сколько, дрянь?!

– Сама такая!

Она так ракетой и взвилась.

– Разговаривать? Ты разговаривать?! Бац!..

– А это что?

Схватила меня за руку... Насели вдвоем с баронессою, отняли деньги... Однако покуда мы возимся и ругаемся, вдруг стучат к нам в дверь, просят: «Нельзя ли потише, обижаются соседи...» Баронесса, выглянула в коридор, извинилась... А я взглянула – заметила, что она потом дверь на ключ не заперла, только при-

творила... А Анна Тихоновна, багровая, предомной стоит, губы у нее трясутся, шипит:

– Я тебе, сударка моя, себя теперь покажу! Я тебя пропишу, голубка!..

И рукава кофточки закатывает за локти... палачествовать!.. Разохотилась... Меня ужас объял: не выйду живою, забьет!.. Говорю ей, язык едва ворочается, – бормочу:

– Троньте только... ну вот троньте!.. Я на весь город кричать буду!..

А она тоже суконным языком на меня лопочет:

– Я те, я те, я те...

Пошла к умывальнику, носовой платок намочила, жгутом крутит: я уже понимаю, зачем, – рот мне заткнуть хочет...

– Это, – шепчу, – вы напрасно... оставьте, Анна Тихоновна! Тиранствовать нельзя. Я не дамся!..

А она на меня даже и не глядит уже, только сказала баронессе:

– Ты, сударыня, чего зеваешь? Запри дверь покрепче... Та рохля, на мое счастье, старая, из робких: руки у нее трясутся, ключ в скважине застрял, не поворачивается, хотела по-

править, вовсе на пол уронила... Ах, ах!., ахает, вздыхает, подслепая, ползает по ковру... Я вдруг – точно осенило: как рванусь, да через нее!.. Коридор, лестницу пролетела вихрем... Как ошибло меня свежим воздухом, тут только очнулась: жива!.. Ну и вот я здесь... Дальше вы знаете...

Глава 24

Долго длилось молчание, во время которого Лусьева сидела, низко опустив голову на грудь. Она, кажется, плакала и не хотела выдать своих слез.

– Тэк-с... – нарушил затишье полицеймейстер. – Одиссея эта ваша, можно сказать, весьма многозначительная. Что же, Матвей Ильич? Ведь надобно запротоколить по форме... тут вон какие дела открываются...

– Н-да-а... – сказал Матьё Прекрасный. – И к прокурору отнестись немедленно... Вам, сударыня, сделан будет допрос по форме, а затем, вероятно, вы должны будете повторить ваши показания перед судебной властью.

Лусьева сердито отозвалась:

– Хоть перед китайским богдыханом.

В соседней комнате задрезжал звонок телефона. В дверь просунулась голова озабоченного дежурного полицейского чина.

– Его превосходительство господин начальник губернии просят ваше высокоблагородие к телефону.

Полицеймейстер вышел. Матьё Прекрас-

ный и Марья остались в неловком, натянутом молчании. Чиновник рисовал пером на левом перед ним синем деле фигурки чертей и профили женщин. Лусьева смотрела на него почему-то с невыразимой ненавистью.

– Ска-а-а-жите, пожалуйста, – начал было Mathieu, – вы в Петербурге не знали моего друга Сержа Филейкина?

– Не помню, – получил он сухой ответ.

– Я больше потому спрашиваю, что он по части женщин большая ска-а-а-атина...

– Мало ли ска-а-атин!.. – в тон ему, злобно протянула Марья Ивановна.

– Матвей Ильич! пожалуйста-ка сюда! – позвал полицеймейстер.

– Казуснейшая штука, батенька вы мой! – зашептал он. – Сам черт не разберет: не то дело наклеывается, не то мистификация... Знаете ли, кто сейчас сидит в кабинете его превосходительства? Тетушка девы этой самой... баронесса Ландио!..

– Да ну? – изумился чиновник. – Позвольте: она же уехала в Одессу...

– Стало быть, не доехала... возвратилась!.. И с ней Ленеvская.

– Софья Игнатьевна?

– Да. Его превосходительство приказывает, чтобы девицу Лусьеву немедленно отвезти к Леневской, а завтра он сам ее увидит...

– Гм... А как же с прокурорским надзором... Может выйти неприятность... Знаете, как они щепетильны...

– Я позволил себе намекнуть... Они засмеялись, говорят, что знают и прокурорскому надзору нечего тут вмешиваться... Если надо будет, говорят, я сам перетолкую... Тут, говорят, огромное и глупейшее недоразумение...

– Странно!

– Странно!

Оба потаращили друг на друга глаза, пожевали губами.

– Распоряжение вышло, не наше дело рассуждать!.. – решил полицеймейстер и, возвратясь к Лусьевой, объявил ей волю губернатора.

– Кто такая ваша Леневская? – нахмурясь, спросила девушка.

– Софья Игнатьевна Леневская – почтеннейшая дама в городе, прекраснейшая особа,

первая наша дама-патронесса... бесчисленно много добра делает!.. Его превосходительство желает, чтобы до свидания с ним вы остались как бы под ее охраною.

Марья Лусьева сдвинула брови еще суровее. В глазах ее забегали опасные, враждебные огоньки.

– Я не поеду! – мрачно оторвала она.

– То есть, как это не поедете? – озадачился и озверился полицеймейстер.

– Не поеду!

– Но если начальник губернии...

– Не поеду! – истерически завизжала девушка. – Не поеду! Тащите силою, а по доброй воле не пойду! И всю дорогу буду кричать...

Полицеймейстер выкатил глаза и разинул было рот, чтобы гаркнуть, но Матьё вмешался.

– Позвольте, мадемуазель, позвольте... зачем горячиться? – примирительно и учтиво заговорил он. – Никто никому силой вас не потащит... Вопрос только о том, где устроить вас до завтра... Его превосходительство желает лично вникнуть в ваше дело...

– Не поеду! – вопияла Лусьева.

– Но иначе нам вас девать некуда!.. – рассердился теперь и Mathieu. – Не в участке же вам ночевать!

– Я готова, если надо, ночевать в участке!.. А в чужой дом, к незнакомой какой-то даме не поеду... Ишь что придумали!.. Нет, не на дуру напали! Знаю, что это значит, куда вы меня приглашаете!..

– Что вы воображаете? – рявкнул – не вытерпел полицеймейстер. – Как вы смеете? Перед вами, сударыня, люди официальные!

– Тигрий Львович! Тигрий Львович!

– Да что Тигрий Львович? Терпения, сударь мой, нет...

– Не поеду! – крепко кусая губы, ломая пальцы, твердила девушка, с тупым, неподвижным взглядом, сосредоточенным на спинке стула. – Хитры! Леневскую какую-то сочинили!.. Говорили бы прямо, что вам велено отвезти меня в сумасшедший дом!..

Полицеймейстер и чиновник особых поручений обменялись многозначительными взглядами.

– Гм... ларчик просто открывается!.. – проворкотал про себя Матьё.

– Послушайте! Честью я вам клянусь, что ошибаетесь!.. – горячо заговорил он вслух. – С какой стати? Помилуйте! Нам и в голову не приходило...

Полицеймейстер, беспомощно разведя руками, снова прошел к телефону.

– Кто говорит? а? что? Громче!

– А? – отозвался ему знакомый начальнический тенор. – Боится? Чего боится?.. А?.. Что в сумасшедший дом?.. Ха-ха-ха! Вот чудачка!.. Да-да-да... Однако, это любопытно, что вы говорите... Да-да-да-да-да-да... Это подтверждает...

– Куда же прикажете устроить ее, ваше превосходительство? – возопил с отчаянием полицеймейстер: возня с Марьей Лусьева надоела ему, что называется, «до шпенту».

– Ну... поместите ее в каком-нибудь приличном отеле!.. Да-да-да... Разумеется, в отель!.. Адрес сообщите Софье Игнатьевне... Она так добра, желает заехать... Ну, и маленький надзор... на всякий случай...

Телефон замолк.

Поместиться в отеле Марья Лусьева согласилась сразу и с радостью.

– В отель я не боюсь... Только не в «Феникс»... мне стыдно...

– В «Золотом олене» можно... Вы уж, Матвей Ильич, будьте добренький – оборудуйте это, а я – к его превосходительству...

– Очень рад.

Как скоро Марья Ивановна оказалась на новоселье, в коридоре гостиницы появился неизвестного звания и полупочтенной наружности господин. Он много шутил с прислугой, по-видимому, давно и отлично его знавшей, очень интересовался электрическим освещением, внимательно и подробно, раз по десяти, изучал железнодорожные расписания на стенах, театральные афиши и торговые рекламы и ни на минуту не выпускал из поля зрения дверь в номер Марьи Лусьевой.

* * *

– Я прямо и откровенно говорю вам, генерал: не в службу, а в дружбу!

– Уважаемая Софья Игнатьевна, вы знаете, что я всегда заранее готов сделать для вас все, что от меня зависит. Но дело, о котором вы просите, принадлежит к разряду тех, что либо

гаснут сами собою, без всяких просьб, либо должны гореть, и уже никакие просьбы потушить их не в состоянии. Ваша несчастная кухня...

– Племянница, – поправила губернатора Софья Игнатьевна Леневская, видная дама в седых кудрях, с острыми и внимательными голубыми глазами. – Двоюродная племянница. Она дочь бедной Зины Лусьевой, а матери – моя и Зины – были родные сестры. Между нами говоря, выходя за этого Лусьева, Зина сделала глупейший мезальянс. И вот – результаты!

– Так вот-с, – виноват, – племянница ваша натворила и наговорила самых безумных и фантастических глупостей. Да-да-да-да-да! Хорошо-с! То есть очень скверно-с! Наш милейший Тигрий Львович был настолько остроумен, что не оформил дела сразу. Его следовало бы хорошенько распечь за упущение, но – победителей не судят, а после ваших откровений вчера и сегодня он, разумеется, оказывается нечаянным победителем... Скажите, пожалуйста: как давно это сделалось с нею?

– Уже лет пять. Она стала заговариваться

после ужасной смерти своего отца: он погиб под трамваем. А потом подросла неудачная любовная история... ее жених оказался большим негодяем... Ложный шаг... понимаете? Она... вы, Порфирий Сергеевич, конечно, поймете, как мне тяжело входить в подробности: ведь, хотя и дальняя, Маша мне все-таки родственница...

– Да-да-да-да! Еще бы, еще бы!

– Фамильный позор!

– Кому приятно?

– Она... опасаясь последствий... приняла какие-то меры... очень неудачно... Ну после того уже совсем!..

– И часто на нее находит? Ленеvская опустила глаза.

– Каждый месяц.

– Ага!

Губернатор побарабанил пальцами по столу.

– Как же это, зная за ней такое, ваша курица-баронесса не доглядела ее, пустила шальную бегать по городу?

– Уж именно курица! – с добродушным и веселым гневом согласилась Ленеvская. –

Именно курицей хохлатой прилетела она ко мне в усадьбу!.. Я сперва понять ничего не могла, едва узнала ее в лицо: ведь мы не видались десять лет... Спасите, защитите, Маша, сумасшедший дом, участок... Что же это такое? Сумбур! Хаос!.. Клохчет, руками машет, слезы... Всю ее дергает... Мое мнение – у нее самой голова не слишком в порядке!

Губернатор кашлянул с легким конфузом и сказал:

– Да-да-да-да! Я, конечно, не смею утверждать, но на меня она произвела впечатление... гм... как бы это поделикатнее о прекрасном поле?., гм... она, грехом, не поклоняется ли Бахусу?

Софья Игнатьевна утвердительно опустила веки.

– Эфир и одеколон... – прошептала она, конфиденциально вытягивая губы трубочкою.

– Ага! Как англичанки? Да-да-да-да! Ага!

– Несчастливая слабость. Ах, тоже печальная ее была жизнь!.. Еще с института.

– Она где теперь? у вас?

– Да. Лежит совсем больная. Плачет в три

ручья. Так ее история эта разбила, так потрясла...

– Еще бы, еще бы! Очень понятно. Да-да-да-да! Итак, добрейшая Софья Игнатьевна, я продолжаю. Официально, – а ни во что неофициальное мы входить не имеем основания, – дело вашей бедной племянницы обстоит так. Госпожа Лусьева явилась в участок с известным вам, компрометирующим ее требованием. Ввиду необыкновенности заявления, она была подвергнута медицинскому исследованию. Врач нашел ее нормальной...

– Но не специалист, excellence! Он не специалист!

– Так точно. Обыкновенный полицейский врач, которого науке и мнению, разумеется, грош цена! Затем, в продолжительном разговоре с полицеймейстером и моим чиновником, госпожа Лусьева сделала ряд разоблачений, которые, если бы она была в своем уме, были бы чрезвычайно важны. Разговор этот, однако, остался частным, не оформленным в дознание. Тем временем мы узнаем от вас, что имеем дело с сумасшедшею фантазеркой, в чем я, конечно, нимало не сомневаюсь. Но,

тем не менее, – прошу вас очень понять, – непроверенным факта этого я все-таки оставить не могу и не в праве. Да-да-да-да! Полицейское дознание должно быть произведено.

Леневская насторожилась.

– Вы, ради Бога, не пугайте меня страшными словами. Я женщина, форм ваших не знаю и боюсь. Что вы подразумеваете под вашим «полицейским дознанием»?

– Да вот, – покуда мы с вами тут беседуем, в эту самую минуту с вашей племянницы снимают допрос...

Леневская сострадательно вздохнула со спокойным видом.

– Бедная девочка! Воображаю, как она мучится и трепещет!.. Когда я была у нее вчера вечером, она просто зубом на зуб не попадала, – так дрожала от страха, стыда, волнения! «Что, тетя, со мной было? Что я наделала?..» Я битых три часа провела с ней – до поздней ночи... все успокаивала!

– А к вам поехать все-таки не согласилась?

Леневская снисходительно улыбнулась.

– Ни за что! Знаете: припадок утихает, но не совсем еще прошел... Сознание борется с

обманом чувств. Она долго не хотела меня узнать, притворилась, что даже имени моего никогда раньше не слыхала, насилу вспомнила, кто я такая, и даже после того, как согласилась меня принять, как друга, потом еще раз три обзывала меня разными чужими именами... Ну я предпочла не настаивать. Баронесса предупредила меня, что ее не следует раздражать, когда она в таком состоянии. Ведь именно с того и начинаются ее припадки: кто-нибудь рассердит, и пошла писать. Если бы не эта глупая Анна Тихоновна, которая набросилась на нее поутру с выговором и воркотнёю, то, вероятно, не случилось бы вчерашнего скандала. А с другой стороны, надо и Анну извинить: старая нянька, на руках ее выносила, любит свою барышню без памяти... и вдруг барышня является неизвестно откуда ранним утром, дикая, дерзкая, как будто не совсем трезвая!..

– Да, вот это еще, Софья Игнатьевна: оно не выяснено и остается немножко непонятным...

– Что, генерал?

– Как ваши старушки не обеспокоились,

когда госпожа Лусьева сбежала от баронессы из театра и пропала на целую ночь?

Леневская сделала удивленные глаза:

– Mon general! О чем же могли они беспокоиться? Маша сказала им, что едет ночевать к своей подруге, m-lle Каргович... Они в Петербурге учились вместе – одного выпуска по гимназии...

– А-га-га!

– Я знаю барышню: она премиленькая... восточное что-то в типе... Отец ее, говорят, ростовщик или кто-то еще хуже, но согласитесь: за грехи родителей нельзя же отвергать детей...

– Конечно, конечно... Значит, у Каргович она и ночевала?

– Ну да!.. Там тоже теперь страшный переполох, потому что только теперь узнали... Она с вечера была совсем нормальная, это, очевидно, уже к утру с ней началось. Затосковала, вскочила с постели ни свет ни заря и умчалась домой...

– Так-так.

– Ну и вот: влетела бурей, грозит, дерется, кричит, произносит слова, о которых даже не

подозревали, что она такие знает!., бежит на улицу, в участок!.. Ну, вы знаете, что для людей старого века значит полиция!.. Страшнее землетрясения. Старухи мои совсем струсили, всякую память потеряли... Хорошо еще, что вспомнили о моем здесь существовании, и баронесса нашла меня в усадьбе... Иначе они, с перепуга, и впрямь домчались бы до Одессы!..

– А там бы их и цап! – засмеялся губернатор. – Потому что отправлена телеграмма о задержании. Да-да-да-да.

Смеялась и Леневская.

– А там бы их и цап! И на вашей душе был бы грех, потому что мои трусихи непременно умерли бы от страха!

– Скажите, пожалуйста: кто ее лечил в Петербурге?

Леневская подняла брови в недоумении.

– Хоть убейте, не вспомню... Надо спросить у баронессы: у нее от него медицинское свидетельство есть и рекомендации к южным врачам... Кнабенвурст?.. Газеншмидт?.. Нет! Потеряла фамилию: немец какой-то известный.

– Да-да-да-да! Престранная, однако, у нее

форма помешательства! И откуда она все это знает и с такой обстоятельностью? Мне Матвей Ильич передал: в такой говорит последовательности и с такими подробностями... Просто, говорит, – хотя мы и мужчины, но, – извините уж, Софья Игнатьевна, – даже и нашему брату-грешнику кое-какие новости открыла... Как это – у нее? Где могла взять примеры? Леневская досадливо отмахнулась рукою.

– Милейших тетушек благодарить надо! Филантропки умнейшие!

– Боже мой! – пошутил губернатор, – не живем ли мы в последние времена? Софья Игнатьевна, королева филантропок, – и вдруг – против филантропии!

– Позвольте, позвольте, mon general... Я сама филантропка, но все в меру: я возмущаюсь экзальтацией... Я тоже охотно покровительствую всем этим... падшим, помогаю им, чем могу, когда они раскаиваются, но брать наказанных к себе в дом на попечение или прислугою, как делала покойная кузина Рюлина, но допускать их к общению с семьею, – нет! извините, Порфирий Сергеевич! для этого я

не имею довольно гражданского мужества!.. У меня дочери! Их чувства чисты, их мысли невинны, а вот вам образец, какой разврат могут втихомолку влить подобные госпожи в ум девушки... Я, конечно, далека от того, чтобы приписывать этому все помешательство Маши, но не сомневаюсь, что, при других условиях, оно было бы менее... эротическое!..

– Кстати, – остановил ее губернатор, – вы не думаете посоветоваться о ней с здешними врачами? Ведь у нас два недурных психиатра... К Тигульскому больных привозят со всей России...

Леневская остро взглянула на генерала.

– По вашему тону, – сказала она, – я заключаю, что оно будет нелишним?

Губернатор пожал плечами.

– Да, пожалуй!.. – возразил он, – оправдательный документ в деле никогда не вредит.

Леневская отвечала:

– Консультации врачей, откровенно вам скажу, я очень не хотела бы. Во-первых, оба наши психиатра между собой на ножах, и когда один говорит: «белое», другой считает своим неременным долгом спорить: «нет, чер-

ное!» Они только перепугают мою бедную Машу и смутят баронессу... А затем: я отдаю справедливость их знаниям, но какой же авторитет могут они иметь после столичных знаменитостей? Машу светила лечили!.. Их можно запросить...

– Да-да-да-да!.. Вы скажите баронессе, чтобы она представила мне медицинское свидетельство, о котором вы говорили. Мы, может быть, действительно, запросим врача по телеграфу, – для несокрушимой прочности наших оплотов, знаете ли!.. А с здешними врачами все-таки посоветуйтесь: видите ли, оно нам важно, что – после факта и местные. Не надо ничем пренебрегать. Вам же, для общественного мнения, против сплетен полезно... Скандал это во всяком случае большой, и его в мешок не сразу спрячешь... Консультация, пожалуй что, – уж чересчур. Довольно, если пригласите Тигульского. Он, хотя великий дипломат и, говорят, охотник даже взяточки собирать, но – не пойман, не вор, а в своей специальности он маг и волшебник...

– Очень хорошо, – с радостью согласилась Леневская, – я сейчас же... А фамилию докто-

ра, который лечил Машу в Петербурге, я вспомнила... то есть, вспомнила, что она у меня отмечена в записной книжке: баронесса так его расхвалила, что я на всякий случай... позвольте... позвольте... нет, то зубной эликсир!., нашла: вот... Карл Атанасович Либесворт, Невский, 666.

– Прекрасно-с, мы, в случае надобности, с ним снесемся.

Леневская встала.

– Так что, general, если припадок моей бедной племянницы уже кончился и она дала вашим чиновникам разумные ответы, не рассказывая никаких страшных романов...

– То дело ограничится вопросом об официально заявленном ей требовании быть записанной в разряд известных женщин. А это требование мы отклоним – на основании предъявленного нам медицинского свидетельства о психической ненормальности и за вашим поручительством.

– А если припадок еще владеет ею, и она опять наговорит Бог знает чего?

– Тогда неприятно. Дело придется передать судебной власти.

– На основании показания сумасшедшей?!

– Мы не имеем права делать самостоятельных заключений об ее сумасшествии. Установить, что она не в своем уме, будет делом следствия и экспертизы.

– Но, Боже мой! Что значит, – суд?!

– Нет, какой же суд? Только следствие. Раз будет выяснен факт сумасшествия, дело прекратится производством.

– Но, как бы то ни было, огласка и волокита?!

– Что делать?!

– Бедное дитя! Бедная баронесса! Они будут совсем компрометированы. И сколько родных восстанет... Ужасно!

– Избежать, к сожалению, нельзя. Форма-с!

– Но какая же цель? Ведь все равно вот эти труды окажутся ни к чему... Нет ничего больше и кроме того, что я вам открыла. Тут все!.. Зачем же искать пустого места?

– А для торжества и контроля правосудия. Форма-с!

– Странно! И никак нельзя предотвратить?

– Никак, Софья Игнатьевна! Если бы дело замолчала полиция, – в него легко может вме-

шаться прокурорский надзор, – и тогда репри-
манд полиции. Если промолчит прокурор-
ский надзор, – существует на свете жандарм-
ский полковник...

Леневская сокрушительно вздохнула.

– Мой Бог! Сколько у нас властей! Ах, в ста-
рину было все проще и лучше... Ну, будем на-
деяться, что моя милая девочка уже умница и
не поставит нас во все эти неприятные пер-
спективы... Во всяком случае, сердечное, ду-
шевное спасибо вам, excellence!.. У вас золотое
сердце!..

– Помилуйте.

– Нет, нет!.. Это редкость!.. Столько гуман-
ности... столько теплоты...

Глава 25

— Ну что? – встретил губернатор полицеймейстера и Матьё Прекрасный, когда они прибыли от Лусьевой. Mathieu казался сконфуженным, полицеймейстер был мрачен.

– Полный отбой по всему фронту, ваше превосходительство! – заявил Mathieu. – Знать ничего не знает, ведать не ведает. Со всем другой человек. Нельзя узнать против вчерашнего. Очнулась и ничего сама о себе и вокруг себя не понимает.

– Гм...

– Меня сразу признала, а Тигрия Львовича нет. «Помню, – говорит, – что-то, как в тумане... Может быть, и видала вас когда-нибудь... Извините!.. Светлые пуговицы... Участок... Умоляю вас: что еще я вчера натворила? Я знаю, что на меня временами находит... Как я здесь очутилась? Где тетушка Ландио? Где тетушка Леневская?»

– Гм...

– Мы ей напоминаем, – она только глаза открывает все шире и шире: ничего не пом-

нит, ничего не разумеет... «Это я говорила? Это я делала? Боже мой! Какой ужас, какой позор, какая бесстыдная, безумная ложь!..» И опять слезы реками!.. Пришлось нам угощать ее Валерьяном, и лавровишневыми каплями, и ландышами... Тут, к счастью, Софья Игнатьевна подъехала. Мы ей девицу эту и сдали с рук на руки.

– Гм... Вчера и сегодня никто не навещал ее?

– Кроме Софьи Игнатьевны. Она за полночь сидела.

– Гм... Да-да-да... Так что ваше окончательное заключение?

– Вралиха и сумасшедшая! Несомненно. Полицеймейстер угрюмо промолчал.

– Вы что, Тигрий Львович? – обратил на него внимание губернатор. – В сомнений?

– Не то чтобы в сомнении, ваше превосходительство, а в большой растерянности. Уж больно складно девица вчера врала! Словно бы сумасшедшие так не умеют.

– Ну, отец родной, на этот счет мы с вами не судьи... на то психиатры есть! С Тигульским поговорите, если интересуетесь.

– О фамилиях мы ее опрашивали, которые она поминала вчера, – сказал Mathieu.

– Ну-с?

– То же самое. Одни оказываются ей родня, – Рюли-на эта, Брусакова, – а других она уже не помнит... «Не знаю, – говорит, – откуда взялись? Должно быть, когда-нибудь в каком-нибудь романе вычитала... не мучьте меня, ради Бога, вашими вопросами! Мне так позорно и стыдно! Лгала! Все лгала! Всегда лгу, когда на меня находят!»

– Вы в «Фениксе» хотели побывать? – обратился начальник к полицеймейстеру.

– Был и номерного Василия допрашивал. Но он только глазами хлопает... Ни при чем-с! Лгала, действительно.

– Гм... А ночевала она у Каргович?

– Так точно, ваше превосходительство: у Каргович... Только осмелюсь доложить: Карговичи эти – люди очень подозрительные...

– Гм... В чем именно?

– Темная публика-с. Отец бракоразводный ходатай, мать – мелкая ростовщица. Что у самого, что у самой рожки такие – словно таксы одушевленные-с: на всякую, мол, подлость го-

тов, только дай настоящую цену. Из сыновей один бит в Соединенке за нечистую игру-с, другой выступал куплетистом в кафешантане, почти открыто живет со старой майоршей тут одной, обирает ее, сутенер какой-то-с. А дочка эта, которая будто бы госпожи Лусьевои подруга, совсем на порядочную барышню даже и не похожа-с... Завсегдатайница в Гранд-отеле-с, каждый вечер там заседает в мужской компании. Больше с банковскими путается, из маленьких-с... Откровенно сказать, – ежели судить по видимости, то я не госпоже Лусьевои, но именно этой госпоже Каргович желтый билет охотно выдал бы...

– По видимости, Тигрий Львович, сейчас судить нельзя. Теперь, знаете, пошли эти, как бишь их, демивьержки... Такая мода в обществе, чтобы приличная барышня вела себя хуже публичной девки.

– Я понимаю-с и обвинять госпожу Каргович на себя не беру-с, ибо, кроме видимости, фактов против нее никаких выставить не имею-с. Тем более, что она, говорят, даже замуж выходит – за банковского гуська одного. Помощником бухгалтера служит. Действи-

тельно, в Гранд-отеле он постоянно с нею.

– Ага. В таком случае, это его одного и касается. Его жениховское дело. Да-да-да... Знаете, эти банковские чиновники – всегда мелюзга дурного тона. Сидеть компанией в кафешантане им необыкновенно светским шиком представляется. Да, да, да. Поди, сам же он и водит невесту по Гранд-отелям-то этим... Просвещает. С европейской культурой знакомит. Ха-ха-ха!

Полицеймейстер сурово усмехнулся.

– А потом, глядишь, в банке растрата, а у нас – протокол о самоубийце!

– Да-да-да... Возможно, но непредотврати-мо. Что? Да-да-да. Разве мы в состоянии предотвратить, Тигрий Львович?

– Где уж, ваше превосходительство! Ежели человек попал на пиявку, – судьба!

– Так – фактически-то эти Карговичи ничем не замараны?

– Нет, ваше превосходительство, – только долгом считаю повторить: по всему видать, что прохвосты.

– Ну, оценка их нравственных качеств сейчас в наши обязанности не входит. Главное

теперь, чтобы без неясности в деле... Значит, факт ночевки у Каргович установлен?

– Совершенно, ваше превосходительство. И сама признается, и Карговичи подтвердили, и извозчика я нашел и допросил, который привез ее от Каргович.

– Гм...

Губернатор задумался.

– В конце концов, как и следовало ожидать, пустяки! Слава Богу, я очень рад, что пустяки! все хорошо, что хорошо кончается. Эта бедная Леневская так волновалась... А баронесса смешна! Плачет, а смешна!.. Mathieu, вы как находите? Смешна ведь? А?

– Смешнее, ваше превосходительство, невозможно. Вошедший дежурный чиновник подал пакет.

– От Софьи Игнатьевны Леневской.

Начальник прочел довольно длинное письмо, держа в левой руке приложенные документы.

– Тигульский велит им немедленно ехать за границу, в Вену, к Крафт-Эбингу какому-то... А хоть к самому Папе Римскому, только бы с рук долой!.. Да-да-да! Софья Игнатьев-

на просит о паспортах. Вы, Матвей Ильич, распорядитесь там... заезжайте к ней...

– Слушаю, ваше превосходительство. Смею спросить: едут госпожа Лусьева и баронесса Ландио?

– Нет, баронесса совсем расхворалась. Софья Игнатьевна берет для госпожи Лусьевои компаньонку... какую-то госпожу Вурм. А эту бумажку, милейший мой, приобщите к делу. Да-да-да!

Медицинское свидетельство, выданное Марье Ивановне Лусьевои доктором Либесвортом, гласило, что госпожа Лусьева – пациентка его – в течение пяти лет, вследствие хронической женской болезни, страдает истерическим невропсихозом, выражающимся периодически, по преимуществу в менструальные сроки, припадками быстротечного бреда, с склонностью со временем перейти в *paranoia sexualis persecutoria*. (Мания сексуального преследования (лат.).)

– Как? – воскликнул начальник, округляя веселые глаза.

– *Paranoia sexualis persecutoria*.

– А это какой зверь и чем его кормят?

– Не могу знать.

– Ох уж эти психиатры! Точно египетскими иероглифами пишут... Во всяком случае, документ ценный. Софья Игнатьевна обещала доставить такой же от доктора Тигульского. А затем – пусть едут на все четыре стороны... Как в газетах пишут – инцидент исчерпан!.. До свидания!..

* * *

– Тигрий Львович, Тигрий Львович! – догонял полицеймейстера Матьё Прекрасный. – Вы что же такой пасмурный?

– Не люблю-с чувствовать себя в тупике и не понимать-с.

– Но дело ясно как день: сумасшедшая!.. Неужели вы еще сомневаетесь?

– Нет-с, не сомневаюсь. Как же я смею сомневаться, коль скоро два документа!.. А только – воля ваша: тут есть что-то и кроме сумасшествия... Нечисто! Чует мой полицейский нос...

– Позвольте! Но если за Лусьеву ручается сама Софья Игнатьевна?

– То-то вот, что Софья Игнатьевна! В ней вся препона. Кабы не Софья Игнатьевна, я бы

никаким докторам не поверил... Не врут-с сумасшедшие так убедительно! не врут-с! И вот помяните мое слово: я еще раз говорю вам: нечисто!

– *Paranoia sexualis persecutoria!*

– Да это что же? Это уже последнее дело говорить такими ехидными словами!.. Для ихнего брата, ученого, она, может быть, и чрезвычайно какая большая штука, эта бисова паранойя, а ежели, человек состоит на полицейской службе, ему один черт – что паранойя, что наша, российская матушка-ерунда.

– Так что же, наконец? – возразил Матьё Прекрасный. – Еще не поздно. Если вас грызут подозрения, можно настоять...

Полицеймейстер замахнул руками.

– Что вы? Разве я к тому? Заявления свои госпожа эта безумная взяла обратно, документы оправдательные налицо. Сбыли сокровище с рук, и слава Богу! Кума с воза – куму легче! Что я за вчинатель такой?

– В подобных делах надо действовать наверняка-с, а не то – оступишься, да репутацию вывихнешь, что потом и не вправить! Вы вспомните, что эта госпожа Лусьева про связи

своих хозяек с полицией рассказывала. Тут и сам не заметишь, как глотнет тебя какой-нибудь кит этакий хуже, чем Иону-пророка. Да – что Иона! Он, когда кит его выплевал, человеком остался и опять в пророки был определен, а из нашего брата во чреве китовом что выйдет, даже неудобно назвать-с. Нет, уж где полицейскому чину благородным негодованием пылать и проявлять инициативы к изысканию общественных язв. Делай, что велют, иди, куда пошлют, а впрочем – своя рубашка к телу ближе-с. И в полиции-то служить – не велик сахар. В полицию человека нужда загоняет; когда больше деваться некуда, а плоть немощна – привык сыто есть, сладко пить, мягко спать. А уж если ухитрился сломать себе ногу даже на полицейской службе, – значит, тебе крышка. Дело кончено: заказывай гроб, ложись да помирай. Все твои житейские карьеры, стало быть, свершились, и никому под луной ты более не надобен, и не найдется ни одного такого доброго идиота, чтобы дал тебе труд и хлебом кормить тебя согласился... Нет, батенька! Не так устроена мать-полиция, чтобы в недрах своих между-

усобной полемикой заниматься. Только в том и секрет бытия нашего, что – держись друг за дружку и соседу мирволь и потрафляй.

– К тому же, – заметил Матьё Прекрасный, – даже и в нашем городе, вы оказались бы на очень неблагодарной почве. Софья Игнатьевна употребляет все усилия потушить эту темную историю. А вы знаете: авторитет Софьи Игнатьевны... наша губернская королева!

– Боже меня сохрани идти против мнений и желаний Софьи Игнатьевны! Никогда-с и ни за что-с... Да и все равно мне, в конце-то концов-с... А только я не люблю не понимать. Понять же не в состоянии. Хоть зарежьте! И больше ничего-с... Эге! Новый портсигарчик у вас... Позвольте полюбопытствовать? Изящная вещица. Батюшка! да – никак золотой?

– М-м-м... да, кажется, – замычал несколько сконфуженный и покрасневший в лице Mathieu. – Знаете, собственно говоря, пренеловкая штука вышла... Эта Лусьева, через Ленеvскую, непременно просила меня принять от нее на память.

– Ага!

– Н-да... она, видите ли, так, благодаря за мое человеческие к ней отношение, говорит, что никогда не забудет, что я ее спас, ну, и всякие там прочие хорошие слова... Я, конечно, отказывался, отнекивался, указывал, что мне даже неприлично несколько, похоже на взятку. Но вы знаете характер Софьи Игнатьевны: если она решила, то поставит на своем, – отказывать ей труд напрасный... только наживешь врага.

Полицеймейстер потупился и вздохнул. Он почел излишним сообщать губернаторскому чиновнику, что часа два тому назад имел подобное же объяснение с той же самой Софьей Игнатьевной Леневской из-за чудесной венской коляски и сбруи на дышловую пару, которыми одарить его воспылала желанием симпатичная баронесса Ландио.

– Взятка! Как вам, Тигрий Львович, не стыдно даже держать в уме слова подобные, не только что произносить? Друг я вам или нет? Крестила я вашу Олечку или нет? Свои мы или чужие? Разве я способна принять на себя поручение, которое пахнет взяткою? Разве у меня достало бы дерзости предложить

вам – вам! – вам!! – взятку?! Наконец, позвольте сказать вам прямо: насколько я лично вас люблю и уважаю, настолько же терпеть не могу вашу службу и ваш мундир. Да! да! да! можете почитать меня какой угодно неблагонадежною, даже хоть революционеркою, но полицию я ненавижу! С моим прелестным и милым кумом Тигрием Львовичем я готова беседовать и дружить, сколько он сам того пожелает, к полицеймейстеру – никаких дел не имею и не хочу иметь. Когда говорите со мною, извольте выбросить из головы должность вашу. Взятка! Повернуло же язык – сказать! Уж если на то пошло, милостивый государь вы мой, то, погасив наш фамильный скандал, вы оказали нам такую огромную услугу, что, в качестве взятки, безделица, которую просит вас принять баронесса, была бы просто смешна. Шантажист, взяточник, кровопийца могли бы разорить нас на этом деле, потому что честь фамилии для нас дороже всего, и пятен на своем гербе мы не допустим, хотя бы нам для того пришлось остаться нищими. И это вам лучшее доказательство, что никто не хочет унижить вас

взяткою, как никто из нас – ни я, ни бедная Маша – не желаем считаться с вашим всемогущим полицей-мейстерством. Предоставляем другим трепетать пред вашим величием. Для нас оно не существует. В наших глазах вы просто симпатичный, гуманный, чуткий, отзывчивый Тигрий Львович, который умел так редко по-человечески отнестись к нашему несчастью и, как чудом, спас наше имя от грязных клевет и сплетен. И вот мы, три дамы, хотим, чтобы вы сохранили об этом случае памятку нашей благодарности. Вот и все. И – никаких возражений! Иначе мы поссоримся. Мещане мы разве, чтобы делать вопросы из пустяков, считаться друг с другом в услугах, искать подозрительные причины за каждой любезностью? Не надо спорить! Разве могут быть два разных мнения о мелочах подобных у двух друзей, принадлежащих к нашему кругу – людей порядочных и взаимно уважающих?

Вечером в клубе полицеймейстер отвел доктора Тигульского в уголок и осадил его вопросами о Лусьевой. Доктор – лысый, в русой, круглой бородке, с прямым польским носом –

смотрел в лицо полицеймейстера пронизательными, но непроницаемыми серыми глазами, и говорил медленно, с лютым акцентом и с ударениями на предпоследнем слоге каждого слова:

– Та-ак... Ото ж правда... То есть правдивейшая *paranoia sexualis persecutoria*. А ежели то бендзе мило пану пулковнику, может быть также безумная одышка – «*dysnoia deliriosa*», як пишет профессор Корсаков з Москвы. То есть юж други недуг, але вам то есть вшистко едно, муй пане, бо, гдзе тыя *paranoia* кончается, гдзе начинается *dysnoia*, того не тылько пан полицеймейстер, сами дяблы в пекле не могон домыслиц, ежели не учились медицине.

– А вы можете домыслить? – не без обидчивой свирепости спросил Тигрий Львович.

Доктор обдал его дымом благовонной сигары и спокойно возразил:

– А як же? Ежели я вижу дефект координации жестув?.. И в лице така асимметрия?.. Тож *paranoia*, муй пане! А, може, *dysnoia*, чи еще друга якась болесц.. Огульне пане, – маниакальна экзальтация!..

Глава 26

Курьерский поезд шел последним перегоном на Броды. В купе первого класса пожилая скромно одетая дама и нарядная молодая девушка считали деньги.

– Итак, – сухо говорила пожилая дама, – я передала вам две тысячи золотом, три – бумажками и пять тысяч – перевод на Лионский кредит.

– Совершенно верно! Покуда – мы в полном расчете.

– Двести рублей по уговору будут переводиться вам каждого пятнадцатого числа.

– Очень хорошо. Число мне безразлично, но прошу быть аккуратными, чтобы день в день. В первый же раз, что я не получу денег, я еду в Петербург и прямо на Гороховую... Поняли? Так и передайте!

– Не пугайте, пожалуйста. Не из робких. И не беспокойтесь. Будем аккуратны. Вы и без того уже сделали слишком много неприятностей и принесли убытков.

– Не так бы вас всех еще следовало! – со злобой сказала девушка. – Только то вас спа-

сает, что я в деньгах дура и больших сумм вообразать не умею.

– Порядочно счистили и без того! Надо иметь совесть.

– Да! Уж о совести только нам с вами считаться... Хорошенькие цацы! нечего сказать!.. Да вот еще разве – даме этой великолепной губернской, тетушке моей новоявленной... Вот фрукт так фрукт! Много я пройдох видала, а эта – всем зверям зверь! Всех вокруг пальца обвела, спутала и в тупик посадила! И как вы ее раздобыли?

– Наше дело.

– А что? Много она с вас слупила?

– Наше дело, – еще холоднее возразила пожилая дама.

Девушка захохотала.

– Доктор тоже этот, которого она привозила... теплый парень! Асимметрию лица у меня какую-то нашел... У самого-то у него теперь асимметрия... только не лица, а карманов!.. Да! А каким это чудом от Либесвортишки свидетельство явилось?!

– Не все ли вам равно?

– А-га! Фальшивое, значит? Подделали?

Славно! Ну, не сообразила я тогда... не на десяти бы тысячах мне с вами мириться!

Дама с досадой возразила:

– Ошиблись. Никакой фальши, и никто ничего не подделывал. Самое настоящее свидетельство.

– С неба вам свалилось?

– Не с неба, а с вами же приехало из Петербурга. Такие свидетельства Либесворт выдает всем воспитанницам Прасковьи Семеновны, когда они едут на работу в провинцию... заранее, – чтобы предупредить скандал, если они, вроде вас, вздумают буйствовать... понимаете?

– Ловко! – поразились Лусьева. – Так всем?

– Всем.

– И «Княжне», и Жозе?

– Всем.

– Ловко... Небось и за это надо платить аспидовы деньги?

– Да, дерет... – с невольным унынием призналась дама.

Лусьева злобно улыбнулась:

– Трещит у Буластихи шкура!..

– А вы не злорадствуйте! Ежели человек в

незадачной полосе...

– Чтоб ей, дьяволу, вечно такая полоса шла!..

– Что ругаться? Дело прошлое.

– Уж очень ненавижу! Дрянь я слабодушная! На чистый паспорт и деньги польстилась. Кабы настоящий характер, самой бы лучше пропасть, да и вас всех в Сибирь упечь!

– Уж и в Сибирь! На первый раз – всего только к мировому и сто рублей штрафу.

– Неужели? Ах, скажите, пожалуйста!.. – насмешливо передразнила девушка. – Зачем же вы от ста рублей откупаетесь тысячами?

– Затем, что язык у вас слишком длинен. Сибирь – не страх, а вы могли привести, да уже и привели было в расстройство все дело. Ну и еще раз напоминаю вам, Марья Ивановна: довольно! Поболтали в свое удовольствие, – и будет. Свое выболтали, на замазку рта получили, обеспечены по гроб жизни, – теперь сидите в загранице смирно, тише воды, ниже травы, чтобы о вас ни слуха ни духа. Не то – вас не только что в Вене или где там еще – на дне морском достанем!.. Сами не за-

метите, как тихой смертью умрете!

– Не коротки ли руки?

– Вас, голубушка, и сейчас очень легко можно бы сплавить, и гораздо это дешевле, чем торговаться с вами и за границу вас отправлять. Только-то боязно, что – кто их знает? Может быть, за вами еще следят... Уголовщина теперь, после вашей огласки, – благодарите своего Бога! – нам не с руки... А то – оно очень просто! Вы это понимаете! Не форсите!

– Я ничего.

– А смеетесь чему?

– Прасковья Семеновна накладет баронессе по первое число!

– В этом не сомневайтесь! Расправа будет по правилу.

– И Анне Тихоновне влетит!

– И Анне Тихоновне.

– Так и надо! Так и надо! Жрите друг друга здесь, волки поганые!

Девушка бешено захохотала и захлопала в ладоши.

– А я в Вену!.. И – черт вас всех тут дери!.. Никого не жаль!.. Вырвалась!.. Сама теперь по себе... Я в Вену, я в Вену, я в Вену!..